О сколько счастья, сколько муки...
Анастасия Туманова
любовные тайны

Annotation

Ни минуты не раздумывала Настя, когда отказалась от блестящего будущего лучшей певицы, от предложения руки и сердца, которое ей сделал князь Сбежнев. Она сбежала с Ильей и обрекла себя на полуголодную, невыносимо трудную жизнь таборной цыганки – потому что любила, потому что готова была пожертвовать ради Ильи всем, даже жизнью. Конечно, ее любовь была взаимной и Илья не мыслил без нее жизни, но вот только хранить ей верность никогда не считал нужным. Настя всегда жила с ощущением, что ее счастье может разрушиться в любую минуту. Неужели ее предчувствия оправдаются? Ранее роман выходил под названием «Сердце дикарки».

- Анастасия Туманова
  - ПРОЛОГ
  - ГЛАВА 1
  - ГЛАВА 2
  - ГЛАВА 3
  - ГЛАВА 4
  - ГЛАВА 5
  - ГЛАВА 6
  - ГЛАВА 7
  - ГЛАВА 8
  - ГЛАВА 9
  - ГЛАВА 10
  - ГЛАВА 11
  - ГЛАВА 12
  - ГЛАВА 13
  - ГЛАВА 14
  - ГЛАВА 15
  - ГЛАВА 16
  - ГЛАВА 17
  - ГЛАВА 18
  - ГЛАВА 19
  - ГЛАВА 20

Анастасия Туманова
О сколько счастья, сколько муки...

ПРОЛОГ

Ветреным ноябрьским вечером 1895 года ресторан Осетрова в Грузинах был полон. Цыганский хор заканчивал очередное выступление: на эстраде перед столиками сидели на стульях певицы в черных и белых платьях, среди которых выделялись яркие юбки плясуний, за спинами женщин стояли гитаристы в синих казакинах. В зале пахло свечным воском, дичью, крепкими духами, сигарный дым пластами плавал под потолком. Гости были уже изрядно пьяны и бьющую плечами перед столиками танцовщицу – совсем девочку в нарядном платье алого шелка – подбадривали нетвердыми голосами. Наконец девчонка отплясала, блеснула напоследок зубами, вернулась на место, и почти сразу же хор встал. У цыган было полчаса на отдых перед следующим выходом.

В крошечную комнату за большой залой набилось больше двадцати человек, и тут же стало не развернуться. Глава хора Яков Васильев, семидесятилетний старик с острым неласковым взглядом и по-молодому стройной фигурой, бережно неся за гриф гитару, вышел в ресторанные сени. За ним последовал его гость – высокий человек лет пятидесяти, еще красивый, с густыми седыми волосами и осанкой, выдававшей отставного военного. Он улыбался старому цыгану, но серые глаза смотрели холодно. Впрочем, Яков Васильев знал: другого взгляда у графа Воронина не бывает.

– Ну, ваша милость, понравилось?

– Не в обиду будь сказано, Яков Васильич, – не понравилось.

– Что ж так? – без удивления спросил хоревод. – Разве плохи голоса в хоре?

– Плохи, – без обиняков заявил Воронин. – Я вас семнадцать лет не слышал и на правах старого поклонника говорю: голосов хороших нет. Без твоей Насти и без моей Зины хор гроша не стоит.

– Эк чего вспомнили, Иван Аполлоныч... – усмехнулся в усы хоревод, и в темноте сеней граф не заметил, какой горькой была эта улыбка. – Настьки не сыскать... А Зинку, между прочим, могли бы и обратно к нам отпустить.

– Пойдет она, ждите! – рассмеялся граф. – Была Зина Хрустальная – станет графиня Воронина.

– Так не врут наши брехуны? Решились все-таки жениться?

Граф смущенно улыбнулся, махнул рукой.

– Что ж решаться, когда почти двадцать лет живем мужем и женой?

Дети взрослые, старшего в этом году намерен определять в университет... Кем он там будет? Бастардом? Незаконнорожденным? На переправе коней не меняют, новой жены мне уже не взять, а Зина... Видит бог, она достойна быть графиней.

– Что ж, дело. Зинка-то не приедет в хор похвастаться?

– Приедет, отчего же. Ждите после Покрова.

Граф простился коротким наклоном головы и заспешил к выходу. Старый цыган проводил его взглядом, закрыл глаза. В сенях кто-то из половых оставил керосиновую лампу. Она горела, чадя сизым дымом, и в ее свете лицо хоревода показалось бы случайно заглянувшему сюда совсем старым, усталым и измученным. С минуту он стоял не двигаясь; затем, прислонив гитару к стене, сделал несколько шагов по коридору, нащупал в темноте дверную ручку и вышел во двор. Сразу же у него захватило дух от холода, в лицо ударили колючие снежинки. Яков Васильев спустился с крыльца, разбил сапогом кромку льда у последней ступеньки, задрал голову. Над ним глухо шумели облетевшие ветлы. Вдохнув морозного воздуха, старый хоревод потер кулаком лоб. Грустно подумал, что Воронин прав: голосов прежних в хоре нету. Под сердцем засосала знакомая боль. Не прошедшая, не утихшая за годы, появляющаяся каждый раз, когда он вспоминал о дочери. О красавице Насте, единственной радости, давным-давно сбежавшей из хора бог знает с кем.

Яков Васильев вспомнил далекий 1879 год, первый год после турецкой войны, Москву, наводненную военными, полные рестораны, сверкающие Георгиевские кресты, эполеты, загорелые лица офицеров, героев Плевны и Шипки, и – Настю. Свою шестнадцатилетнюю дочку, солистку хора, певицу с таким голосом, какого Яков Васильев никогда не слыхал прежде и не услышит, это он знал точно, до самой смерти.

Даже не будь Настька его дочерью, Яков Васильев не побоялся бы поклясться на иконе: подобной красоты еще не родил свет. Тоненькая, смуглая, косы до колен, вьющаяся прядка у виска, брови вразлет, глаза – тьма-тьмущая без дна... И голос, какой у нее был голос... На всю Москву гремела слава Насти Васильевой, в ресторан Осетрова съезжались слушать «несравненную Настю» купцы и дворяне, шампанское лилось реками, деньги сыпались, как снег. У Якова Васильева валялся в ногах цвет московской знати, умоляя отдать дочь за любую цену, но хоревод не соглашался. Настька и слышать не хотела о том, чтобы идти на содержание, сама никого не любила, и хоревод отказывал поклонникам дочери раз за разом, ничуть не переживая из-за этого и зная, что, покуда Настька в хоре, с голоду они точно не умрут.

А потом появился князь Сбежнев. Отпрыск старинного, но обедневшего дворянского рода, герой войны, георгиевский кавалер, синеглазый красавец с мягкой улыбкой. Начал он с того, что сказал и Насте, и ее отцу, что не собирается брать певицу на содержание, а хочет жениться на ней. Настя заколебалась, однако Яков Васильев не утратил здравого смысла и поставил еще одно условие: сорок тысяч. Сумма была очень значительная; более того, хоревод не сомневался, что у князя ее нет, и рассчитывал получить хотя бы половину названного. Однако Сбежнев с легкостью согласился, и Яков Васильев сразу пожалел, что не запросил пятьдесят. Чтобы собрать нужные деньги, князь уехал в родовое имение и вернулся через полгода, зимой, с деньгами и готовностью немедленно вести Настю к алтарю.

Ах, какое было время, какие люди! Что за гости приезжали в цыганский дом на грязной улочке Живодерке в Грузинах! Каких только блестящих господ не появлялось в цыганском доме, кто только не вертелся возле Насти, кто не лежал у ее ног... И быть бы Настьке княгиней, если б не подвернулся тот самый проклятый конокрад.

И какой только черт принес в Москву этих таборных оборванцев – брата и сестру Смоляковых! Яков Васильев хорошо помнил их, двадцатилетних двойняшек из табора: черных, смуглых, некрасивых. Особенно нехороша была Варька с ее выпирающими зубами и устрашающих размеров носом. Голос у девчонки, впрочем, оказался прекрасный – густой и низкий, редкой силы. Ее брат Илья по прозвищу Смоляко был конокрадом и кофарем{Кофарь – барышник.}, его знали на всех конных ярмарках, и Яков Васильев мог бы поклясться, что ничего, кроме лошадей, парню в жизни не надо. В Москву он приехал ради сестры, потеряв надежду выдать Варьку замуж и рассчитывая пристроить ее хотя бы в хор. Варьку приняли без всяких сомнений, Илья тут же начал барышничать на Конной площади и, вероятно, крутил бы лошадям хвосты до конца дней своих, если бы Яков Васильев случайно не услышал, как брат и сестра поют вместе. Ему, опытному хореводу, хватило нескольких секунд, чтобы понять: лучшего тенора, чем у этого чумазого конного вора, не было ни у одного певца в Москве.

И ведь до последнего, паршивец подколесный, отказывался петь в хоре! Чего только не наслушался любимый племянник хоревода Митро, которому Яков Васильев поручил уговаривать Илью! И «дурацкое дело», и «не цыганское занятье», и «пусть вам Варька воет», и «пошел ты к черту, обратно в табор съеду»... И век бы им было не достучаться до его бестолковой таборной башки, если б не Настька. Сам Яков Васильевич

тогда не придал этому значения, но хоровые цыгане говорили в один голос: Илья Смоляко пропал в тот же миг, как увидел Настю.

Но Настька-то, Настька-то чего в нем нашла?! Ну да, высокий был, черт, стройный, сильный… Но морда-то черная, как антрацит! Но глазищи-то, как у сатаны, блестели! И улыбки у него не допроситься даже на публику, а лишнее слово чтоб вымолвил – и мечтать незачем! Чего, впрочем, у Ильи было не отнять – так это голоса. Пел тот таборный каторжник так, что душа переворачивалась, и пьяные купцы ревели в ресторане от их с Варькой «Отойди, не гляди», как недоеные коровы. Уже через месяц в ресторан начали специально приезжать «на Смоляковых», и в ту зиму у графа Воронина не повернулся бы язык сказать, что в хоре голоса плохи.

Яков Васильев до сих пор понятия не имел, что произошло у Насти с князем Сбежневым, официально считавшимся ее женихом. Знал лишь то, что все цыгане: однажды Настя ушла из дома, вернулась поздним вечером, заплаканная и усталая, наотрез отказалась отвечать, где была, и на следующий день свалилась в нервной горячке. Вскоре стало известно, что князь Сбежнев спешно, ни с кем не простившись, уехал из Москвы. Сначала думали, что в последний момент князь одумался и не захотел связывать свою жизнь с хоровой цыганкой. И лишь потом Яков Васильев догадался, что Настька сама, не спросясь ни отца, ни хора, отказала князю. Отказала ради черного, некрасивого таборного парня.

И кому, кому могло тогда прийти в голову, что Настька сохнет по Илье! Кто бы мог подумать, что они уговорились сбежать вместе из Москвы! Но Илья застал Настю торопливо шагающей по дороге от ворот сбежневского особняка, куда она приходила, чтобы вернуть князю его слово и подарки. Нетрудно было понять, что парень подумал: молодая цыганка, одна, поздним вечером, вся в слезах, спешит уйти из княжеского дома... Разумеется, Илья разом отказался от своего обещания жениться. А Настя была слишком горда, чтобы оправдываться после того, как ее в лицо назвали шлюхой. Видит бог, если бы Яков Васильев знал обо всем этом тогда, он бы не побоялся взять на душу грех и собственными руками задушил бы паршивца, осмелившегося оскорбить его дочь! Но он ничего не знал: Настя молчала как немая. Молчал и Илья.

В скором времени поползли слухи о связи Смоляко с горничной купцов Баташевых с Большой Полянки. Слухи эти никого не удивили – Илье было двадцать лет, и он ходил в холостых. Но лишь полгода спустя выяснилось, что на самом деле Илья бегал по ночам не к горничной, а к самой купчихе Баташевой. Яков Васильев ума не мог приложить, как этому

таборному вору удалось так здорово пристроиться. Да хоревод и не особенно задумывался о том, поскольку его гораздо больше беспокоила судьба родной дочери. После разрыва с князем и страшной ссоры с Ильей Настя слегла в постель, ползимы пролежав в горячке. Цыгане всерьез волновались за жизнь девушки, но она все-таки оправилась, поднялась, вернулась в хор, снова запела любимые романсы – а весной в дом на Живодерке явились сваты. Богатая чета цыган из Петровского парка хотела взять Настю за своего сына. Предложение было очень лестное, но Яков Васильев не собирался принуждать дочь. К его удивлению, Настя согласилась сразу же. Разве мог он тогда знать, что дочери было все равно, за кого выходить, – лишь бы прочь с Живодерки, из хора, лишь бы не видеть каждый день Илью.

Примерно в те же дни, когда решался вопрос о свадьбе Насти, Илья Смоляко наконец доигрался. Допрыгался, проклятый кобель, добегался по ночам к мужней купчихе, долазился в потемках по чужим дворам. Муж Баташевой, который с зимы был в отъезде по делам, вернулся домой как раз в тот момент, когда Илья пробирался к любовнице. К счастью, его поймали не в спальне Баташевой, а во дворе, где приказчики купца разгружали подводы. Илью приняли за вора, началось побоище, и быть бы Смоляко если не в могиле, то наверняка в квартальной части, не подоспей на выручку цыгане во главе с Митро. Парни знали, что купец Баташев вернулся в Москву, и целый день пробегали по городу в поисках Ильи. Не найдя его нигде, они помчались на Полянку, к баташевскому дому, и успели прямо к драке. Битва закончилась победой цыган, которые, разгромив приказчиков, еще и умудрились утащить с собой избитого до потери сознания Илью. Три дня он провалялся в доме цыган-барышников на Таганке, сестра Варька неотлучно была с ним, а на четвертый день пришла и Настя. Больше ни ее, ни Смоляковых никто не видел в Москве.

Даже сейчас, семнадцать лет спустя, Яков Васильев не мог понять одного. Ведь все цыгане, все до единого, знали, что Илья бегает к русской любовнице. Значит, и Настя не была в неведении. И как же, черт возьми, она смогла прийти к нему после такого?! Как смогла простить оскорбление на пороге дома Сбежнева, как решилась убежать в табор от жениха, от уже слаженной свадьбы, от хора, от славы, гремящей на всю Москву? Убежать без копейки, без единой тряпки – в чем была? Чем ее взял этот таборный голодранец без стыда и совести, за что Настька так любила его?

Разумеется, после исчезновения Насти грянул скандал, который подняли возмущенные цыгане из Петровского парка. Якову Васильеву пришлось выслушать кучу неприятных слов, вернуть уже полученный

подарок для невесты, колье с бриллиантами, и все силы направить на то, чтобы сохранить приличные отношения с семьей неудавшихся сватов. Естественно, доходы хора, лишившегося в одночасье трех ведущих солистов, упали значительно. И он, хоревод, много дней ломал голову над тем, как все это исправить. Было тяжело и горько. Но сильнее всего грызла смертная обида на дочь. Ведь, господь свидетель, если бы Настька пришла к нему и сказала прямо, что хочет выйти замуж за Илью, – разве Яков Васильев смог бы помешать ей? Разве он хотел чего-нибудь, кроме Настиного счастья? Напротив – может, это бы было и к лучшему. Ведь тогда и Илья, и Варька остались бы в хоре. Но Настя решила по-своему, и Яков Васильев едва сумел тогда сдержаться и не проклясть дочь.

Не проклял. И не дал снять ее портрет в большой зале дома, написанный студентом-художником. Но больше никто из цыган не осмеливался произнести при Якове Васильеве имя его дочери. Он дал понять всем: для него Настя умерла.

С отъездом Насти и Смоляковых дела у хора пошли совсем худо. Не помогло даже то, что к осени в хор вернулась, как ни в чем не бывало, сестра Ильи Варька – повзрослевшая, неожиданно похорошевшая, но… во вдовьем платке. Оказалось, что в таборе Илья все-таки сумел пристроить сестру замуж за своего друга, такого же конокрада, как он сам. Но прожила замужней Варька недолго: через несколько месяцев после свадьбы ее мужа поймали на краже лошадей и забили до смерти. Оставшись вдовой, Варька решила вернуться в московский хор, и Яков Васильев вынужден был взять ее обратно: надо же кому-то петь. Но, к счастью или к беде, случилось так, что в том же году в хоре появилась Данка – пятнадцатилетняя вдова из табора, в черном платке на роскошных волосах, с лицом красавицы-ведьмы, со взрослым, усталым и подозрительным взглядом слегка раскосых глаз.

Якова Васильева сразу же насторожило то обстоятельство, что молодая вдова кочует одна, а не с родней покойного мужа. Но он постарался не думать об этом, услышав великолепный голос таборной певицы и поняв, что в хоре теперь будет достойная замена Насте. К тому же Данка сумела обзавестись новым супругом буквально на следующий день после появления в хоре: мальчишка-гитарист Кузьма, увидев красавицу цыганку, тут же сошел от нее с ума. Они переспали вместе ночь, а наутро Данка сменила вдовий платок на новый, шелковый и нарядный. Эта поспешность тоже не понравилась Якову Васильеву, но откуда ж ему было знать всю изнанку...

Данка и Смоляковы оказались из одного табора, но почему-то Варька

тогда скрыла подробности Данкиного прошлого, которые всплыли гораздо позже. Выяснилось, что новая певица была не вдовой, а «порченой» невестой, чья рубашка после брачной ночи осталась белее снега. Конечно же, молодой муж отказался от потаскухи-жены. Отказались от нее и родители, которым после такого позора и думать было нельзя о том, чтобы пристроить в этом же таборе других дочерей. Пятнадцатилетняя девочка, избитая и опозоренная, осталась одна на всем свете. Ей пришлось уйти из табора неведомо куда. Полгода Данка бродила по городам и деревням, пробавляясь гаданием и пением на площадях. Притворялась вдовой, чтобы встречающиеся с ней цыгане не задавали лишних вопросов. А затем, оказавшись в Москве и познакомившись на улице с хоровыми цыганами, рассудила, что в городе, где ее никто не знает, можно потихоньку начать новую жизнь. Как же Данка могла угадать, что вечером она столкнется нос к носу с Варькой, цыганкой из соседнего шатра, почти родственницей! Яков Васильев не знал, что за разговор был у молодых женщин и почему Варька никому ничего не рассказала. Уже на другой день у Данки появился новый муж, а через месяц она пела сольные партии в хоре.

Но если баба родилась шлюхой – ею она останется до конца дней своих. Уже через полгода Данка ушла на содержание к богатому купцу Сыромятникову. С ним она тоже не зажилась, объявившись через некоторое время в ресторане «Яр», где сразу запела моднейшие романсы, собирая вокруг себя именитую публику. Затем Данка – к тому времени уже Дарья Степная – сбежала к какому-то графу, после графа сошлась с промышленником Курицыным, за ним последовал генерал немец Канцельберг, потом еще кто-то... Разумеется, бабу можно понять: родни нет, значит, нужно самой заботиться о себе. Конечно, Данка не могла не понимать, что через десять-пятнадцать лет, когда красота подвянет, доходы ее в хоре резко сократятся, а потом и вовсе сойдут на нет. Вот она и искала способ обеспечить свое будущее. Наверное, Данке следовало бы посочувствовать. Однако единственным, кого на самом деле жалел Яков Васильев, был гитарист Кузьма. Семнадцатилетний мальчик, безумно влюбленный в жену, так и не смог оправиться после ее ухода – начал пить, сперва понемногу, а потом все больше и чаще. Через три года начались запои, а через пять лет от Кузьмы в хоре уже не было никакого толку...

Время шло. В Москву приезжали цыгане из других городов, почти у каждого хорового была таборная родня, и волей-неволей Якову Васильеву приходилось слышать известия о дочери. Он знал, что Настя по-прежнему с Ильей, что все эти годы она жила с ним в таборе, что, слава богу, конокрадство Илья бросил, что у них один за другим рождаются дети... К

тому же и Варька Смолякова, такая же неисправимая кочевница, всю весну и лето проводившая в таборе, с семьей брата, зимой непременно объявлялась в Москве и прямиком шла в хор, где и оставалась до конца сезона. Именно от нее Яков Васильев узнавал новости о дочери. Варька рассказывала, что живут Настя и Илья хорошо, что Илья не обижает жену, любит детей... Знал Яков Васильев и о главном несчастье Насти: ее старшая дочь ослепла трех лет от роду. И, словно нарочно, выросла красавицей с чудесным голосом. Вот бы взглянуть, против воли размечтался старый хоревод. И на Настьку тоже. Хоть одним глазком бы посмотреть....

Из трактира донеслись аплодисменты и взрыв восхищенных возгласов. Яков Васильев догадался: отплясала Маргитка. Он посмотрел вниз, себе под ноги. Лужа у крыльца чуть поблескивала, снова затягиваясь морозной коркой. Над крышей трактира светились ледяные ноябрьские звезды. Месяц садился за Страстной монастырь. Хоревод передернул плечами и засунул руки под мышки.

Сейчас Настьке тридцать три. И дети ее уже взрослые. А значит, того гляди, появятся внуки, которые ему будут правнуками. И правы, сто раз правы люди: всему свое время. Может быть, он, Яков Васильев, и не святой. Но и не такой грешник, чтобы помирать в одиночестве, не увидев дочери и ее детей. И даже этого зятя-кобеля, чтоб его разорвало... Что толку врать самому себе – дня не проходит, чтобы Яков Васильев не подумал о них. И, черт возьми, голоса в хор где-то же надо брать!

За спиной скрипнула дверь. Яков Васильев, не оборачиваясь, спросил:

– Маша?

– Одурел ты, старый пень? – Сестра подошла, встала рядом, кутаясь в шаль. – Час уже стоишь на холоду. Выстудишься насквозь, помрешь – хорони тебя, мучайся, деньги трать...

– Ничего, – скупо усмехнулся Яков. – Зато уж раз и навсегда.

– Типун тебе на язык!

Помолчали. Из трактира снова донеслась гитарная музыка, и низкий голос Митро затянул: «Не шумите, ветры буйные».

– Я слышал, Варька приехала?

– Какая Варька, Яша?

– А то не знаешь? Смолякоскири{Смолякова.}…

– Ну, приехала. У Конаковых остановилась.

– Сходи к ней завтра. Пусть придет. Надо Настьку в Москву.

Снова молчание. Глядя в землю, Яков слушал взволнованное дыхание сестры.

– Яшка, ты... это наверное решил?

– Когда я словами бросался?

Он ожидал радостного возгласа, слез, изумления. Но Марья Васильевна лишь нашла в темноте его холодную руку, поцеловала ее и без единого слова вернулась в трактир. Яков Васильев подождал, пока тяжелая дверь закроется за ней, провел ладонью по волосам, стряхивая с них иней, и пошел следом за сестрой.

ГЛАВА 1

Над Смоленском висела безлунная февральская ночь 1895 года. С темного неба огромными хлопьями валил снег. Один из узких переулочков возле конного базара оказался заметен по самые окна. Вереница крыш скрывалась в снежной пелене, кресты крошечной церкви, все в инее, тоже были почти неразличимы. За кладбищем побрехивали от холода собаки. В переулке не было ни души, и только закутанная в шаль женская фигурка пробиралась через сугробы, прижимаясь к заборам.

Поднявшись на заваленное снегом крыльцо одного из домов, поздняя гостья долго топала мерзлыми валенками, потом забила пяткой в дверь. Но завывание вьюги напрочь заглушало этот стук, и женщина, проваливаясь по пояс в снег, побрела к светящемуся окну.

– Гей! Откройте! Спите, что ли? Илья, Настя! Ромалэ, откройте!

Внутри долго было тихо. Затем заскрежетала щеколда. Ломающийся мальчишеский басок пробурчал:

– Кого нелегкая среди ночи?..

Дверь приоткрылась, в щели показалось заспанное лицо цыганенка лет тринадцати. Он протяжно зевнул, похлопал глазами, потер кулаком лоб – и вдруг просиял улыбкой до ушей:

– О-о-о! Тетя Варя! О, заджя!{Заходи.} Откуда ты? Как в такую метель добралась? Мама! Иди сюда, смотри, кто пришел!

Варька устало улыбалась, снимая с себя промокшие от снега шаль и платок. В маленьком домике поднялся переполох, застучали двери, из горницы в сени один за другим вылетали взлохмаченные мальчишки, и Варька едва успевала целовать подставленные носы и щеки.

– Уф, боже мой... Петька... Ефимка... Ванька... Да не висните вы на мне, чертенята, замучили насмерть! Илюшка, забери братьев! Где мама?

– Я здесь, Варенька, здравствуй! – Настя выбежала из-за отгораживающей угол пестрой занавески, на ходу прихватывая платком распущенные волосы. – Как же ты пришла по такой пурге? Господи, больше года тебя не было, все лето без тебя прокочевали! Как ты? Где была? Куда пропала так надолго? Илья уже с ума сходить начал!

Женщины обнялись, поцеловались. Настя зажгла свечной огарок, подбросила несколько поленьев в едва горящую печь, зашарила по полкам в поисках еды.

– Настя, я есть ничего не хочу. Самовар горячий? Давай чаю. – Варька

села к столу, на котором медным боком поблескивал самовар, и в пятне света отчетливо обрисовался ее неправильный профиль с сильно выступающими вперед зубами. – Рассказывай, как вы тут. Я соскучилась – смерть! Бросила хор посреди сезона – и приехала повидаться. Где Илья?

– Где ему быть... В кабаке, господ ублажают.

– Как его дела?

– Слава богу. Вон – полна конюшня рысаков, меняет, продает. Трактир – так, для баловства. Ну, хоть Дашка с Гришкой при деле, и то хорошо. Да бог с ними, ты-то как? Ты в хоре, что ли, на год застряла?

– Вестимо, где ж еще?..

– Так рассказывай! – Настя просияла. – Как наши все? Отец, тетя Маша? Митро как? Еще сына родил, наконец?

– Какое... Уж устал с женой ругаться за это. Первым Илона ему сына выдала, а потом, видать, разленилась: косяк девок, одну за другой... Все здоровы, не беспокойся. Даже бабка Таня не помрет никак, хотя каждый день грозится. Вот Макарьевна на Покров отдала богу душу. Помнишь Макарьевну-то? Ну, что ж, старая уже была, доскрипывала помаленьку... Наши за ней, как за родной, ходили до последнего дня. У хора дела в гору идут. Яков Васильич – молодцом, как держал всех в кулаке, так и сейчас держит. Тетя Маша внуков скоро солить будет. У одной Стешки – одиннадцать человек, а еще Аленка, Симка, Катерина стараются... Про тебя там все помнят, спрашивают.

Настя молчала. За окном пронзительно верещала вьюга, ветер бросал в стекло пригоршни снега. С полатей уже доносилось ровное сопение заснувших мальчишек. Где-то негромко стрекотал сверчок. Настя сняла заслонку с печи, и розовые пятна света легли на пол и на Настино лицо, делая заметными неровные шрамы на левой щеке. Глядя на них, Варька украдкой вздохнула.

– Не обидишься... если спрошу, сестрица? – запнувшись, начала она. – Илья... У него... У тебя с ним сейчас все ладно? Ничего не натворил, пока меня не было?

– Конечно, ладно. – Настя вздрогнула, отвлекаясь от своих мыслей. – Почему спрашиваешь?

– Ну, всякое же было...

– Было... Было и прошло. Нет, не беспокойся, все хорошо. Если что, мне бы рассказали давно. Знаешь ведь цыганок. Так бы языки и повырывала!

– Слушай, что ты с ним в трактир не ходишь? – помолчав, спросила Варька. – Хоть бы вечерами при тебе был. И деньги лишние никому не

мешают.

– Нет... Куда мне! В хорах красота нужна. – Настя слегка дотронулась до шрамов на щеке.

– Но их же и не видно почти! Да посмотри, какая ты тоненькая! Другие бабы, шестерых родивши, кадушки кадушками ходят, а ты... У тебя же ни одной морщинки нет! А царапинки эти – такой пустяк, что и говорить нечего!

– Ой, Варька, да что ж ты меня уговариваешь? – Настя тихо рассмеялась. – Что я – девчонка без женихов? У меня, слава богу, муж, дети – все хорошо. А в хоре я свое давным-давно отпела. Подожди, свежей заварки принесу.

Она встала, ушла в глубь комнаты. Варька, закусив губы, смотрела ей вслед.

Настя вернулась с мешочком чая. Быстро взглянула на Варьку. Словно прочитав ее мысли, подалась к пятну света, обеими руками раздвинув тяжелые пряди распущенных волос. В смоляно-черной массе отчетливо серебрилась седина.

– Вот, взгляни – вся белая, как ведьма! А Илье что... Знаешь, он ведь до сих пор черный, как головешка, без единого волоса седого. И бешеный такой же, как раньше, проклятый...

Варька молча пила чай. За окном голосила вьюга. Неожиданно в ее пронзительный визг вплелась дробь кулаков по обледенелой двери.

– Эй! Настька! Открой! Это мы!

– Ну, наконец-то. – Настя встала из-за стола, накидывая на плечи шаль.

Дверь открылась, впустив клуб морозного воздуха, и в горницу, на ходу сбрасывая кожух, быстро вошел Илья.

– Вот, Настька! Все ты ее учишь! – не поздоровавшись, сердито заговорил он. – Доиграемся мы до Сибири с этой девкой, на каторгу я из-за нее пойду! Родились и крестились, а такого не видали: чего удумала, господ кусать!

– Господи, что случилось? – удивилась Настя. – Пашенной опять приехал?

– Ну да! – Илья в сердцах ударил кулаком по дверному косяку. – Приехал и с компанией за полночь засиделся. Чего мы им только не пели! Потом эта чертовка во двор вывернулась, воздуху глотнуть, а Пашенной – за ней. Может, сказать чего хотел, а она, дура, не разобравшись, его зубами ка-ак... Выгонят ее из хора к чертовой матери! Чтоб первого купца в городе кусать – где это видано?!

– Чего ж он такого сказать хотел, – подозрительно осведомилась

Настя, – что она его зубами достала?

– Не знаю, не слыхал... – остывая, буркнул Илья. Бросив кожух на гвоздь, он провел ладонью по волосам, стряхивая с них снег, шагнул в горницу – и увидел сидящую за столом сестру.

– Дэвла!{Господи.} Варька! Откуда ты?! Вот умница, что приехала! Да не обнимай меня, я мерзлый, как солонина!

Варька, словно не слыша последних слов, повисла у брата на шее. Через его плечо увидела входящих в дом старших детей. Шестнадцатилетняя Дашка, улыбаясь, снимала лисий полушубок, разматывала облепленный снегом платок. Было видно, что громы и молнии отца ничуть ее не напугали. Ее черные и чуть раскосые, как у Ильи, глаза не мигая смотрели поверх головы Варьки в дальний угол. Брат Дашки, красивый, тонкий, как девушка, мальчик, бережно стряхивал снег с футляра скрипки.

– Будь здорова, тетя Варя, – улыбаясь, сказал он, и тут же эхом повторила Дашка:

– Будь здорова, тетенька.

– Здравствуйте, маленькие. – Варька поцеловала обоих. – Ну, замерзли? Давайте-ка с нами чай пить.

Через несколько минут Илья и дети сидели за столом. Настя разлила чай в большие расписные кружки, но побыла со всеми недолго – сославшись на усталость, отправилась спать. Илья, еще сердитый, вертел в пальцах сосновую щепку, молчал. Его сын, не спеша прихлебывая чай, что-то тихо говорил сестре, и та с улыбкой слушала его. Гришка был очень похож на мать, и Варька невольно залюбовалась тонкими и правильными чертами его лица, большими черными глазами с длинными, изогнутыми, как у девочки, ресницами, густыми кудрями, еще мокрыми от растаявшего в них снега. Дашка, в отличие от брата, оказалась точной копией отца: высокие, резко очерченные скулы, нос с горбинкой, широкие, почти сросшиеся на переносице брови, крупные, красивые и ровные зубы. Ее полураспустившаяся коса лежала на плече, и на каштановых с золотым отливом прядях играл свет углей. Варька, болезненно морщась, всмотрелась в невидящие глаза Дашки.

– И ничего не поделаешь... – покосившись на сестру, глухо сказал Илья. – Поначалу-то, помнишь, мы все ждали – вдруг пройдет. Старые цыгане говорили – случается такое иногда. И по колдуньям ее таскали, и свечи в церкви ставили, и что только Настька не делала... В Ростове однажды попа откуда-то приволокла, целую ночь кадил над Дашкой... А все без толку. Только недавно Настька угомонилась. Чего жилы рвать, раз уж

судьба? Эх, знать бы мне тогда... Шагу бы из Смоленска не сделал! Так бы все лето на печи и пролежал!

– Брось. Ты-то чем виноват? Бог это сделал, а не ты.

– Ну, только богу и дела… – невесело усмехнулся Илья. – Не потащили бы мы с тобой Настьку в табор – авось ничего бы и не было.

– Ну-у, знаешь... Если бы да кабы... Всего не угадаешь. – Варька покосилась на Дашку. – Э, да ты зеваешь, девочка. Давай я спать тебя провожу. Ночь-полночь, а вы только вернулись, устали. Пойдем-ка, расскажи мне, какие вы теперь романсы в хоре поете?

Дашка поднялась. Вдвоем с Варькой они отправились в соседнюю комнату. Тут же ушел и Гришка. Илья, оставшись один, молча смотрел в стол, гонял пальцем по столешнице свою щепку. Из-за занавески, за которой спала Настя, доносилось ровное дыхание. За окном продолжала верещать вьюга, поднимая у забора белые снежные столбы. За печью скреблась полуночница-мышь.

Варька вскоре вернулась.

– Устала девочка. Только голову на подушку приклонила – сейчас заснула. А знаешь, все-таки русская кровь в ней сильно видна. Маленькая была – так не очень это проявлялось, а сейчас заметно стало.

– А говорила, на меня похожа.

– Конечно. Но на ту твою гаджи{Гаджи – нецыганка.} больше. Чудно – глаз черный, волос вьется, кожа смуглая, а все равно... И чем старше – тем виднее.

– И когда ты мне кончишь глаза колоть? Настька и та не вспоминает.

– Ну, Настька... Настька – жена, ей молчать положено. Столько лет с тобой мучается, с кобелем.

– С того раза и не было ничего.

– Да ты мне-то хоть не ври! То я не помню, как ты позапрошлой весной на две недели пропал. А потом – еще. Забыл, где я тебя тогда отыскала?

– Варька, отвяжись, добром прошу, – проворчал Илья. – Что я тебе – щенок сопливый? Как дам вот сейчас!..

– Скажите, напугал! – усмехнулась Варька и тихо вздохнула. – То-то и оно, что не щенок. Мог бы уж и угомониться. Дети взрослые.

Илья буркнул что-то невразумительное и отвернулся. Варька без улыбки смотрела на него. Помолчав, спросила:

– А кто этот Пашенной, что ты так вскидываешься?

– Купец первой гильдии, миллионщик. Почти весь город ему должен.

– Ну так что ж ты?..

– А, думаешь, он жениться собирается? Жена у него есть да детей трое уже. А Дашку – так, для забавы хочет. Я уж сто раз ему по-доброму говорил: отстаньте, мол, от девки, ваше степенство, на что она вам, слепая-то... А он рогом уперся: желаю Дашку, и все! Просто проходу нет от него! Каждую ночь в кабаке сидит, глаз с нее не сводит. Наши уже поговаривают: прячь девку, морэ{Морэ – дружеское обращение к мужчине-цыгану.}, украдет... Он может, у него такие молодцы в приказных – чертям страшно.

– Надо уезжать, – решительно сказала Варька. – Всем уезжать, всей семье.

– А куда среди зимы-то? – кисло поинтересовался Илья. – В кочевье? На санях по снежку?..

– Зачем в кочевье? Езжай в Москву.

– Ага... Яков Васильич там меня ждет не дождется. А Настьку он вообще проклясть обещал – забыла?

– Обещать обещал, да не проклял же. И портрет ее как висел в зале, так и висит уж сколько лет. Яков Васильич снимать не позволяет. Время прошло, Илья. Забылось все давно. Да и Настьку бы ты пожалел. Скучает она.

– Это она тебе сказала? – удивленно поднял голову Илья.

– Нет. Но я же не слепая. Ты посмотри, подумай. Я тебе указывать не могу, но, по-моему, так всем лучше будет. Я в Москве с Марьей Васильевной говорила. Она считает, что можно вам приехать. Ничего не будет. К старости люди сердцем отходят, а у Якова Васильича других кровных внуков, кроме твоей оравы, нету. Подумай, Илья. И извини, я спать пойду. Третий час уже, устала как собака. Завтра поговорим.

Варька ушла. Илья некоторое время еще сидел за столом, глядя на то, как сочится каплями свечной огарок. Затем встал и дунул на огонек.

За занавеской – темно, тихо. Настя, казалось, спала, но стоило Илье скрипнуть половицей, как послышался шепот:

– Илья, ты?

– А ты кого ждешь? – буркнул он. – Подвинься. Думал – спишь давно.

– Я и сплю. – Она помолчала. – Илья, послушай... Весна на носу!..

– И что?

– Мы же все равно уедем, верно?

– Ну...

– Дашку ведь надо поскорей от Пашенного убирать, правда?

– Угу.

– Может быть... в Москву, к нашим? А?

Илья молчал, думая о том, что Варька, как всегда, оказалась права. Да-

а... Хорош, нечего сказать. Старый дурак. Считал, что Настька про родню давно и думать забыла.

– Ну и что нам там делать? – все-таки заспорил он. – Мне заново торговлю открывать? Там своих кофарей полно, на Конной втиснуться некуда. Лето пропадет, табор потом не догоним… А ты куда в Москве денешься?

– А здесь куда?

Он не нашелся что ответить. Помолчав, неохотно сказал:

– Весной поглядим. Если только Пашенной до того времени не удумает ничего. Может, прочь из города Дашку отправить пока? От греха-то подальше... У нас родня в Рославле, можно бы…

Внезапно с подушки рядом донеслись странные сдавленные звуки. Испугавшись, Илья тронул Настю за руку.

– Чего ты? О, бог мой, дура... Я думал – плачешь, а ты хохочешь! Чего заливаешься-то, глупая, чего?!

– Илья... – Давясь от смеха, Настя уткнулась в его плечо. – А что, здорово сегодня Дашка Пашенного хватила?

– Тьфу, безголовая... Тут не смеяться, а плакать надо, – пробурчал Илья, чувствуя, что и его против воли тоже разбирает смех. – Это все твоя наука.

– Ничего подобного! – Настя перестала смеяться. – Знаешь... Если бы ей этот Пашенной по сердцу пришелся, я бы ее отпустила.

С минуту Илья ошарашенно молчал. А затем взвился:

– Одурела?! Что она, потаскуха?! Мою дочь к гаджу в подстилки... Белены ты объелась или пьяная?!

– А ты не кричи. Ты подумай, как она жить будет. Замуж ее из цыган никто не возьмет. Кому нужна слепая? Просидит в вековушах, а ведь хороша, таланна... Может, если бы влюбилась в этого купца, так хоть год-другой с ним в счастье прожила. Все не пустоцвет...

Илья озадаченно молчал.

– Нет, он ей не нравится, – наконец нехотя сказал он. – Сама от него бегает. Нужно ее увозить поскорей. А замуж... Ей всего-то шестнадцать. Посмотрим.

– Как скажешь, – согласилась Настя, придвигаясь к мужу и кладя голову ему на плечо.

Илья обнял ее, привлек к себе. Дождался, пока заснет, и лишь тогда, поднявшись, вышел в темную горницу и снова сел за стол. Сна не было ни в одном глазу. За окном носилась метель, окна дрожали, в печной трубе завывал ветер, и, казалось, никогда не наступит эта проклятая весна. Илья

закрыл глаза, вспоминая тот теплый послегрозовой вечер, когда он увел Настю в табор. Увел от отца, родни, поклонников, шелковых платьев, от ресторанов, романсов и славы. В одном платье и шали внакидку ушла она за ним. Семнадцать лет минуло, а кажется – вчера все было.

Правду говорят цыгане, что если у человека к двадцати годам ума нет, то и потом он не появится. Тогда, тем летом, когда Илья, одуревший от счастья, привел Настю к своим, разве знал он, что так получится? Понимая, кого взял в жены, он не вынуждал Настю гадать и побираться. Она начала делать это сама: «Не цыганка, что ли? Сумею...» И Илья не замечал дорожек от высохших слез на ее щеках.

Грех упрекать ее, Настя делала все, что могла. И, оказавшись в таборе, ни разу больше не надела туфель, как ни сокрушалась Варька: «Что ты делаешь, что делаешь, ноги изранишь, хоть не сразу, хоть понемножечку привыкала бы!..» И, схватив по утрам торбу, вслед за цыганками отправлялась в деревню, а Варька рассказывала втихомолку Илье, что Настя «просто со стыда скукоживается, жаль смотреть», протягивая руку за подаянием. И училась у Стехи гадать. И ходила в рваной кофте, как все. И жгла лицо под солнцем. И… читала купленные с лотка книги при свете костра, и рассказывала наизусть стихи. А когда цыгане просили ее: «Настя, спой по-городскому, все просим», Настька откладывала книгу, привычным движением поправляла на плече шаль и запевала, глядя в темнеющую степь, какие-нибудь «Ночи безумные». И табор стихал, даже дети переставали визжать и носиться. Казалось, слушают даже лошади, даже ободранные, грязные цыганские псы. А он, Илья, стоял рядом с женой и раздувался от гордости, как индюк. И не обращал внимания на бурчание Варьки: «Да возвращайтесь вы в Москву, ради бога, не мучай ее». Пожалуй, только Варька и догадывалась о том, что Насте плохо в таборе. Ни цыганам, ни Илье такое и в голову не приходило. Жена всегда была весела, довольна, никогда не сердилась и не плакала – по крайней мере, на людях. А он разве мог тогда понять, почему иногда вечерами она уходит в степь и, сидя спиной к табору, все смотрит и смотрит вдаль, на садящееся солнце? Хотя, может, и догадывался в глубине души. Недаром ни разу не осмелился подойти к ней в такие минуты. Но наступала ночь, над шатрами поднималась луна, табор стихал, и Илья входил под полог, зная, что жена ждет его там, невидимая в темноте.

– Настенька...

– Я здесь...

Протянутые ему навстречу руки, смутно блестящие в потемках зубы, белки глаз, теплые волосы, губы, плечи... Как он целовал их, как сходил с

ума от запаха степной полыни, как раз за разом прятал лицо между грудей Насти, умирая от нежности, как шептал, теряя голову:

– Моя Настька... моя... моя...

Она беззвучно смеялась, обнимая его:

– Твоя, морэ, твоя... Кто отнимает?

– Пусть попробуют! Убью! Всех убью! Скажи, любишь меня? Любишь?

– Люблю, люблю...

– Не врешь?

– Глупый ты какой, господи...

Семнадцать лет прошло с тех пор, утекло, как талая вода, а Илья до сих пор не знал – правду ли она тогда говорила. Но, правду или нет, а все эти годы Настька прожила с ним в таборе, не жалуясь ни на что. Уже на второй год бродячей жизни она гадала по деревням так же лихо, как таборные, а Варька уверяла Илью, что и лучше. Насте не требовалось привлекать к себе внимание громким криком под окнами и хватанием баб за рукава. Деревенские шли к ней сами, умоляя: «Да ты постой, цыганочка, мы хоть посмотрим на тебя! Сроду такой-то красы не видывали!» И, ахая, отшатывались, когда Настя приближалась и становились отчетливо видны так и не зажившие до конца шрамы на левой щеке.

– Охти, мать-заступница, да кто ж тебя так?!. У кого рука на этакую-то богородицу поднялась?..

– А у мужа, у мужа, драгоценные! – немедленно встревала в разговор Варька, старательно не замечая Настиного укоряющего взгляда. – Уж такой сатана, такой черт злющий, что прямо беда! Бьет ее, несчастную, смертным боем, когда она ему не добудет, прямо всем табором отбирать приходится, чтоб насмерть не порешил!

– Ох, батюшки… Бедная, горе-то какое, вот судьба-то… – сокрушались крестьянки. – Угораздило же за злыдня попасть…

– Варька, мэ тут умарава…{Я тебя убью.} – бормотала Настя.

– Закэр муй, дылыны…{Замолчи, дура.} Вот, родимые, а вчера он ее грозился и в шатер не пустить, коли поесть да выпить ему не принесет! Пода-а-айте, за-ради Христа, нашей Настьке, чтоб она живой осталась… Хоть картошки, хоть лучку насыпьте… А маслица ни у кого нет?

Сердобольные бабы кидались по домам, и в торбу смущенной донельзя Насти летели и картошка, и масло, и хлеб, а иногда клалась и связанная курица.

А как Настя умела утешать молодых вдов, матерей, потерявших детей, молодух, мучающихся с непутевыми мужьями!.. Илья хорошо помнил один

из июльских вечеров, когда среди вернувшихся из деревни цыганок он не увидел своей Насти. Варька в ответ на встревоженный вопрос брата со смехом сказала:

– Цела твоя Настька, не бойся, не украли. С самого утра у одной гаджи в избе сидит. Баба молодая, солдатка, мужа весной забрали, и сразу два сына один за другим померли. Так Настька наша сначала к ней во двор зашла водички попросить, потом расспрашивать эту молодуху начала, та ей всю свою беду битый час рассказывала, ревмя ревела, потом уж и Настька вместе с ней ревела, ну а после они вдвоем водку под кислую капусту пили…

– И Настька пила?!. Да рехнулась ты, что ли?!

– Не перебивай! Ну, не пила, так притворялась для-ради компании… Потом Настька ей «Лучинушку» запела, и со всей улицы…

Дальше Илья слушать не стал, отлично зная, что, стоит жене запеть, как тут же сбегается вся деревня. Выругался и пошел запалять костер.

Настя вернулась уже после заката, зареванная, сердитая и – с пустой торбой. Посмотрев на Илью, устало проговорила:

– Ну, что я с нее возьму? В доме – дети да тараканы, и все голодные…

– Что ж ты на нее весь день убила, дура?..

– Жалко…

Илья только рукой махнул. В тот вечер ужинали добытой Варькой картошкой и салом, а утром Илью разбудил басистый женский крик:

– Эй, цыгане! Цыгане-е-е! Которая здесь у вас самая раскрасавка? А, вот она ты! Во! Глянь! А то сбежала вечор как от холеры, даже морквы в огороде не надергала!

Илья высунул голову из шатра и увидел молодую бабу с некрасивым худым лицом, на которую Настя испуганно махала руками:

– Да на что мне, глупая, твое полотно?! Уноси обратно!

– А мне оно на что?

– Продашь! Детей накормишь! Богатая, что ли, сильно?

– Сама продай! И своих накорми! В городе вон продай да хлеба себе купи! Нешто так правильно, что ты на меня вечор столько сил-то положила? Да не бойся, мы с голоду не помрем, я к осени, как ты велела, к брату в город переберусь, не оставит небось, я у няго одна сестра…

Говоря, баба раскатывала прямо по росной траве рулон беленого плотного полотна. Из соседних шатров уже повылезли цыгане, и растерянной Насте оставалось только принять подарок. Баба ушла в деревню размашистым мужским шагом, бодро и фальшиво напевая: «Вы не вейте, ветры буйные». Настя озадаченно мяла в руках полотно. Варька,

спрятав лицо в ладони, хихикала. Цыганки переглядывались, не зная, то ли посмеяться над Настей, то ли похвалить ее. А старая Стеха одобрительно крякнула:

– А умница Настька-то форитка!{Городская.} Умеет добыть!

Так Настя и гадала: долго, часами слушая заунывные рассказы деревенских баб об их горестях, сочувственно кивая, расспрашивая, задавая вопросы, утешая, советуя. И даже не касалась ни карт, ни зеркальца для гадания, а бабы хлюпали носами, благодарили и совали в лоскутную торбу все, что находилось в доме: от яиц и картошки до отрезов ситца.

– Бог ты мой, второй год всего как добывать ходит, а такой навар… Что ты гаджухам говоришь, дорогая?! – поражались опытные таборные гадалки, разглядывая раздутую Настину торбу.

– Ничего особенного, – честно и смущенно отвечала Настя. – Иногда и вовсе рта не открываю, они сами говорят…

Цыганки недоверчиво поджимали губы, а старая Стеха посмеивалась:

– Дуры вы, дуры! Да вы на нее гляньте! Такой богородице сам черт что угодно расскажет, лишь бы она перед ним сидела, улыбалась да глазками своими ясными в душу грешную смотрела! Не то что вы, вороны длинноносые, только каркать под окнами и выучились: «Пода-а-ай, яхонтовая, мужу на водку, а то он меня прибьет…» Ох, не прогадал Смоляко, ох не прогадал! Козырную взял!

Как и прежде, Илья уходил порой «добывать коней» и ни на что не променял бы свое лихое занятие. Настя смотрела тревожными глазами, кусала губы, но не вмешивалась: это его дела, дела мужчины. Однако недаром говорится: «Сколь веревочку ни вить, а концу быть». До самой смерти ему, Илье Смоляко, не выбросить из памяти той августовской «воробьиной» ночи, когда небо до утра вспыхивало сиреневыми зарницами, а дождь так и не собрался.

В ту ночь они с Мотькой, Варькиным мужем, залегли в овраге возле большой станицы, где отмечался престольный праздник. Все казаки, пьяным-пьяны, отплясывали на майдане, мальчишки, сторожившие коней в ночном, сбежали посмотреть на веселье, и лошади бродили без пригляда по брюхо в росистой траве, то прячась в тумане, то вновь бесшумно появляясь из него. По небу плыла тревожная розовая луна. Зарницы вспыхивали одна за другой, в овраге беспокойно кричали птицы, со стороны станицы доносились хмельные песнопения. «Пора», – сказал Мотька, и друзья, беззвучно поднявшись, тронулись к лошадям.

Спустя семнадцать лет Илья так и не мог понять, где тогда были их уши и глаза. Ведь не в первый раз шли на лихое дело и знали: лучше сто

раз осмотреться и не пойти, чем, понадеявшись на авось, пропасть. Знали: если поймают, не поведут в тюрьму, убьют сразу. Но какой-то цыганский черт отвел от них тогда удачу. И Илья понял, что дело плохо, только когда из тумана бросились к ним черные, тяжело пыхтящие тени. Казаки оказались не дураками и, заметив остановившийся на горке цыганский табор, на всякий случай легли в засаду возле лошадей.

Цыган было двое, казаков – десять, и вскоре Илья понял, что пора молиться. Им уже не давали подняться с земли, и глаза не открывались от залившей их крови, когда Илья вдруг почувствовал, что прямо на него падает что-то горячее, живое, и знакомый голос кричит: «Не трогайте, не трогайте, не бейте, люди добрые!» – «Настька, откуда?» – хотел было спросить он. Но не спросил, поняв: все равно умирает.

Он выжил. И пришел в себя на четвертые сутки. Первое, что Илья увидел, – заплаканное лицо Варьки. На ней был черный платок.

– Мотька?..

Варька залилась слезами.

– Настя?..

Варька заревела еще пуще, и Илья, чувствуя, как сжимает судорогой горло, через силу приподнялся на локте.

– Умерла?.. – одними губами спросил он.

Но Варька, вытирая слезы, замотала головой, напилась воды из чайника и начала рассказывать.

Все цыгане, конечно, знали, что Илья и Мотька пошли за лошадьми, и табор торопился уйти подальше. Но Настька, видно, почуяла неладное и, развернув свою телегу, прямиком понеслась обратно, в овраг. Заметить это успела только Варька, и то – через полчаса. Не задумавшись, она тоже повернула лошадей и помчалась за невесткой.

Когда Варька, задыхаясь, кубарем скатилась в овраг, она сразу же увидела неподвижно лежащих на земле конокрадов и Настю. Возле них сосредоточенно совещались казаки. Варька, уверенная, что муж, брат и невестка мертвы, упала на колени и взвыла в голос, призывая на головы «убивцев окаянных» всех чертей. Казаки покорно дождались, пока Варька перестанет голосить, и с явным смущением поведали ей, что «вот эта скаженная цыганка мужика своего до последнего грудью закрывала». Прежде чем распаленные казаки сообразили, что бьют кольями и сапогами женщину, и остановились, Настя приняла на себя бог знает сколько ударов и лишилась чувств, намертво вцепившись в Илью.

«И она, кажись, ишо живая, и мужик ейный тоже дышит! Так что давай мы их тебе на телегу погрузим, и скачи живо до Новочеркасска, в

больницу, мы дорогу короткую покажем».

Казаки перенесли Илью и Настю в телегу. Напоследок Варька подошла к неподвижному телу Мотьки, убедилась, что ему уже ничем не помочь, вскочила на передок телеги и яростно вытянула кнутом лошадей.

Илью пообещала выходить старая Стеха, уверявшая, что, «как конокрада ни бей, все равно через неделю встанет». А его жену отвезли в больницу, и цыгане две недели ждали Настю, раскинув шатры на окраине города. Илья не уходил с больничного двора. Сидел на разбитых ступеньках, смотрел в выцветшее от жары небо и клялся богу: если Настька выживет – шагу он больше не сделает к чужим лошадям. Бог, кажется, поверил, Настька выжила. Весь табор, от мала до велика, пришел ее встречать во двор больницы. Илья чудом сумел не зажмуриться, не отшатнуться, увидев на левой щеке жены два глубоких безобразных шрама.

Понемногу эти шрамы, конечно, зажили, рваные раны превратились в темно-красные полоски, цыгане крестились и божились Насте, что их и не заметно вовсе, но всем уже было понятно: красота ушла.

Настя не плакала. Лишь молчала и молчала день за днем, выполняла привычные дела, ходила с цыганками на промысел, утешала оставшуюся бездетной вдовой Варьку. Понемногу успокоился и Илья. Однажды он поймал себя на мысли, что даже рад случившемуся. Теперь Настька никуда не денется от него. А то так до конца дней и дрожи: убежит с кем-нибудь, или уведут ее, или плюнет она на таборную жизнь да вернется к отцу... Все-таки тогда он еще был дурак дураком. Но слово свое Илья сдержал: за семнадцать лет больше ни разу не прикоснулся к чужим лошадям.

Зимовать, как обычно, поехали в Смоленск. Осели в знакомой слободе, где их давно принимали на зимние месяцы. Настя, зажив привычной оседлой жизнью, казалось, повеселела, снова начала распевать романсы, даже раздобыла где-то гитару, и по вечерам в их дом набивался весь табор. И тут снова бес подстелил свой хвост, на который Илья и наступил со всего маху. Хвостом этим стала Лукерья, самая обычная уличная девка, на которую Илья, может, и не взглянул бы никогда, не окажись она так похожа на московскую купчиху Баташеву. На Лизу, которую он никогда не любил, но в памяти до сих пор почему-то стояли серые глаза, светло-русые косы, белое полное тело, грудь, руки… Полгода в Москве Илья лазил к Баташевой под одеяло, полгода слушал, как она клянется ему в любви, целовал ее, тискал теплую тяжелую грудь, прижимал к себе смеющуюся и плачущую женщину… И, встретив в смоленском переулке отчаянно похожую на Лизу проститутку, пошел за ней не задумываясь.

И надо же было, чтобы именно с ним все это случилось! Словно он

один из табора ходил в тот распроклятый домик в окраинном переулке. Половина цыган втихую бегала туда. И Илья тогда мог бы побожиться, что Настька ничего не знала. Так бы все и было шито-крыто, не реши Лушка выкинуть фортель, объявив Илье, что она беременна. Илья забеспокоился:

– Вытрави. Я денег дам.

– Поздно, не буду.

– Ну и дура, – заявил Илья уже из-за двери. И больше не приходил.

Первое время он боялся, что Лушка станет бегать за ним и требовать денег, но она не появлялась. А когда стало ясно, что Настя ждет ребенка, Илья и думать забыл о веселой девице. Как и все бабы в таборе, Настя до последнего прятала свой живот, опасаясь сглаза, и Илья узнал о ее беременности только на пятом месяце.

Настя родила Гришку в апреле, промучившись трое суток и чудом оставшись в живых. Она сумела подняться с постели лишь через месяц, ходила бледная, осунувшаяся, все валилось у нее из рук, и Илья быстро понял: о том, чтобы догонять табор, уже пустившийся в кочевье, сейчас не может быть и речи. Всю весну они просидели в Смоленске. Илья крутился на конном базаре, Варька бегала гадать, Настя возилась с сыном и кое-как управлялась по хозяйству. А в конце мая в доме появилась Дашка. Корзинку с месячной девочкой подбросили к крыльцу дома Ильи, записка в одеяле гласила: «Крещена Дарьей. Простите, люди добрые, самой есть нечего». И откреститься от ребенка Илья не мог: даже сын не был так похож на него, как эта полурусская малышка. Настя не сказала ему ни слова. А Варька, обозвав сквозь зубы бесстыжим кобелем, зло бросила: «Молись, чтобы Настя теперь в Москву не сбежала». Он молчал: что было отвечать?

Ночью Илья не спал. Лежал рядом с Настей, притворялся, что дремлет, из-под полуопущенных век следил, как жена то и дело встает с постели, подходит то к одному, то к другому младенцу, греет на лучине рожки с молоком, делает соску из тряпки с хлебом. Уже под утро, когда за окном совсем стихли шорохи, а Дашка с Гришкой заснули накрепко, Илья спросил:

– Уедешь теперь?

– Куда ехать? – помолчав, чуть слышно отозвалась она. – Дети...

Больше он не стал ни о чем спрашивать. Еще и порадовался по молодости и глупости, что не пришлось каяться перед женой, да еще в том, что другим всегда сходило с рук. До рассвета они промолчали. Позже Илья пожалел об этом, поняв, что не так должен был повести себя.

Через две недели они догнали табор. И снова начались дороги, ярмарки и базары, снова – конные рынки, лошади, упряжь, магарыч по

кабакам, снова – теплые ночи, догорающие угли, луна, падающая за реку, Настин голос: «Ах, разлетелись-раскачались...» Она опять начала петь по вечерам, улыбалась, когда Илья вступал вторым голосом, и ему даже стало казаться, что жена все-таки простила его.

Илья боялся, что Настя невзлюбит Дашку, но этот страх прошел после того, как Варька потихоньку рассказала ему, как она – бездетная – просила Настю отдать ей младенца. Настя отказалась наотрез, не тронувшись даже Варькиными слезами, а та плакала нечасто. Дашка росла здоровой, рано встала на ножки, темный пух на ее головке сменился каштановыми кольцами, черные глазки весело светились, а вопила она втрое громче Гришки, обещая стать хорошей певицей и завидной невестой. И стала бы, видит бог, не случись того душного грозового лета тринадцать лет назад.

Табор тащился по кубанской степи на ярмарку в Ростов. В воздухе над дорогой с утра до позднего вечера висело желтое марево, от жары шатались даже лошади, собаки и вовсе отказывались идти, укладываясь в горячую пыль и свешивая на сторону языки. Табор растянулся вдоль дороги, как рассыпавшиеся далеко друг от друга бусины, цыгане уже не могли ни петь, ни разговаривать, а только таращились мутными от духоты глазами вперед, ожидая остановки. А впереди, как назло, не попадалось ни реки, ни прудика.

Настя лежала в телеге вместе с детьми. Варька брела позади. И она, и Илья, сидящий с вожжами в руках, с тревогой посматривали на крохотное круглое облачко, выплывшее из-за горизонта. Другие цыгане тоже косились на этот темный шарик, зная – к добру такие облака не появляются.

Облако близилось, росло и на глазах наливалось чернотой. Стихло все, даже степные чирки перестали сновать через дорогу. Куда-то исчезли слепни и мухи, замерла выгоревшая трава. На огромном каштане, торчащем, как свеча, посередине степи, не шевелилось ни листочка. Дед Корча озабоченно задрал к небу седую бороду и коротко скомандовал:

– Тэрден!{Стойте!}

Через минуту цыгане накидывали на головы фыркающих лошадей мешки и одеяла. Женщины привязывали к себе маленьких детей, собаки, рассевшись в пыли, хором выли, и никаким криком нельзя было заставить их умолкнуть. Бледная Настя примостилась возле телеги, прижимая к себе спящего Гришку и вертящуюся Дашку. Илья, ругаясь, накидывал на голову норовистой саврасой кобылы рваное одеяло. Варька помогала брату.

– Илья, это буря, да? – услышал он последний вопрос жены.

Ответить Илья не успел: порыв ветра вырвал из его рук одеяло, кобыла, захрапев, рванулась в сторону, ее ржание перекрылось Варькиным

визгом, и стало темно.

От ветра полегла трава. По дороге понеслись сухие комки перекатиполя, цыганские тряпки, верещащий от страха щенок. Все это мгновенно исчезало во вздыбленных клубах пыли. Черное небо сверху донизу распорола голубая вспышка, грохнуло так, что цыгане попадали на землю, и тут же полило как из ведра.

Илье приходилось и раньше встречаться с ураганами в степи, но такого, как этот, он не видел ни разу. Люди держались, вцепившись друг в друга, и Илья едва смог разжать руки Насти, чтобы взять у нее детей: «Дай мне, я сильнее! Не вырвет!» А она, словно обезумев, мотала головой и прижимала к себе орущие комки. Во вспышках молний Илья видел искаженное от страха лицо жены с прилипшими к нему волосами. Сквозь вой ветра едва доносился голос Варьки: «Илья, кони! Боже мой, кони!» Он не пытался ответить, и так зная, что лошади разбежались. Стоял на коленях, держась за наспех вколоченную в землю жердь, прижимал к себе Настю и детей, отворачивался от хлещущих струй дождя. Ветер уже не выл, а ревел, старый каштан трещал и гнулся, как прутик, по земле бежали потоки воды. Илья, спохватившись, что их телега стоит почти под самым деревом, попытался отойти в сторону, но ветер не давал сделать ни шагу. Стиснув зубы, Илья попробовал еще раз... и в этот миг наступил конец света. По крайней мере, так показалось Илье, когда он увидел расступившиеся в сумрачном свете тучи с рваными краями и синий сверкающий столб, разделивший небо. Никогда в жизни он не видал такой молнии. Табор осветило как днем, над телегами поднялся дружный вой, даже мужчины орали от страха. От грохота содрогнулась степь, сияющий комок ударил в старый каштан, тот вспыхнул, как щепка, раскалываясь надвое, и Илья отлетел в сторону. Гришка вывалился у него из-под рубахи – Настя едва успела поймать катящийся комок. Следом полыхнуло еще несколько молний, и в их свете Илья увидел остановившиеся глаза трехлетней дочери, которыми она не моргая смотрела на пылающий каштан.

Через полчаса все прекратилось. Ураган унесся в сторону реки, небо очистилось, старый каштан уже не горел, а дымился, солнце осветило переломанные телеги, разбросанные шатры и перепуганных насмерть людей. Цыгане поднимались один за другим, первым делом пересчитывали детей, затем начинали крутить головами в поисках улетевшего добра, крестились, спрашивали друг друга – все ли целы? Телег, на которых можно было бы ехать, не осталось ни у кого; люди, слава богу, почти не пострадали, только кривого Пашку ударило жердью от шатра да у одной из

цыганок оказалась сломана рука, попавшая под колесо. Дорога наполнилась охами, вздохами, причитаниями, ревом детей. Цыгане разбрелись по степи в поисках разбежавшихся коней, женщины собирали вещи и остатки шатров. И никто уже не ждал большего несчастья, когда вдруг над полем пронесся дикий крик. Вопила Варька, упав на колени и вцепившись обеими руками в растрепанные волосы. Тут же к ней сбежались все. Молча, со страхом уставились на бледную Настю. У той по лицу катились слезы. Держа за плечи дочь, она хрипло просила:

– Доченька, чяери{Девочка.}, посмотри на меня... Дашенька, пожалуйста, посмотри... Изумрудная, брильянтовая, посмотри на меня...

Дашка удивленно улыбалась. Ее остановившиеся глаза смотрели, не моргая, через голову матери в синее, словно умытое небо.

Настя теперь плакала не переставая. Днем, ночью, сидя в телеге, стоя на ярмарочной площади, лежа рядом с Ильей в шатре. Плакала, не вытирая слез, и Илья не знал, что ей сказать. У него самого при виде неподвижных Дашкиных глаз что-то сжалось в горле и не отпускало несколько дней, мешая дышать и говорить. Не отпускало до тех пор, пока через неделю, ночью, лежа рядом с женой и слушая, как она беззвучно давится рыданиями, он не спросил:

– Хочешь, вернемся в Москву? На землю сядем? Слово даю, сядем!

Бог свидетель, согласись тогда Настька, он бы сдержал свое слово. И вообще что угодно сделал бы, лишь бы Настьке полегчало, лишь бы прекратились эти молчаливые слезы с утра до ночи, лишь бы хоть немного осветилось ее почерневшее, застывшее лицо. Но Настя только покачала головой. Хрипло, не глядя на мужа, сказала:

– Зачем? Я привыкла… Да и зима уже скоро. До зимы еще было добрых четыре месяца, но Илья настаивать не стал. Кое-как докочевали до первого снега, вернулись в Смоленск, и всю зиму Настя таскала дочь по докторам. Илье прежде и в голову не приходило, что на этих живодеров можно ухлопать столько денег. Но он давал не споря, сам надеясь на любое, пусть даже самое дорогое чудо. Однако смоленские доктора только разводили руками. Не помогли и знахарки, и молебны в церкви, и Настины молитвы, и даже Варькино ночное беганье голышом, в вывернутой овчине на голове, вокруг дома – крайнее, самое надежное средство. Дашка больше никогда не видела солнца. Через три года Настя окончательно смирилась с этим, и тратиться на врачей перестали.

Время шло. Проходил год за годом, и каждую весну они неизменно трогались в путь. Один за другим рождались дети, пять человек – и все мальчишки. Настя сама учила их грамоте и счету, а старшего, Гришку, даже

отдала в Смоленске учиться играть на скрипке. Конечно, это ученье продлилось недолго – конец осени да зиму, до тех пор, пока не тронулись снова кочевать. Но скрипка уже накрепко застряла в Гришкиных ручонках, и Илья, мечтавший пустить старшего сына по своим стопам, быстро понял: толку на конном рынке из мальчишки не будет. С возрастом он стал похож на мать: худенький, глазастый, с тонкими руками. Хорошо пел, хотя Настя и сердилась, говоря, что до тринадцати лет – пока не начнет ломаться голос – учиться петь ему не нужно. Серьезное личико мальчика оживлялось лишь тогда, когда Гришка брал скрипку. И чего только не вытворяла она в его руках! Старый смоленский еврей выучил его правильно держать смычок, а дальше Гришка старался сам, играя по слуху что придется. Из Смоленска он вывез заунывные еврейские мелодии; в Кишиневе с утра до ночи пропадал у заезжих румын, перенимая их дребезжащие напевы; в Ростове часами простаивал около театра, принося домой обрывки «Лебединого озера» и «Аиды»; на ярмарке в Новочеркасске высмотрел турецкую плясунью Джамиллу и вечером уже наигрывал тягучую азиатскую песню. Настя радовалась, глядя на сына, Илья пожимал плечами.

Дашка тоже росла, и к двенадцати ее годам стало ясно, что она будет красавицей. Илья, любуясь дочерью, только диву давался: всем она напоминала его – и смуглотой, и густыми бровями, и глазами, черными, чуть раскосыми, с голубоватым белком, и высокой линией скул, и губами, и носом... но Дашка была хороша. То ли Лушкина кровь смягчила цыганские черты, то ли бог решил так пошутить. Голос у Дашки прорезался рано; едва научившись говорить, она, картавя, повторяла за Настей: «Пала гнедых, запляженных с залею...» А в пять лет дочь, повергнув Илью в немалое изумление, первый раз попросила:

– Возьми меня на Конную...

– Зачем, чяери? Иди вон матери помоги...

– Нет. Хочу с тобой.

Он взял – забавы ради. Все равно Гришка сроду не просил его об этом, а остальные мальчишки еще были слишком малы. И с тех пор Дашка ходила за отцом как пришитая. По-деловому, захватив кнут, шла с ним на Конную площадь; сидела под столом в трактире, пока Илья распивал с покупателями магарыч; цеплялась за его штаны, когда он отправлялся потолковать с цыганами о делах. Насте это не нравилось.

– Зачем ее на Конную таскаешь? Место разве ей там? Она – девочка, пусть хоть петь учится, хоть гадать. Ты еще верхом на лошадь ее посади и кнут в руки дай!

– И дам! – отшучивался он. – Хоть дело в руках будет, с голоду не

пропадет!

– Ее же замуж никто... – начинала Настя и... обрывала себя.

Было очевидно, что замуж Дашка не выйдет. Ни таборным, ни городским не нужна слепая жена. И поэтому Дашка делала что хотела, бродя за отцом как тень и занимаясь тем, чем цыганская девчонка вовсе не должна была интересоваться.

И в кочевье Дашка тоже ходила за Ильей как хвост. Весной, когда табор трогался из города, она неизменно шла рядом с отцом, отказываясь ехать в телеге, полной мальчишек, лихо шлепала босыми ногами по еще холодной грязи, держалась за рукав отца или край телеги, улыбалась, глядя неподвижными глазами на умытое солнце, и из нее сыпались вопросы: «Дадо{Отец.}, а как же другие люди летом в домах живут? Разве им не плохо, не душно? А почему не все цыгане кочуют? А зачем ты маму из Москвы увез? Почему ее за тебя отдали?»

Он смеялся, отвечал, неожиданно рассказывая такое, о чем, казалось, давно забыл, о чем не говорил Насте, чего не знала даже Варька. Иногда напевал какую-нибудь долевую песню, и Дашка почти сразу же вступала вторым голосом. Голос у нее оказался как у Варьки – низкий, грудной. Она хорошо пела и романсы, которым учила ее Настя, и без труда тянула «Лучинушку» или «Уж как пал туман». Но стоило ей завести глубоко и сильно: «Ай, доля мири{Моя.} рознесчастно...» – и у Ильи сердце замирало. В такие минуты он всегда думал о матери, которой никогда не видел. Но вот табор становился на ночь посреди степи, Дашка тут же пристраивалась к старой Стехе и вела с ней долгие беседы вполголоса. Другие девчонки смеялись и брызгались водой у реки, ломались перед парнями, с вплетенными в волосы ромашками плясали у углей, а Дашка даже не подходила к ровесницам. Тихо сидела рядом со стариками, напевала песни, слушала Стехины сказки. К четырнадцати годам она знала их великое множество. И иногда, вечером, в таборе вдруг случалось чудо: куда-то разом пропадали все дети. Впрочем, толпа мелюзги очень быстро обнаруживалась возле палатки Ильи Смоляко, где возле костра сидела Дашка и, глядя неподвижными глазами в розовое от заката небо, рассказывала сказку. Да так, что подошедшие от нечего делать взрослые долго не могли отойти, слушая так же зачарованно, как и детвора, и потом крутили от удивления головами, недоумевая – откуда она только такое знает? Где набралась этого? И так Дашка сказочничала до тех пор, пока зимой, в Смоленске, ее пение не услышал друг Ильи, цыган из трактирного хора.

– Что ж ты, морэ, девчонку дома держишь? Совесть у тебя есть? Да в

хоре ее на руках носить будут!

Илье подобная мысль и в голову не приходила. Но хоровика неожиданно поддержала Настя, за ней и Варька заголосила, что девочка сможет заработать денег для семьи. Потом вдруг запросился в хор и Гришка со своей скрипкой. Илье оставалось лишь пожать плечами. Но отпустить Дашку в хор одну или даже с Гришкой он побоялся, хорошо помня, в какие неприятности может там вляпаться молодая цыганка. Пришлось самому тряхнуть стариной, настроить гитару и отправиться с детьми в трактир. Смеха ради он позвал и Настю:

– Пошли, а? Покажешь там, где рай на земле! Она промолчала, вся потемнев. И с запоздалым сожалением Илья понял, что не стоило так шутить.

Хозяин трактира, горбатый еврей Симон, был рад до смерти. Еще бы, усмехался про себя Илья, ведь с того дня, как в трактирном хоре появилась семья Смоляковых, доходы Симона выросли вдвое. Полгорода стало приходить слушать голос слепой девочки, гитару ее отца и скрипку брата. Сам Илья почти не пел – если только нужно было помочь Дашке. Почему-то стоило запеть – и вспоминались далекие годы: Москва, ресторан в Грузинах, совсем молодая Настя и та, сероглазая, светловолосая, чужая, которой не забыл за столько лет. На сердце делалось тяжело, и песня не шла...

И вот теперь пожалуйста: Варька с ее советами... Поезжайте, мол, в Москву. Настька, видите ли, скучает. Кто ее знает, может, и правда... Столько лет никого из своих не видела. Ни разу за эти годы они не встречались с цыганами из хора Якова Васильева. Только Варька, почти каждую зиму отправлявшаяся в Москву, привозила оттуда ворох новостей. Родня слала приветы и звала в гости. Илья делал вид, что ничего не слышит, Настя молчала. А вот теперь...

Илья встал, подошел к окну. На дворе было темно, хоть выколи глаза, вьюга не успокаивалась, швыряла в окна комья снега, выла в печной трубе. Илья стоял у окна, прижавшись лбом к заиндевевшему стеклу, и смотрел в темноту.

За спиной послышались тихие шаги. Не оглядываясь, он понял – Варька. Теплая рука легла на его плечо.

– Что ты, пхэнори?{Сестренка.}

– Ничего. Ступай спать. Утро вечера мудренее.

ГЛАВА 2

Апрельское солнце заливало Москву золотом. Вся Рогожская застава сияла куполами церквей, ручьями, бегущими по мостовым, лужами у порогов лавок, сусальным кренделем над булочной и окнами низеньких деревянных домишек. Здесь, в Москве, лишь недавно сошел снег и высохли улицы. Таганка была полна гуляющим народом, отовсюду слышались песни, смех, завывание гармони. В лужах гомонили воробьи, с крестов церквей хрипло орали вороны. По мостовой стучали копыта лошадей, грохотали пролетки. Неожиданно из Гончарного переулка с громом и треском, как колесница Ильи-пророка, вынеслась огромная ломовая телега.

– Дорогу! Эй, дорогу, проклятуш-шие!!!

Грохот, брань, свист кнута, обезумевшие лошадиные морды с выкаченными глазами, пьяная, красная рожа возчика – и стоящая у церкви толпа цыган с криками бросилась врассыпную.

– Холера тебя раздери! – выругался Илья вслед ломовику, ставя на ноги Дашку, которую едва успел выдернуть из-под копыт. – Варька! Вот она, твоя Москва! А врала – «обер-полицмейстер новый, порядок навел»! Где он, порядок?

– Весна... – Варька, шлепнувшаяся в лужу, с кряхтеньем отжимала край юбки. – Все с ума посходили.

– Вы целы? Живы? – встревоженно спросила с другой стороны улицы Настя. Взобравшись на ступеньки булочной, она торопливо, по головам, пересчитывала детей: – Четыре... пять... шесть... Все! Илья, пошли дальше!

«Ишь, раскомандовалась, – неприязненно подумал он, беря за руку Дашку. – Конечно, ей чего... Домой приехала. Светится вся, будто луну съела, вертит головой, как девчонка, любуется на церкви, показывает сыновьям: «Вон Вознесения Христова храм. А в этом доме купец Прохоров жил, мы ему каждое Рождество пели. А по этой улице на тройках зимой катались!» И ведь помнит все, чертова баба, как будто только вчера отсюда уехала...»

До Москвы они добирались с табором, и Настя, как всегда, была в широкой ситцевой юбке и полинявшей старой кофте. Босые ноги, облепленные дорожной, уже подсыхающей грязью, уверенно шагали по тротуару.

Утром, перед тем как покинуть палатку, Илья осторожно

поинтересовался, не хочет ли жена надеть городское платье, а таборные тряпки припрятать пока. Настя посмотрела на него с искренним изумлением, задумалась на минуту, грустно улыбнулась своим мыслям и спросила:

– А лицо я куда спрячу?

Илья так и не понял, что она имела в виду: шрамы на левой щеке или темный, не сошедший за зиму степной загар. Но переспрашивать благоразумно не стал.

Через час они будут в Грузинах. И что там? Как встретят? Примут ли? Илья сам не ожидал, что будет так бояться встречи с жениной родней. Особенно с Яковом Васильевым. Варька рассказывала – отошел сердцем старик.… Дай бог, конечно, если так, а вдруг нет? Ох, что будет... Думать не хочется! Илья в сотый раз напоминал себе, что ему, Смоляко, уже не двадцать лет, а, слава богу, тридцать семь, что он не мальчишка, а всеми уважаемый цыган со своими лошадьми, с огромной семьей, что, наконец, у него самого скоро будут внуки – но ничего не помогало. Решив, что в случае чего они в тот же день уедут из Москвы – и тогда уже никакие Настькины слезы не помогут! – Илья немного успокоился.

Позади осталось сонное купеческое Замоскворечье, сверкающая витринами модных магазинов Тверская, шумная, запруженная извозчиками Садовая, и впереди мелькнули кресты церкви Великомученика Георгия в Грузинах. Начались знакомые места. Илья даже забыл о своей тревоге и, как Настька, завертел головой, вспоминая. Вот трактир «Молдавия», самый «цыганский» в Москве, куда они всем хором заваливались после рабочих ночей в ресторане – пить чай и наливки да хвастаться доходом. Вот Живодерка, такая же узкая и грязная, без мостовой, с лужами вдоль домов, с курами и поросятами, роющимися в пыли. Вот развалюха Маслишина, которая прежде вся была забита студенческой братией. Маслишинский дом еще больше осел на одну сторону, покосился, облез до дранки, но из распахнутых настежь окон доносится молодой басок, нараспев декламирующий что-то на нерусском языке. Видно, по-прежнему Маслишин жирует на студентах... Ага, а это заведение мадам Данаи – стоит себе, не падает, и вывеска на дверях та же, зеленая, хоть и полинявшая малость. Бог ты мой, а вот и хозяйка! Сидит перед крыльцом на старом стуле и вяжет, суетливо двигая спицами, у ног ее две девицы увлеченно разбирают клубки. А сразу за заведением – Большой дом.

И здесь все по-прежнему. Те же деревянные, облезлые, когда-то голубые стены, покосившееся крыльцо с некрашеными, потемневшими от дождя перилами, сирень в палисаднике, те же распахнутые окна с геранью

на подоконниках и с кружевными занавесками. Илья, помедлив, ударил кулаком в запертую дверь.

Та открылась быстро, и на порог вышла девушка. Длинные косы растрепаны, поверх кое-как застегнутого платья наброшена шаль: очевидно, девчонка недавно проснулась. Под мышкой она держала отчаянно сучащую ногами кошку.

– Здравствуйте, ромалэ. Вы к кому? – суховато спросила девушка, подняв взгляд на пришедших.

Илья тихо охнул и сделал шаг назад. От внезапного страха вспотела спина. Отчетливо и ясно, словно это было вчера, встал перед глазами солнечный день Масленицы семнадцать лет назад, темная кухня Макарьевны, он, Варька и Настя, молча сидящие по углам, сгорбившийся за столом Митро с опущенной на кулаки головой, а из-за стены – бабий шепот, топот ног, низкие хриплые стоны Ольги, красавицы Ольги – первой жены Митро. Она умерла тогда от родов, но... Разве это не Ольга стоит перед ним сейчас? Высокая и тонкая, с матово-смуглым лицом, тонким носом с горбинкой, тяжелыми косами, густыми бровями... И смотрит так же, как тогда, вот только... глаза почему-то зеленые. Зеленые, как трава в болоте.

– Чяери, чья ты? – едва сумел выговорить он.

– Я – арапоскири... – Девчонка тоже не сводила с него глаз, лицо ее стало испуганным.

– Маргитка! – выручила Варька, выглянув из-за спины Ильи. – Своих не узнаешь? Я это, тетка Варя! Зови отца, мать, теток зови! Кричи – Смоляковы приехали!

Девчонка кинулась в дом, бросив кошку. Та прыснула в кусты сирени. Илья, приходя в себя, шумно вздохнул и помотал головой.

– Варька, так это что же... Митро дочка?

– М-гм... – вздохнула Варька. – Почти. Это же Маргитка. Забыл, что ли? Ольги и Рябова дочь. Ты же ее двух дней от роду на руках носил.

– Бог ты мой, – ошеломленно пробормотал Илья.

Варька потянула его за рукав, и он, неловко споткнувшись на пороге, вошел за ней в дом. Сразу же из сеней они попали в большую нижнюю залу, у окна которой, как и семнадцать лет назад, стоял величественный рояль. С первого взгляда Илье показалось, что тут и не изменилось ничего. Тот же продавленный диван с потертым на подлокотниках бархатом, ряд стульев у стены, гитары, висящие на стенах с выгоревшими обоями. Вот только портрета над роялем раньше не было... С полотна на Илью смотрела молодая Настя в своем белом платье, чинно сидящая в кресле. Глаза,

темные и большие, полные слез, глядели в упор; казалось, вот-вот по смуглой щеке пробежит прозрачная капля.

– Смотри... – тихо сказал Илья, оборачиваясь к жене.

– Вижу, – отозвалась Настя. И добавила вполголоса что-то еще, но этих слов Илья уже не услышал, потому что по всему дому захлопали двери, а по лестницам застучали каблуки.

«Смоляковы! Настя! Илья! Варька!» – доносилось отовсюду. Из дверей, с лестниц в залу вбегали цыгане – молодые, незнакомые. Стоя у порога, Илья молча смотрел на их удивленные лица. Все – чужие, словно не в тот дом попал. Неужто никого из прежних не осталось?

– Ага-а! – вдруг зарокотало с лестницы, и Илья, повернувшись, увидел массивную и весьма внушительную фигуру в красном повойнике и шали, торжественно спускающуюся по ступенькам. Те жалобно скрипели от каждого шага.

– Явджиды, ромны{Будь здорова, женщина.}, – с некоторой опаской сказал Илья.

– Илья! Голодранец таборный! Ты что, меня – меня! – не признаешь?! – раздался негодующий визг. И только по этому воплю Илья узнал Стешку Дмитриеву, первую на всю Живодерку скандалистку, которую он помнил худющей, как тарань, и вообще-то терпеть не мог. Обрадовавшись хотя бы одному знакомому лицу, Илья шагнул было к ней, но в комнате внезапно сделалось тихо. Смолкли, как один, даже дети, и стало отчетливо слышно чириканье воробьев на улице. Илья почувствовал, как пальцы Варьки сжимают его локоть. Он медленно, уже зная, в чем дело, обернулся.

Толпа цыган расступилась. К гостям не спеша, спокойно вышел седой цыган. Его невысокая фигура была по-молодому стройной, подтянутой. Острые черные глаза из-под сдвинутых бровей напрямую уткнулись в лицо Ильи.

– Явился? – не повышая голоса, спросил цыган.

– Яков Васильич... – тихо проговорил Илья. И – словно не было всех этих лет, словно не шел ему самому четвертый десяток и не его семеро детей жались за спиной. Он снова почувствовал себя двадцатилетним щенком, до смерти боявшимся хоревода. Спас его короткий вздох за спиной.

– Дадо! – со слезами, отчаянно выкрикнула Настя.

Илья не успел удержать жену – она кинулась к отцу, упала на колени и прижалась к его сапогам. Толпа цыган ахнула. Кто-то отчетливо хлюпнул носом. За спиной Ильи прочувствованно высморкалась Варька. Лицо Якова

Васильева стало растерянным.

– Настька... Сдурела? – севшим голосом сказал он. С трудом нагнулся, пытаясь поднять дочь, и по этому нескладному движению Илья заметил, как он все-таки постарел. Настя поднялась, цепляясь за руку отца, тот взял в ладони ее лицо – и вдруг сморщился, как от острой боли. Илья понял: увидел шрамы.

– Что это. – Сузившиеся глаза хоревода уперлись в лицо Ильи. – Твоя работа, сукин сын?!

– Нет. – Он постарался ответить спокойно, но голос все-таки дрогнул. Илья отвел взгляд, уставившись через плечо Якова Васильева на портрет. Отрешенно подумал: все, сейчас выгонит.

Яков Васильев посмотрел на дочь. Скользнул глазами по кучке внуков за спиной Ильи, задержался на неподвижном личике Дашки. Мельком глянул на бледную Варьку. Потер пальцами подбородок. Медленно, словно нехотя выговорил:

– Ну, что же... Здравствуйте, что ли.

Ответить Илья не успел. Его вдруг хлопнули по спине так, что он чудом не полетел на пол, раздался радостный рев, и прямо в лицо Илье оскалилась белозубая, узкоглазая, до слез знакомая физиономия.

– Смоляко! Морэ! Ты или нет? Глазам не верю!

– Арапо-о-о! – завопил Илья, разом забыв про Якова Васильева. – Будь здоров, дорогой! Довелось-таки свидеться! Как же ты...

Договорить он не смог, потому что как раз в эту минуту с лестницы наконец спустилась Стешка. Барахтаясь в ее мощных объятиях, Илья сумел только пропыхтеть:

– Да кто ж тебя, сестрица, откормил-то так на мою погибель?..

* * *

К вечеру Большой дом на Живодерке был битком набит цыганами. Новость о приезде семьи Смоляковых разлетелась по Москве в мгновение ока, и уже через час в дом Васильевых начали сходиться давние друзья. Помимо цыган, в комнату набились соседи с Живодерки, те, кто семнадцать лет назад знал Настю Васильеву и Илюху Смолякова. Явились владелец доходного дома Маслишин, бакалейщик Прокофьич, старый и седой как лунь сапожник Федька и Даная Тихоновна, хозяйка публичного дома, давно бывшая в Большом доме своим человеком. С ней пришла

племянница Анютка, хрупкая беленькая девочка лет пятнадцати, тут же пересевшая к молодым цыганкам и оживленно застрекотавшая с ними. Цыгане сидели за столом, на диване, на стульях, на подоконниках и даже на полу, зала звенела от разговоров, смеха и звуков струн. На улице уже темнело, ветви сирени с едва пробившимися молодыми листочками лезли в открытое окно, пахло свежестью. Жена Митро зажгла керосиновые лампы, и по потолку задвигались тени. Сидя за столом вместе с цыганами, Илья смотрел, как Илона величественно движется по комнате от одной лампы к другой. В ней было добрых шесть пудов веса, в волосах, гладко убранных под платок, блестели седые нити, но похожие на вишни глаза живо и весело блестели из-под изогнутых бровей.

– Ну как, не жалеешь, что жену из болгар взял? – усмехнувшись, спросил Илья у сидящего рядом Митро. – Дурак, сказал бы мне, что на кочевой цыганке хочешь жениться, я бы тебе табун из своего табора привел…

– Да иди ты, морэ! – смеясь, отмахивался Митро.

Илье казалось, что друг почти не изменился за эти годы. Несмотря на сорок пять лет, седины в буйных кудрях Арапо было мало, лишь прибавилось морщин на лбу да голос звучал тверже. Варька говорила, что заправляет в хоре теперь Митро. Яков Васильич все реже и реже выезжал с хором в ресторан, а шумные пьянки ночь напролет «на фатерах» у офицеров и купцов и вовсе были ему не под силу.

Хор Якова Васильева сильно помолодел. В солистах сейчас ходили сыновья и дочери тех, с кем Илья когда-то пел в ресторане. Из прежних остались только Стешка, бывшая теперь не столько певицей, сколько конвоиром при своих пяти дочерях, да братья Конаковы, поседевшие, но по-прежнему считающиеся лучшими гитаристами Москвы. Илья уже успел услышать, что Зина Хрустальная, королева жестокого романса, так и не вернулась в хор, оставшись содержанкой графа Воронина и родив ему шестерых детей, и что совсем недавно граф все-таки женился на ней. Гришку Дмитриева десять лет назад зарезал, стащив с собственной жены, купец Расторгуев. Сестра Митро, хорошенькая плясунья Аленка, вышла замуж за сибирского золотопромышленника, проездом оказавшегося в Москве и упавшего к ее ногам, и укатила с мужем в Нерчинск. Другую сестру, Любку, сосватали цыгане из Петровского парка, и она пела в «Яре». Дядя Вася окончательно спился и не появлялся не только в ресторане, но даже на Конном рынке, усевшись на шею дочери. Гашка, удачно попавшая на содержание к богатому купцу Рахимбаеву, умудрялась кормить отца, бабушку и еще пять нищих цыганских семей, внезапно оказавшихся ее

родней. В ресторане теперь блистали дочери Стешки, дуэт брата и сестры Конаковых-младших, причем Федька еще и чудесно играл на гитаре, а его сестра Анфиса мастерски отплясывала «венгерку». Старшие дочери Митро тоже стали прекрасными плясуньями, а сын Яшка уже был известен всей Москве как хороший гитарист и редкой красоты баритон.

– Кузьма-то где? – Илья уже все глаза проглядел, высматривая старого друга среди цыган. – Не ушел он от тебя?

– Куда ему идти... Явится, подожди. Я его сам четвертый день не вижу. Пьет где-нибудь на Сухаревке.

– А ты почему разрешаешь?

– Что мне – пороть его? Чай, не мальчишка он уже? Ведь тоже четвертый десяток разменял, а ума все нету. И из-за кого все, дэвла?! – вдруг взорвался Митро, ударив кулаком по столу. Подпрыгнувшие стаканы жалобно звенькнули, цыгане обернулись, но Митро не заметил этого.

– Ни за грош пропал, понимаешь? Ни за медную копейку! Из-за потаскухи! Из-за шалавы переулошной, чтоб ей без попа сдохнуть! Столько лет прошло, а он все успокоиться не может. Сколько я ему баб приводил, каких цыганочек показывал... Все не слава богу, так и живет бобылем... А эта лахудра в «Яре» поет! Ладно хоть совести хватило сюда не заявляться! После Кузьмы у ней кого только не было, уж пробы ставить негде, а еще цыганка! Таборная, чтоб ей околеть!

Илья только вздохнул. К счастью, в углу запела Настя, и Митро тут же замолчал, подавшись вперед и жадно вслушиваясь в песню. Это была «Не вечерняя», которую семнадцать лет назад Настя запевала в хоре. Илья тоже повернулся на голос. Жена, сидя на диване рядом с отцом и Марьей Васильевной, перебирала струны маленькой «краснощековки» с узким грифом. И не так уж громко пела Настя, но в комнате разом стихли все звуки.

– Ах, да вы подэнти, – вполголоса вступил вторым голосом Митро.

Илья тут же опасливо взглянул на хоревода, и действительно, Яков Васильич нахмурился. Но ничего не сказал и чуть погодя запел сам красивым, чуть вздрагивающим баритоном:

– Вы подэнти мангэ{Подайте мне.}, братцы,

– Тройку мангэ серо-пегих... – не сговариваясь, подхватили Стешка, Илона и Симка Конакова. А затем прорвало остальных, цыгане один за другим вступили в песню, и по комнате поплыла мощная волна теноров, басов, баритонов, альтов и звонкого сопрано. Последнее, к изумлению Ильи, принадлежало Анютке, племяннице мадам Данаи.

Ах, да не вечерняя,
Не вечерняя ли ты, заря,
Спотухала, боже мой, заря...

Слушая песню, Илья думал о том, что эту «Не вечернюю» в цыганских хорах кто только не исполнял. Он сам слышал ее не однажды от разных певиц. И ведь неплохо пели. Но так, как Настька, не выводила ни одна. Кто еще мог вести мелодию так тихо и вместе с тем сильно, так нежно и чисто, будто не песня это, а капли росы на степной траве, будто не цыганка поет, а ветер гуляет в озерных камышах, жаворонок заливается где-то под облаками... Откуда только это в ней? И не ушло, не погасло за столько лет. И по цыганам видно, что певицы лучше Настьки в хоре больше не было. Илья посмотрел на жену, сидящую среди женщин. Она так и не сняла ни таборной юбки, ни заплатанной кофты, в которых утром пришла в Большой дом. И выгоревший от солнца платок по-прежнему на ее волосах. И на загорелом, уже успевшем обветриться в пути лице нет улыбки. Настя была среди этих городских, затянутых в шелковые и бархатные платья певиц, как ромашка в букете южных роз. И все равно лучше всех, с ожесточением подумал Илья. Ни одна из этих бутербродниц пятки ее босой не стоит!

– Ах, господи ты наш дорогой и все угодники... – протяжно вздохнул Митро, когда песня кончилась и смеющиеся цыгане обступили Настю. – Ты-то что не пел, Смоляко? Надоела тебе, что ли, Настька за столько лет? Ну, кто сейчас так сможет, скажи мне?

– Что – голосов в хоре нет? – удивился Илья.

– Да есть, сам ведь слышишь... Стешкина Наталья, Федька Трофимов, мои девки кое-как воют... Вон, Анютку Данаину слышал? Голосок у девки серебряный, в церковном хоре поет по праздникам, а к нам не идет. Яков Васильич звал, а она смеется. Позориться, говорит, только. Нет, голоса-то, морэ, имеются, да все не то. И потом – слышал бы ты, что они сейчас поют, Смоляко! – вдруг с досадой вырвалось у Митро.

Илья непонимающе посмотрел на него.

– Помнишь, что мы-то пели? Романсы, песни старинные, красивые... Помню, как заведем с Настькой «Не позабудь меня вдали» на два голоса – господа разум теряли! А вы с Варькой разве «Отойди, не гляди» не пели? От тебя разве с ума не сходили? Как вспомню «Твои глаза бездонные»... А сейчас что? Куплеты какие-то, песенки дурацкие, ни голоса не покажешь, ни ноты высокой не возьмешь. Ей-богу, позор один! И публика другая пошла. Раньше, помнишь, графья-князья ездили, купцы именитые. А

сейчас поналезет в ресторан рвань всякая, рассядется, как царский сват, «беленькими» машет и требует «Гулял я, мальчик, по Адессе»...Тьфу! Измельчали господа-то. Вон, к моей Маргитке, знаешь, кто ездит? Сенька Паровоз!

– Кто такой? Купец?

– Если бы... – вздохнул Митро. – Мазурик. Первый вор на всю Москву. Выглядит-то, конечно, барином и деньги большие привозит, мы потому и не препятствуем...

Илья посмотрел на Маргитку. Та с самого начала вечера сидела в углу, забравшись с ногами в большое кресло и держа на коленях гитару, струн которой иногда небрежно касалась. На полу возле кресла пристроился Яшка – пятнадцатилетний сын Митро, очень похожий на отца по-татарски узким разрезом глаз. Изредка парень что-то сердито говорил сестре, но Маргитка не обращала на него никакого внимания, продолжая баловаться на гитарных струнах. Лицо ее было задумчивым, глаза смотрели в открытое окно, и впервые за вечер Илья мог внимательно рассмотреть приемную дочь Митро.

Темное, почти кофейное лицо Маргитки поражало неправильностью черт: широкие, как у мужчины, брови, нос с горбинкой, крупные, слегка вывернутые губы, будто она держала в них горошину. Но зато глаза, глаза... Большие, недобрые, зеленые, и ресничищи до половины щеки. Цвет глаз – от отца, взгляд – от матери, подумал Илья, снова вспомнив Ольгу. Красавицей та была, что и говорить. Правда, он, Илья, тогда умирал по Настьке. Да и старше его Ольга была лет на пять... «А эта моложе на двадцать… Ошалел ты, что ли, морэ?» – испуганно одернул сам себя Илья. Как раз в этот миг Маргитка отвернулась от окна и в упор посмотрела на него. В ее взгляде не было ни удивления, ни смущения, и она не торопилась отводить глаза. Это пришлось сделать Илье. Однако с характером девчонка...

– Это ты ее по-болгарски назвал? – спросил он у Митро.

Тот усмехнулся:

– Илона. Мы-то, помнишь, не то что назвать – окрестить ее никак не могли. Все недосуг как-то было, чяери и чяери... А когда я Илонку в дом привел, она только взглянула и сразу – Маргитка! Имя-то не наше, красивое – прилипло сразу, как родилась с ним! Окрестили Марьей, а у цыган так и осталось – Маргитка. Даром что саму Илонку все давно Еленой Степановной зовут, а о том, что она из болгар, и думать забыли. Она и наших детей всех по-русски назвала, жить-то, говорит, им здесь...

– Н-да-а... – Илья снова покосился на Маргитку, которая продолжала

без стеснения разглядывать его из своего кресла. – Ну, хороша, конечно, девка... Выдавай поскорей, а то украдут.

– Украдут... – хмыкнул Митро. – На другой день обратно вернут да еще миллион дадут в придачу – заберите, ради Христа...

– С норовом?

– Не то слово... И в кого только? Одно ладно – пляшет хорошо. В ресторане господа просто в остолбенение впадают, бумажки ей под ноги мечут, а она, чертова кукла, прямо по деньгам и жарит: «Наступи-раздави...» Да ладно, что о ней, своей-то дочерью похвались! Варька говорила, она поет хорошо.

– Послушай, коль охота есть, – с напускным безразличием сказал Илья. – Эй! Дашка! Иди сюда!

Дашка подошла, держась за руку брата: в незнакомом доме ей трудно было передвигаться без помощи.

– Спой, чяери, – велел Илья.

Гришка придвинул сестре стул, сам встал за ее спиной, поднял скрипку. Илья жестом попросил гитару, и Митро передал ему свою. Дашка села на стул, расправила юбку. И запела, не дожидаясь тишины в комнате. Тишина эта наступила при первых же низких, тоскующих нотах. В комнате не было человека, который бы не обернулся и не застыл, изумленно глядя в безжизненное лицо певицы. А когда вторым голосом вступил Илья, в комнате стало слышно, как тикают старые стенные часы.

– Тумэ, ромалэ…{Вы, цыгане.} – вздохом начинала Дашка.

– Тумэ, добры люди... – вторил Илья.

И дальше – вдвоем, переплетаясь голосами и слушая, как бьется в тесные стены родившаяся на воле песня:

Ай, пожалейте тумэ душу мою...
Ай, все богатство мое заберите,
Возвратите тумэ годы мои.

Песню эту сложил Илья и до сих пор не понимал, как она у него вышла. Вроде бы отродясь песнями не занимался... Получилось это как-то само, в один из ветреных осенних дней, когда они с Дашкой возвращались из города, с конного базара, в свой табор, стоящий на окраине. Идти было недалеко, но Дашка, устав, присела отдохнуть прямо на обочине дороги. Над скошенным полем плыли низкие тучи, накрапывал мелкий дождик, дорога блестела залитыми водой колеями. В небе треугольником летели

журавли. Задрав голову и вслушиваясь в их тоскливое курлыканье, Илья даже не сразу услышал, что дочь в который раз о чем-то тихо спрашивает его.

– Что ты, чяери?

– Я спрашиваю – моя мама русская была красивая?

Илья молчал, пораженный. До сих пор он был уверен: Дашка не знает, что Настька ей не мать. Значит, цыганки, эти сороки, уже напели девчонке...

– Она была красивая? – повторила Дашка.

– Да, – глухо сказал он. – Очень красивая.

По спине пробежал мороз: Илья представить себе не мог, что отвечать, если Дашке вздумается продолжить расспросы о своей матери. Кто знает, что девчонке наболтали... И ведь не прикажешь замолчать, не оборвешь: не твое, мол, дело. К счастью, Дашка больше ничего не спросила. А он, отчаянно боясь, что дочь вот-вот заговорит снова, начал что-то напевать. И очень удивился, когда обнаружил, что Дашка подтягивает ему.

– Чяери, что это ты поешь?

– Что ты поешь, то и я.

– А... я что пою?

– Не знаю...

В табор они вернулись затемно. Встревоженная Настя выбежала им навстречу из шатра и замерла от изумления: отец с дочерью шли по раскисшей дороге держась за руки и в два голоса заливались соловьями на все поле:

Тумэ, ромалэ, тумэ, добры люди,
Возвратите тумэ годы мои…

Так и получилась песня, которую через неделю запели все цыгане в таборе. Скоро никто уже и не помнил, что ее придумали Илья Смоляко с дочерью. Зимой Дашка пела ее в трактире, и всякий раз при звуках низкого, тяжелого голоса у Ильи сжималось сердце.

Песня кончилась. В комнате повисло молчание. Мельком Илья заметил расширенные глаза Яшки из-за грифа гитары. Но тут Дашка пожала плечами, улыбнулась, и зал взорвался восторженными голосами. Все цыгане кинулись к столу, но Илья видел лишь Якова Васильева, который не спеша поднялся с дивана и через всю комнату пошел к ним. Лицо старого хоревода, как обычно, ничего не выражало. На Илью он даже не взглянул и сразу нагнулся к Дашке.

– Откуда песню взяла, девочка?

– Дадо сложил, – слабо улыбнувшись, ответила Дашка.

Яков Васильев поднял глаза на Илью. С минуту они смотрели друг на друга. И снова Илья не выдержал первым. Глядя в пол, услышал, как отрывистый голос старого цыгана спросил:

– Не врет она? Это твоя песня?

– Она никогда не врет, – не поднимая глаз, сказал Илья.

– Мгм... В хоре не хочешь девочку оставить?

– Нет. – Ответ прозвучал излишне резко, и Илья поспешил оправдаться: – Она слепая, Яков Васильич, без меня никуда не ходит...

– А тебе-то кто не дает?

Илья молчал. Яков Васильич, по-прежнему глядя на Дашку, сказал:

– Завтра, коль охота есть, и езжайте с нами. Где заночуете, решил уже?

– Нет...

– Оставайтесь в доме, во втором этаже две комнаты пустые.

Сказал – и сразу отошел, а Илье достался счастливый взгляд Насти с дивана и ободряющий хлопок по спине от Митро:

– Видал?! Дочь благодари: отошел Яков Васильич! Я, грешным делом, думал, что ни в жизнь тебя за Настьку не простит.

Илья молчал. Гладил по волосам прижавшуюся к нему Дашку, смотрел в смеющиеся лица цыган. И вздрогнул вдруг: из кресла в углу его по-прежнему в упор разглядывала дочь Ольги.

Угомонились далеко за полночь. Гости разошлись, сонные обитатели дома разбрелись по своим комнатам. Настя с детьми ушла наверх, Дашку увела к себе Маргитка. В нижней комнате остались только Илья и Митро. В раскрытое окно лезли ветви сирени. Илья, сидя на подоконнике, смотрел на пустую улицу.

Слава богу – кончился день. К вечеру уже голова лопалась от шумливых приветствий, песен и одних и тех же разговоров: как вы, что вы, да как Настька столько лет в таборе, да как Илья не додумался раньше вернуться... Тьфу. Будто своих дел у людей нет. И каждая цыганка не поленилась поинтересоваться: откуда у Настьки шрамы на лице? И каждый цыган спросил украдкой: твоя работа, морэ? Черти любопытные, все им знать надо: и что было, и чего не было... Хорошо хоть, Яков Васильич из дома не вышвырнул. А хотел ведь, старый черт, по глазам было видать... Спасибо Дашке. Спела так, что у старика сердце вывернуло. Илья машинально осмотрелся, ища взглядом дочь, но вовремя вспомнил, что та ушла с Маргиткой.

Вот и Маргитка... Что это девчонка смотрела на него так?

Наслушалась небось о нем от цыганок всякого, вот теперь и таращится. Те, сороки, сбрешут – недорого возьмут... Но до чего же хороша, проклятая! На Ольгу похожа, и все-таки другая. А взгляд недобрый – так и режет. Настоящий черт зеленоглазый, а не девка. И видно, что никакой на нее управы нет. Илья невольно пожалел о том, что не увидел сегодня Маргиткиной пляски: как назло, куда-то выбегал из комнаты, когда девчонка вышла на круг... Ну да еще будет случай. Илья покосился на Митро. Тот сидел на продавленном диване, дымил трубкой, посматривал в окно, словно ожидая чего-то. Поймав взгляд Ильи, устало сказал:

– Иди спать, морэ.

– А сам чего сидишь?

Митро пожал плечами, что-то проворчал и вдруг резко поднялся с дивана. В сенях хлопнула дверь, что-то упало, зазвенело, посыпалось. Пьяный голос длинно и грязно выругался. Затем послышалась песня: «Эх, черные очи да белая гру-удь... до самой зари мне покоя не даду-ут...» Митро швырнул трубку на стол и, не обращая внимания на рассыпавшиеся по скатерти искры, пошел к двери. Илья быстро затушил огоньки пальцами. Ничего не понимая, двинулся следом.

В сенях было хоть глаз выколи. Митро приоткрыл дверь на кухню, из-за нее пробился свет лампы, и Илья увидел что-то черное и взъерошенное, держащееся обеими руками за стену. Существо мотало лохматой головой и монотонно материлось, потом снова запело про черные очи.

– Явился чертов сын на мою голову... – тихо выругался Митро. Обернувшись к Илье, буркнул: – Дружок твой – любуйся.

Илья не смог ничего сказать. Конечно, семнадцать лет – срок большой, все они уже не те, что были, и Кузьма тоже... но увидеть такое он не ожидал. В памяти его оставался веселый, юркий мальчишка, гораздый на вранье и выдумки, ворующий на Тишинке пироги и пряники и потом угощающий ими всю улицу, не знающий, что такое печаль. А это...

– И ведь не сильно он пьяный-то, – вполголоса проговорил Митро. – Больше прикидывается. Завтра проспится – весь день от меня прятаться будет. И за какой грех мне это, а? Не племянник, а каторга бессрочная! Ничего поделать с ним не могу, ничего! Хорошо, хоть Варька твоя приехала! Он, кроме нее, никого не слушает, паршивец...

Как раз в тот момент Кузьма оставил в покое стену и повернулся. Илья увидел черные, затянутые мутной пленкой глаза, один из которых был здорово подбит. Рубаха спереди испачкана и залита вином, в углу рта темнела спекшаяся кровь. Мутный взгляд уткнулся в Митро.

– Ну... что смотришь, Трофимыч? Вот, пришел... Бить хочешь, что ли?

Глянув в лицо Митро, Илья забеспокоился, что к тому и идет. Но тот сдержался, пробурчав сквозь зубы:

– Не мешало бы... Только тебе, я вижу, и так уж навешали. Где был?

Кузьма молчал.

– Где был, спрашиваю? – повысил голос Митро. – На Хитровке?

– Ну и хоть бы...

– Хоть бы! Сколько раз тебе говорено – пей около дома! На Хитровке тебя, дурака, зарежут когда-нибудь! Да не бойся ты, не трону. На кой ляд ты мне сдался... Иди ложись спать.

– Иду. – Кузьма опустил голову, помотал ею. Илье показалось, что он и в самом деле не так уж пьян. – Трофимыч...

– Чего тебе еще?

– Варька... Варвара Григорьевна... что ли, приехала?

– Приехала, – глухо ответил Митро. И вдруг сорвался, заорал: – Иди спать, сукин сын, чтоб тебе света не дождаться! Висельник чердачный нераскаянный! Доведешь ты меня, холера, до преступления!

– Не ори, – сказал Кузьма. – Я и так иду.

Он перешагнул порог кухни, шатаясь, дошел до печи, навзничь повалился на покрытые старым ковром нары и сразу же захрапел. Митро в сердцах сплюнул. Илья, глядя в стену, подавленно молчал.

– А ты чего встал? – накинулся вдруг и на него Митро. – Проваливай и ты тоже, и чтоб не видел я вас никого до утра! Чума проклятущая на всю мою жизнь!

Илья, искоса взглянув на него, вышел. Он не сердился, самому хотелось орать и ругаться. Настроение испортилось окончательно. Он прошел через нижнюю комнату, поднялся по лестнице на второй этаж, где было темным-темно, и... замер, услышав голос Насти. Она с кем-то разговаривала, стоя в дверях комнаты, и Илья невольно прислушался.

– Нет. Правда, нет. Это не Илья, а гаджэ{Не цыгане.}. Тогда, в овраге. Я в самую драку кинулась, по лицу и зацепили. Ты что, мне не веришь? Дадо! Когда я тебе врала?!

– Не знаю. – Черный силуэт шевельнулся совсем рядом, и Илья сделал шаг назад, узнав Якова Васильева. – Только сдается мне, его это все-таки работа. И раньше бешеный был, и сейчас не лучше.

– Да что ж такое, отец! Я правду говорю! – От возмущения Настя заговорила громко, и Илья отчетливо слышал каждое слово. – Ну, бог с тобой, если родной дочери не веришь, спроси Варьку, она знает!

– Варька ему сестра, она что хочешь подтвердит.

– Таборных спроси! Все видели! Может, мне детьми своими

забожиться?! Я забожусь! Если уж до того дошло, что ты мне без этого не веришь…

– Не трудись. И спрашивать я никого не буду. Ваши дела, ты ему жена. Если понравилось к колесу привязанной по грязи бегать – на здоровье. Но до сих пор не пойму, для чего... – Яков Васильев понизил голос, и больше Илья ничего не слышал. Да больше и не надо было.

Он закрыл глаза, прислонившись к невидимой стене. Сердце стучало так, что отдавало в голову. «Зачем приехали только? – с горечью подумал Илья, садясь в темноте на пол. – Зачем приехали? Быть беде».

* * *

В маленькой комнате на втором этаже горела зеленая лампа. Ее слабый огонек освещал старый комод с рядом фарфоровых безделушек на крышке, гитару с узким «женским» грифом в углу, букет полуувядших роз в вазе синего хрусталя, рядом с цветами – целую башню растрепанных романов: «Роковая страсть», «Любовь графа Шевалли», «Жестокая красавица», «Любовь и гибель маркизы Анны»... Дашка, сидящая возле стола, поглаживала пальцами корешки книг, наугад клала их одну на другую. Маргитка, стоя к ней спиной, взбивала подушки на постели так, что пух летел метелью. У порога сидел на полу, обхватив руками гитару, Яшка. Он отчаянно зевал, но не уходил.

– Будешь спать здесь, со мной, – выпрямляясь, сказала Маргитка. – А то, если хочешь, на сундук ложись, но с него свалиться запросто можно...

– Нет. Я с тобой лучше.

– Только я иногда ночью во сне разговариваю. Не боишься?

– Не боюсь.

– Ты красиво пела сегодня. Меня научишь?

– Конечно. Ты сразу схватишь.

Дашка встала, ощупью нашла край постели. Коса девушки наполовину распустилась, на подушку упала тяжелая каштановая прядь, и Яшка жадно уставился на нее. Маргитка, проследив за взглядом брата, скривила гримасу, но промолчала.

– Кто тебя так хорошо плясать выучил? – помолчав, спросила Дашка.

– Вот дура! Как же ты решила, что хорошо, если ты слепая?! – прыснула Маргитка.

– Я чечетки по звуку разбираю, – спокойно пояснила Дашка, и почти

одновременно с ней рявкнул на сестру Яшка:

– Погавкаешь ты у меня, зараза! Косы повыдеру! Распустила язык...

– Пошел к черту! – огрызнулась Маргитка. – Чего расселся, чего уставился? Влюбился, что ли? Иди спи к лешему, золотой мой, нечего на девок пялиться! Скажи спасибо, что она слепая, а то бы давно тебе по морде за твои взгляды съездила!

Яшка покраснел так, что видно было даже в полутьме. Кинул уничтожающий взгляд на сестру, быстро встал и вышел, задев гитарой за косяк. Когда смолк жалобный звук потревоженных струн, Дашка тихо спросила:

– Зачем ты так? Он же не хотел...

– Затем, что нечего из себя правительство здесь строить. Моложе меня на два года почти, а туда же, генеральствует! – Маргитка стянула платье; перекинув на грудь растрепанные косы, начала расплетать их. – Тебе раздеться помочь?

– Нет, я сама. Я привыкла.

Маргитка пожала плечами. Оставшись в одной рубашке, забралась на постель, потянула за руку и Дашку.

– С нашими девками ты уже говорила? Наболтали тебе про меня?

Дашка не успела ответить, а Маргитка враждебно предупредила:

– Будешь Катьку Трофимову слушать – ко мне лучше и не подходи! Врагиня она моя навсегда!

– Катька? Почему? Мне показалось, она хорошая, добрая...

– Добрая... Много ты понимаешь. Я с ней перед Пасхой знаешь как подралась! Грех, конечно, в Великий пост, но уж душа не стерпела. Она, зараза, сказала, что моя мама – шлюха!

– Господи... – Дашка забралась под одеяло. – Но это же ерунда какая-то. Елена Степановна...

– Она мне не мать, – таинственно сказала Маргитка. – Моя мама знаешь кто? Отца первая жена. Она меня от купца Рябова прижила и, когда рожала, померла. Знаешь, какая она красивая была? Лучше даже, чем я, ей-богу! У отца портрет маленький есть. Вот подожди, я у него стащу и тебе покажу.

– Зачем тащить, попросить же можно.

– Не... Отец думает, что о нем не знает никто. Под замком в шкафу держит. Вот посмотришь сама... Ох, да ты же слепая! – Маргитка задумалась, закинув руки за голову и водя пальцем по пятну света на стене. Дашка молчала. Где-то в глубине дома часы пробили полночь, с улицы простучала одинокая пролетка.

– Дашка, вот что скажи... Твой отец, Илья, – он кто?

– Цыган.

– Да уж сама видела, что не турок! – Маргитка снова села на кровати. – Скажи, то, что про него болтают, – это правда?

– Кто болтает? И что?

– Цыгане, – в тон Дашке язвительно ответила Маргитка. – Разное болтают. Правда, что он твоей матери лицо ножом из ревности изрезал? Чтобы больше не смотрел на нее никто?

– Я спать хочу.

Маргитка с досадой замолчала. Через минуту, потянувшись, вполголоса протянула:

– А он красивый, твой отец.

Дашка молчала – кажется, в самом деле заснула. Маргитка вздохнула, села поудобнее. Придвинула к себе лампу и растрепанную «Любовь графа Шевалли». Раскрыв книгу на середине, углубилась в чтение.

ГЛАВА 3

На другой день Илья проснулся поздно. Открыв глаза, испуганно осмотрелся, долго не мог понять, где находится. Потом вспомнил: Москва, Большой дом... В окно заглядывала сухая ветка ветлы, и Илья сообразил, что это старая комната Насти. В ней, видать, так никто и не жил все семнадцать лет.

Настя рядом еще спала, сбросив с себя одеяло и улыбаясь во сне. Губы ее чуть заметно шевелились. «Небось до сих пор «Не вечернюю» поет», – с легкой досадой подумал Илья. Встав и заглянув в соседнюю комнату, он убедился, что мальчишек и след простыл. На минуту он заволновался – где Дашка? – но затем вспомнил, что та ночует с дочерью Митро, успокоился и начал одеваться.

Внизу, несмотря на позднее утро, не было ни души. Илья помнил: по утрам здесь всегда отсыпались после рабочей ночи в ресторане и выползали уже после полудня – растрепанные, кое-как одетые и сонные. Не было даже слышно грохота котелков и сковородок. Однако дверь на кухню оказалась приоткрыта. Ежась от утреннего холодка, Илья перешел темные сени, заглянул туда... и отступил.

На широких нарах, застеленных красным, протертым до основы ковром, сидела Варька, а на полу примостился Кузьма, уткнувшийся в ее колени. Варька, наклонившись, гладила его всклокоченную голову, что-то шептала. Они не заметили Ильи, который тихо отошел в сени, огляделся и, увидев на полу сброшенное ночью Кузьмой ведро, как можно громче повесил его обратно на гвоздь. Звон разнесся по всему дому, а Илья, не понижая голоса, чертыхнулся. Когда спустя минуту он, зевая, вошел на кухню, Варька стояла спиной к нему у окна, а Кузьма, сгорбившись, сидел на нарах. На нем была вчерашняя, запачканная и залитая вином рубаха явно с чужого плеча. В вырезе виднелся потемневший крест на медной цепочке. Ссадина под глазом набухла до густой синевы. Во встрепанных волосах отчетливо блестели белые нити. На вошедшего Илью он взглянул исподлобья и тотчас же опустил глаза. Помедлив, протянул руку.

– Будь здоров, морэ. Вспомнил нас, надумал наконец приехать?

– Здравствуй, – откликнулся Илья и присел рядом.

Варька по-прежнему стояла у окна, Кузьма смотрел в пол и молчал, словно они расстались с Ильей вчера, а не семнадцать лет назад. Илья уже пожалел о том, что вошел на кухню, и собирался уйти, когда Кузьма вдруг

заговорил:

– Ты вчера с Митро был иль показалось мне?

– Ну, я.

– Угу... – Кузьма еще ниже опустил голову. – Ладно, морэ, чего отворачиваешься? А то я не знаю, что ты думаешь. Что все вы думаете... Вот, мол, сидит тут пьянь подзаборная... Ума нет, совести тоже, один кабак в голове...

– Ума нет – это верно, – буркнул Илья. Кузьма, не слушая, продолжал:

– Думаешь – из-за бабы цыган сломался... – Он криво усмехнулся, поскреб руками волосы. – Что ж, я спорить не буду. Только, может, из-за такой бабы и не грех?

Илья промолчал. Он плохо помнил Данку, которую видел последний раз давным-давно, еще в таборе, на той проклятой свадьбе. Да, красивая была... Может, и сейчас что-то от ее красоты осталось, за тридцать ей теперь. Конечно, красивая, но уж никак не лучше, например, Настьки. Да и другие есть не хуже. Однако вслух он говорить этого не стал и буркнул только:

– Ни одна из них того не стоит.

– Ну, не тебе говорить, не мне слушать, – проворчал Кузьма. – Помню я, что ты из-за Настьки творил.

– Так, морэ, мне двадцать лет было... – растерялся Илья.

– А мне, когда Данка ушла, – семнадцать. Да не об том разговор... – Кузьма, поморщившись, потер кулаком лоб. – Господи, похмелиться, что ли?

– Похмелялся уж, – не оборачиваясь, бросила Варька.

Кузьма искоса взглянул на нее и отвернулся к стене. Через минуту глухо сказал:

– Говоришь – ни одна из них того не стоит? Да нет, морэ, такая – стоит. Я ее девчонкой сопливой взял, и она уже тогда, в пятнадцать лет, красавицей была. И ведь хорошо могли бы жить. Вот душой клянусь – до сих пор не пойму, почему она убежала!

Илья уже знал и чувствовал, что ничем хорошим этот разговор не кончится. А Кузьме, казалось, было все равно, слушают его или нет.

– Наши ругались, говорили – за большой деньгой повелась... Шут ее знает, может, и верно. Хотя и я на нее не жалел, в золоте ходила, в шелку... Наши-то после того, как Данка сбежала, и здороваться с ней перестали, на улице встретят – на другой тротуар переходят, вот как. А я... мне... Да бог ты мой, я у «Яра» все ночи просиживал, чтобы только посмотреть на нее! – вдруг вырвалось у Кузьмы с исступлением.

Илья уже привстал было, чтобы уйти, не выдумывая причины, но Варька от окна сделала ему отчаянный знак, и он опустился на место.

– Только взглянуть! Как будто она не жена моя! Как будто не цыганка, а царица небесная! Каждую ночь смотрел, как она с господами в тройки садится... Выть хотелось, а я смотрел, потому что... – Кузьма махнул рукой, смешался и хрипло закончил: – Потому что будь она неладна, эта жизнь...

Илья молча смотрел в стену.

– А сейчас и этого нет. Сейчас она – барыня. В Крестовоздвиженском живет, своим домом. Про меня, знамо дело, и не думает. У «Яра» сколько раз нос к носу сталкивались – мимо проходила. И ведь в самом деле не узнавала, не притворялась! Посмотрит, как на голое место, и дальше себе идет, стерва такая! С Навроцким этим шестой год живет, чтоб его...

– Замуж за гаджа вышла? – удивился Илья.

– Нет, так живет. Нужна она ему – замуж... Он ведь, лепешка кобылья, подошвы ее не стоит! Картежник, шулер, вся Москва его знает, в долгах с головы до ног. Как подумаю об этом – в глазах темно! Вот, ей-богу, напьюсь как-нибудь и убью...

– Данку?

– Навроцкого... Ее – нет. Ее не смогу. Раньше хотел, но.... – На скулах Кузьмы задергались комки. – Если бы она с ним хоть хорошо жила, Илья! Да ведь ему деньги ее нужны, золотишко, больше ничего! Все про это знают, и она тоже, а вот поди ж ты...

– Так, может, и слава богу, морэ, а? – осторожно сказал Илья. – Бросит он ее, она и...

– Что, думаешь, ко мне вернется? – Кузьма хрипло рассмеялся, не поднимая глаз. – И что увидит? Вот это, на что ты сейчас смотришь? Да не смотришь даже, отворачиваешься, чтоб не стошнило... А вы ведь с Варькой знали, морэ... – Голос Кузьмы вдруг потяжелел. – Ты ведь про нее все знал, верно? Вы же почти родня, кочевали вместе. Мне уж потом цыгане рассказали, что никакая она не вдова была, а просто потаскуха, ее муж сразу после свадьбы вышвырнул. Ты ведь знал?

– Откуда, рехнулся ты, что ли?! – не сдержавшись, заорал Илья. – Я же еще до ее свадьбы из Москвы уехал! И потом носа моего тут не было!

– Пусть так… а сестра вот твоя знала. У нее на глазах все было. Могла бы и сказать по-родственному. Глядишь, по-другому бы жизнь моя сложилась. – Впервые за весь разговор Кузьма повернулся к Илье. Нехорошо, жестко усмехнулся. – Я понимаю... Вы, конечно, таборные, концы друг у друга хороните, но... могла бы и сказать твоя сестра.

Илья молчал.

– Так что, Илья, думай себе что хочешь, но не тебе меня судить. Вроде ничем ты меня не лучше – а повезло в жизни кругом. За жену твою весь хор девок отдать не жалко. Детей твоих еще не видал, но, говорят, хорошие. А раз так... Сытый голодного не разумеет.

Кузьма поднялся, вышел. Хлопнула дверь в сенях. Илья сидел на нарах, глядя в пол. Сзади к нему подошла Варька.

– Ты... ты, пожалуйста, не сердись на него, – сдавленно проговорила она, и Илья понял, что сестра плачет. – Стыдно ему, а показать не хочет, вот и кидается на людей. На меня вон утром тоже орал...

– Угу… А ты ему сопли вытирала, вместо того чтоб по морде надавать. Видел я.

– Да брось… Он о тебе сколько раз вспоминал, все ждал, что встретитесь, а ты его вон каким вчера увидел... Думаешь, ему сейчас хорошо? Не сердись, Илья.

– Много чести, – мрачно сказал Илья, отворачиваясь к окну. – Ну надо ж так... Столько лет, дэвлалэ! Из-за курвы! И прав Кузьма, между прочим! Рассказала бы ты ему тогда, кто она, Данка-то, авось не случилось бы ничего. Кого пожалела, дура?!

Всхлипнув, Варька зарыдала в голос. Растерявшись, Илья тронул было ее за плечо, но она, не поворачиваясь, обеими руками отмахнулась от него. Пожав плечами, Илья встал и вышел в сени.

У открытой двери на улицу стояли Кузьма и Митро. Последний что-то тихо и зло говорил, стуча кулаком по дверному косяку. Кузьма молча смотрел себе под ноги. Наконец Митро сплюнул, обнял упирающегося Кузьму за плечи и потащил его на залитый солнцем двор. Дверь за цыганами захлопнулась, и в доме снова воцарилась звенящая утренняя тишина.

* * *

Вечером должны были ехать в ресторан. Целый день Илья наблюдал за сборами жены и дочери. Настя подгоняла на себя и Дашку городские платья, которых не носила бог знает сколько лет, укладывала дочери прическу, хваталась то за иглу, то за шкатулку с украшениями, то за гитару, и в глазах ее мелькал давно забытый блеск, коего Илья уже и не думал вновь увидеть у жены. Дашке, казалось, было все равно, хотя материю нового платья она ощупывала с интересом. В комнату то и дело вбегала

Маргитка, лезла помогать Насте, тараторила о последних фасонах, размахивала модным журналом, завистливо щелкала языком, глядя на распущенные Дашкины волосы. Изредка Илья ловил на себе ее пристальный взгляд. Казалось, девчонка хочет о чем-то спросить. Но, едва заметив, что Илья смотрит на нее, Маргитка быстро отворачивалась и продолжала трещать о модах.

В девятом часу вечера все собрались внизу, в большом зале. Илья сидел на диване, настраивал гитару, следил за входящими цыганами и цыганками. Маргитка явилась последней, сбежав по лестнице со второго этажа.

– Мама! Где моя шаль с кистями?! – завопила она на весь дом.

Поймав взгляд Ильи, осеклась, нахмурила густые, как у мужчины, брови. А он не сразу сумел отвести глаза, пораженный ее нарядом. Семнадцать лет назад хоровые цыганки одевались на выступление в ресторан по-русски, в шелковые и атласные платья, поверх которых накидывали цветные шали, волосы укладывали в высокие прически, украшали себя жемчужными ожерельями до пояса, дорогими брошами. А Маргитка сейчас стояла на ступеньке лестницы, одетая как таборная цыганка-болгарка. Сшитая из легкого шелка длинная красная юбка с оборкой, кофта с широкими рукавами, какие Илья видел в котлярских таборах. В косы вплетены мелкие монетки, а на шее – мониста. Такого, однако, не было и у котляров: Илья знал, что мониста могли носить только замужние женщины.

– Рот закрой, морэ, ворона влетит, – усмехнулся кто-то за его спиной. Вздрогнув, Илья обернулся, увидел Митро, смутился:

– Да я, морэ, это... вот... Как ты дочь-то одел? Раньше вроде не было такого.

– Я одел? Сама захотела! Насмотрелась на Илонкину родню, каждый год ведь наезжают табунами! Да, по чести сказать, я беды не вижу. Раньше этих болгар и знать никто не знал, а сейчас их полным-полно стало, как весна – стадами вокруг Москвы гуртуются! Господа в ихние таборы наезжают, на баб любуются, а потом в ресторане к нам с глупостями пристают: почему у вас цыганки не по-цыгански одеты? Объяснять я им, что ли, буду? Поговорили с Яковом Васильичем, решили – если господам так нравится, пусть девки по-котлярски одеваются, хоть для пляски. И, знаешь, та-а-ак хорошо пошло! Певицы-то по-старому, в платьях, а плясуньи все в юбки с оборками позалезали и монет на себя понавешали. Господа довольны, сил нет: настоящих цыганок им предоставили…

Илья недоверчиво покачал головой, хотя в душе вынужден был

признать, что выглядит котлярский наряд лучше некуда – по крайней мере, на Маргитке. А через минуту в дверь щебечущей стайкой влетели дочери Стешки от десяти до шестнадцати лет – все в таких же юбках и кофтах, с монетками в волосах. За ними солидно протиснулась сама Стешка, утирающая пот со лба.

– Эй, чяялэ{Девчата.}, поспокойнее, мать совсем загнали! Здорово, Илья. Ну – вздрогнем сегодня, едешь с нами?

– Да уж, сестрица, тряхнем стариной, – в тон ей ответил Илья.

– Э-э... Смотри, чтоб не отвалилась старина-то!

Цыгане заржали. Илья тоже улыбнулся, подумав о том, что Стешку Дмитриеву не изменили ни замужество, ни дети – как была язва сибирская, так и осталась.

– Господи... – вдруг тихо ахнул рядом с ним Митро.

Илья поднял голову и увидел спускающихся сверху жену и дочь.

Настя шла впереди, одной рукой приподнимая подол платья, а другой держа за локоть Дашку. Черный блестящий атлас делал жену стройнее и выше, накинутая через плечо шаль была сколота бирюзовой брошью, и в этом наряде Настя казалась моложе на десять лет. Волосы ее, уложенные в тяжелый узел, отливали вороненой синевой, черные глаза блестели по-молодому живо, на губах играла уверенная улыбка. Илья невольно встал с дивана и, стоя, как и все, с открытым ртом, отчетливо понял: вот теперь его Настя на своем месте. Дашка осторожно шла за ней, придерживаясь за перила, стараясь не наступить на подол белого платья, выгодно оттенявшего ее смуглое строгое лицо.

– Ну, пхэнори... – только и проговорил Митро, делая шаг к лестнице. А больше ничего сказать он не успел, потому что хлопнула дверь с улицы, и в залу влетел запыхавшийся, размахивающий гитарой Кузьма.

– Что, собрались уже? Слава богу, поспел! – На его физиономии была широкая улыбка, сощуренные глаза весело блестели, и о том, что Илья видел утром, напоминал лишь изжелта-черный синяк под левым глазом. Вспомнив о том, как утром Кузьма и Митро вдвоем ушли из дома, Илья подивился: слово, что ли, петушиное знает Арапо? Как ему удалось всего за день привести этого хитрованца в божеский вид?

– Ой, Кузьма, это ты? – тихо спросила Настя. Кузьма поднял глаза, охнул, смешался, шагнул было за спину Митро. Но Настя слетела с лестницы вихрем, как девчонка, пронеслась через всю залу и кинулась Кузьме на шею:

– Дэвлалэ! Морэ! Как же я тебя не видела давно! Дэвла, вот радость-то, а я вчера все глаза проглядела – где Кузьма, где мой дорогой? Ну, как ты,

чяворо?{Мальчик.} Да что ж ты отворачиваешься, глупый, я тебе что – не тетка?!

Тетка, как же, подумал Илья, глядя на смущенную физиономию Кузьмы. Ее сестра двоюродная за его отцом замужем, вот и все родство... Но Настю такие мелочи не занимали. Она смеялась, целовала Кузьму, не давала ему отвернуться (тот явно старался спрятать синяк), и в конце концов Кузьма рассмеялся сам:

– Будет, сестрица, дыру процелуешь.

– Да как же тебе не стыдно? Я тебя столько лет не видела! Не узнать, право слово, не узнать! Я тебя мальчишкой помню, а тут – смотрите, саво мурш баро!{Какой молодец знатный!}

Кузьма покраснел, невесело усмехнулся. Поискал взглядом Митро.

– Трофимыч, я еду?

– Да куда тебе... – неуверенно протянул Митро. – На пятак-то под глазом посмотри.

С лица Кузьмы пропала улыбка. Настя, забыв снять руки с его плеч, тревожно повернулась к брату:

– Митро, да бог с ним, с пятаком! Из второго ряда не увидят!

Митро колебался. Но в это время, на ходу оправляя темно-синий казакин, из кухни быстрым шагом вышел Яков Васильевич. Цыгане при виде его притихли.

– Сиди дома, – бросил он, едва взглянув на Кузьму.

Кузьма растерянно посмотрел на Митро. Тот, пожав плечами, отвернулся. Спорить было бесполезно, это знали все.

– Отец, – вдруг сказала Настя, – можем минуту подождать?

– Чего ждать?

– Стеша, пойдем со мной! Кузьма, живо! – Она схватила за руку Кузьму, махнула Стешке и устремилась на кухню.

– Стой! Куда? Что я тебе – соловей легкокрылый?! – запыхтела Стешка, тщетно силясь поспеть за по-прежнему тоненькой и легкой сестрой. Яков Васильевич от неожиданности не успел возразить и стоял с удивленно поднятыми бровями, провожая взглядом Стешкину внушительную фигуру. Когда дверь на кухню захлопнулась, он сердито крякнул:

– Дожидайся теперь...

Но долго ждать не пришлось. Через несколько минут дверь открылась. Первой выплыла довольно улыбающаяся Стешка, за ней появился Кузьма с выражением некоторого замешательства на лице, а следом вышла Настя, озабоченно внушающая:

– Только личность свою кулаком не три, а то еще хуже будет...

Синяка не было. Не было, хотя Илья трижды протер глаза. Поморгав, он повернулся к Митро, но и тот выглядел озадаченным:

– Девки, как же вы это?

– И очень просто! – торжествовала Настя. – Тестом замазали, а сверху – мелом с кирпичом, с печи наскребли. Дай бог, не расползется до ночи.

Яков Васильевич молчал, с неодобрением поглядывая на Кузьму. Цыгане притихли.

– Ладно, шут с вами, – наконец буркнул хоревод. – Едем.

Кузьма просиял. Настя потащила его к дверям, на ходу что-то оживленно говоря. Илья, держа за руку Дашку, шел следом. Уже в дверях они с Кузьмой встретились взглядами. Кузьма, нахмурившись, опустил глаза. Илья с досадой отвернулся. Черт знает что...

На улице оказалось еще теплее, чем вчера. Сирень развернула листочки, между ними уже проглядывали голубые соцветия, верба у крыльца вся обвесилась золотистыми сережками, и даже луна, поднимающаяся над крышами Живодерки, была теплой, желтой, весенней. Где-то на задворках томно завывали коты. Со стороны церкви Великомученика Георгия доносился слабый перезвон. К заведению мадам Данаи, покачиваясь, подъезжал рыдван, набитый пьяными приказчиками. Пахло сыростью, влажной землей. Илья шагал рядом с Настей и Дашкой, но обе не обращали на него никакого внимания, вполголоса беседуя. От нечего делать он посматривал на Маргитку. Та шла впереди с молодыми цыганками, над чем-то смеялась, иногда поднимала руки – поправить волосы, и в тусклом вечернем свете на ее запястьях вспыхивали браслеты. Один раз она быстро обернулась, и Илья, захваченный врасплох, не успел отвести глаз. Но Маргитка взглянула мельком, снова расхохоталась, и он успокоился: не заметила.

Хозяина ресторана Осетрова не брали ни годы, ни обстоятельства. Все такой же высокий, прямой, сухопарый, с аккуратно подстриженной бородой, он лишь скупо улыбнулся на радостный возглас Митро:

– Фрол Васильич, знаешь, кто вернулся-то?

– Да уж слышали, – сдержанно ответствовал Осетров. – Настасья Яковлевна с супругом второй день как в Москву из табора прибыли. Оченно рады приветствовать.

– Да ну тебя, гриб старый, – разочарованно протянул Митро. – Скучно с тобой, ей-богу. Какая тебе сорока принесла?

– Своя агентура имеется, – без тени улыбки ответил Осетров. – Уже и господа приезжали, спрашивали: верно ли, что Смоляковы и Настя здесь?

– Какие господа? – загорелся Митро.

– Да уж всякие. – Осетров поджал губы, и стало ясно, что больше он ничего не скажет.

– Вот черт упрямый... – пробурчал Митро, входя вслед за Ильей в черную дверь ресторана. – Пристукнут его когда-нибудь за вредность вселенскую. Смоляко, видал, как этот антихрист свое дело развернул? Царские хоромы против прежнего, верно?

Илья не мог не согласиться. Видно, что заведение Осетрова не так давно заново отделано и покрашено. Была заменена и вывеска, и золоченые буквы новой гласили на всю улицу: «Ресторанъ». Большие окна сверкали чистотой.

– Подожди, то ли будет, когда в зал выйдем, – усмехнулся Митро. – Право слово, лучше только в «Стрельне» да в «Яре»! У Осетрова год назад деньги завелись, наследство какое-то получил из деревни...

– Врут все про наследство, это он купца зарезал! – неожиданно сообщила Маргитка, стоявшая у двери и слушавшая разговор.

– Какого купца? – опешил Илья.

– Проезжего, – пояснила она. – Остановился наверху в номерах, вечером в ресторане гулял, деньгами хвастался, а ночью Осетров его и...

– Не болтай, дура, чего не знаешь! – рявкнул Митро, и Маргитка неохотно умолкла. – Языки ваши сорочьи повырывать бы! Бабье бестолковое, пошла вон отсюда!

– Слушай, правда, что ли? – тихо спросил Илья, когда Маргитка ушла.

– Да шут его разберет... – проворчал Митро. – Я, конечно, напраслину не буду возводить, а только ты про Осетрова что знаешь? Ничего? Вот и я ничего. Хоть уже тридцать лет у него в кабаке глотку деру. Понимай как знаешь.

Илья только почесал в затылке. Хозяин ресторана и в самом деле слыл фигурой таинственной. Доподлинно про него было известно лишь то, что в Москву он приехал в семилетнем возрасте из Ярославской губернии, откуда издавна набирали учеников в половые. Попал к владельцу известного трактира Тестову, в совершенстве освоил ресторанное дело, поднялся от мальчишки-посудомойки до буфетчика, а затем неожиданно для всех купил собственный трактир на Грузинской улице. Трактир был маленьким, грязным и безвестным: о нем знали лишь местные мастеровые да извозчики, наезжающие сюда с Тишинской площади «пить чай». За три года Осетров «развернул коммерцию» во всю ширь. Сделал из вонючего закутка небольшой, но вполне приличный ресторан, завел скатерти, салфетки и серебряную посуду и, наконец, пригласил к себе цыганский хор

из Грузин, бывший тогда под управлением отца Якова Васильева. Извозчики и фабричные исчезли из обновившегося зала, и в ресторан Осетрова повалила «чистая» публика. И уже тогда никто не знал, откуда у Осетрова берутся деньги. Говорили разное: и что он торгует краденым, и что в подвале у него – тайная ювелирная мастерская, где «заныканные» на Тишинке золотые вещички переплавляются в лом, и что он содержит несколько публичных домов на Цветном бульваре – и тому подобное. Подтверждения, однако, всем этим домыслам не было, а вызвать на откровенность самого Фрола Васильича не удавалось еще никому. Дело в том, что Осетров совсем не пил и требовал того же от своих служащих. Если он видел кого-нибудь из них хоть немного выпивши на работе – следовал немедленный расчет, и любые уговоры, слезные просьбы и раскаяние были бесполезны.

Уже сворачивая в «актерскую», Илья обернулся и увидел, что Настя о чем-то говорит с Осетровым. Тот внимательно слушал, кивал и – небывалое! – улыбался в бороду. Илья, сердясь отчего-то, громко позвал жену. Та, на полуслове оборвав разговор, поспешила к нему.

Полчаса спустя хор вышел в зал. Илье все казалось сном – давним сном из молодости, позабытой сказкой. Меньше года он пел в московском хоре, но сейчас в голове одна за другой всплывали картинки-воспоминания. Огромный зал с красными панелями... Тяжелые занавеси, сверкающий пол, свечи, сотни огоньков, искрами отражающихся в паркете, в деках цыганских гитар, в бокалах с вином; запах дичи, белые скатерти, шелковые платья, фрачные пары, взгляды, взгляды, взгляды... Как давно все это было. Было и прошло. Он и не думал, что спустя годы будет снова стоять с гитарой в руках во втором ряду вместе с Митро и Кузьмой и смотреть на Настьку. Жена, однако, заняла место не в центре, как прежде, а с краю, где сидели цыганки постарше. В середине устроились молодые плясуньи, и Илья видел прямо перед собой затылок Маргитки, разделенный аккуратным пробором. Духами от девчонки разило так, что он, поморщившись, с досадой подумал: как Яков Васильич разрешает? Сейчас распляшется, вспотеет, еще больше вони будет.

Цыганский хор встретили вежливыми аплодисментами. Вечер только начинался, пьяных еще не было. Яков Васильич спорой походкой вышел вперед, поклонился залу, затем, повернувшись к хору, взмахнул гитарой. «Сейчас «Тройку»...» – машинально подумал Илья. И все же вздрогнул от неожиданности, когда гитары взяли дружный аккорд и три десятка голосов действительно грянули «Тройку» – так же, как и семнадцать лет назад. И голос Насти так же отчетливо слышался из первого ряда:

Запрягу я тройку борзых,
Темно-карих лошадей
И помчуся в ночь морозну
К милой любушке своей!

Илья пел вместе со всеми, брал аккорды на гитаре, однако посматривал в зал и думал о том, как изменилась публика за прошедшие годы. Раньше у Осетрова больше купцы сидели, редко кто из дворян наезжал – на Настю да на Зинку Хрустальную, военных много было – всего год после войны с турками прошел. А сейчас – всякой твари по паре... Штатских в пиджаках и сюртуках – пруд пруди, и не разберешь, князь ли, граф, купец или босота разночинная... Много было женщин, которые прежде вовсе не допускались в заведение Осетрова, и женщин, как определил Илья, приличных, не гулящих, в дорогих платьях и шляпах. Военных же вовсе не видать. Илья приметил лишь одного человека в офицерской форме – мужчину лет шестидесяти, с сильной проседью в черных гладких волосах, с широким разворотом плеч и прямой, несмотря на годы, осанкой. Он сидел за столиком у стены, держа в руке странную, длинную и изогнутую трубку, какую Илья видел у мадьярских цыган. Когда к его столику подошел половой принять заказ, военный досадливым движением руки отослал его и продолжил разглядывать хор. С растущим удивлением Илья понял, что смотрит он аккурат на Настьку. Рядом с ним сидела дама – насколько Илье было видно из второго ряда, самая красивая во всем ресторане. В черном узком платье и шляпе с вуалеткой. Дама курила длинную папиросу, держа ее на отлете в тонких, смуглых, унизанных кольцами пальцах. На вид ей было около сорока, и лицо ее показалось Илье смутно знакомым. Военного он тоже, мог побожиться, где-то видел. Кто же они, эти господа?

Сомнения Ильи разрешились быстро. Как только хор допел «Тройку» и раздались аплодисменты, седой человек быстро, но без спешки поднялся и пошел прямиком к цыганам. Яков Васильич поклонился ему:

– Добрый вечер, Владимир Антонович.

– Здравствуй, Яков Васильич. Что – слышно, поздравить тебя можно? – Военный улыбнулся, блеснув крупными белыми зубами, его лицо сразу помолодело на несколько лет, и Илья вспомнил.

В переднем ряду тихо ахнула Настя:

– Бог мой... Владимир Антонович?!

– Настя, ты ли? – Капитан Толчанинов, постаревший, но не

утративший молодецкой осанки и усов, щелкнул каблуками. Он склонился над протянутой рукой Насти, поднял голову, и на мгновение его лицо застыло. Увидел шрамы, догадался Илья. Но – что значит господское воспитание! – не подал и виду и взял Настю за обе руки:

– Настя! Боже мой... Вот не думал, что увижу когда-нибудь. Все говорили – ты в табор ушла… Как ты могла, право, не понимаю… Тебе, правда, очень к лицу этот загар, просто царица египетская! Серж Сбежнев тогда ужасно переживал... Кстати, что за история у вас с ним приключилась? Все ждали свадьбы, а он... Веришь ли, за семнадцать лет так и не рассказал ничего никому! Есть еще на свете подлинное рыцарство, есть!

Илья стоял как на иголках. Он и сам не думал, что через столько лет не сможет спокойно слышать имя князя Сбежнева – хоть и ничего не было у него с Настькой и не любила она его никогда. Илья почувствовал страшное облегчение, когда Яков Васильевич вполголоса закряхтел и Настя испуганно сказала:

– Владимир Антонович, нам с вами говорить сейчас нельзя, мы петь должны. Дождетесь конца, поедете к нам в гости? И дама ваша пусть с вами.

– Нет, мы лучше пойдем в кабинет, – решил Толчанинов, – и там поговорим без помех. А пока... – Он вытащил из кармана несколько ассигнаций. – Яков Васильич, уважь старого друга. Пусть Настя «Не пробуждай» споет. Его после нее у вас и не пел никто.

– Для вас – всегда с удовольствием, – вспыхнув, как девочка, сказала Настя.

Толчанинов улыбнулся, отошел. Напоследок взгляд его остановился на лице Ильи. Узнал, подумал тот и на всякий случай поклонился. Толчанинов усмехнулся, но ничего не сказал.

Дрогнули гитары Митро, Кузьмы и Якова Васильевича. Голос Насти взял первые ноты, и в зале стало тихо-тихо.

Не пробуждай воспоминаний
Минувших дней, минувших дней,
Не возродить былых желаний
В душе моей, в душе моей…

Илья едва касался струн. Украдкой, словно боясь чего-то, смотрел сбоку на жену. Настя сидела очень прямо на самом краю стула, руки ее

сжимали концы шали. Голос лился свободно и чисто, без усилий, так что душа переворачивалась от каждого слова старинного романса. Никогда, вдруг ясно понял Илья, никогда, ни разу за все годы с ним она не пела так.

Краем глаза он заметил: ни за одним столом не ели и даже не прикасались к бокалам. Разговоры смолкли еще раньше. Все как один сидели развернувшись к хору, все глаза были устремлены на Настю. А она, не поднимая ресниц, вела мелодию, и Илья видел, как бледнеет ее лицо, как вздрагивают пальцы, сжимающие край шали, и как бежит по щеке непойманная, неостановленная, прозрачная слезка. Господи... Неужели вправду только мучилась она с ним столько лет?!

Последний раз вздохнула гитара Митро, замерла под потолком последняя чистая нота. Илья мельком взглянул на Якова Васильева. Тот тоже стоял бледный, и его рука, лежащая на грифе гитары, чуть заметно вздрагивала. А в следующий миг зал взорвался аплодисментами и криками: «Браво!», «Прелестно!», «Просим еще!». Настя поднялась на поклон, и Илья с облегчением перевел дыхание. Посмотрел на столик Толчанинова, но ни капитана, ни его спутницы там уже не было. Ушли в кабинет, подумал Илья и даже слегка обиделся: что это за манера – уходить, не дослушав песни? А еще поклонник старый... Но в это время хор грянул «Мороз будет», и Илье стало некогда размышлять о невоспитанности Толчанинова.

Вечер перевалил за вторую половину, в зале стало душно и шумно, воздух загустел, запах вином и сигарами. Некоторых половые уже аккуратно препроводили к выходу, а какой-то пьяный купец, стуча вилкой по столу, во все горло требовал спеть «Со святыми упокой», и уговаривать его двинулся через зал сам Осетров. Пора было идти по кабинетам. К Якову Васильичу подлетел юркий мальчишка и доложил, что «в первом нумере господа и барыня замучались дожидаючись».

– В первом? – переспросил Яков Васильевич, и Илье почудилась усмешка в его глазах. – Что ж, скажи – сейчас придем.

В кабинете горели свечи, стол под камчатной скатертью был уставлен бутылками, бокалами, закуской. Сначала Илье померещилось, что кабинет полон людей. Но их оказалось всего трое, четвертой была дама Толчанинова. Когда цыгане вошли, господа поднялись из-за стола. К великому изумлению Ильи, в руках одного из них появилась гитара. Зазвенели струны, и господа запели перед смеющимися цыганами:

Как цветок душистый аромат разносит,
Так бокал налитый Настю выпить просит!

Выпьем мы за Настю, Настю дорогую,
Свет еще не создал красавицу такую!

Пели, на взгляд Ильи, из рук вон плохо, фальшивя на все лады и перевирая мотив цыганской величальной песни. Спасала положение лишь барыня, уверенно ведущая первый голос высоким сопрано. И голос этот показался Илье страшно знакомым. В памяти тут же всплыли строки романса «Ночи безумные, ночи бессонные...», и против воли вырвалось:

– Зинка?!.

Илья сказал это тихо, но барыня тут же взглянула на него, улыбнулась, сверкнув зубами из-под вуали, резким движением откинула ее – и глазам пораженного Ильи предстала постаревшая, но без единой седой нити в волосах Зина Хрустальная.

Песня кончилась, Зина первая кинулась к хору, обняла Настю, и кабинет наполнился радостными возгласами:

– Настька! Настенька! Боже мой, как ты? Господи, сколько лет!.. Ох, какая ты стала! Черная, вся черная, как… как… как муж твой! Право! Да как ты сумела только, скажи?!

– Зиночка... Тебя и не узнать! Графиня уже?

– Да, слава богу. Мне и ни к чему было, а вот детям...

– Где же граф? Жив он?

– Скачет, родимый, поспешает. Скоро будет.

Понемногу Илья узнал и остальных. Весьма упитанный черноволосый господин с красным лицом оказался поручиком Строгановым, которого Илья помнил тоненьким мальчиком в гусарской форме. В сутулом человеке с лысиной во всю голову и в невообразимом серо-буро-малинового цвета сюртуке он едва распознал музыканта Майданова, которому Настя пела оперные арии. Это были старые друзья цыганского дома.

– Каков сюрприз, Настя? – Строганов, пыхтя, пробился сквозь окруживших Настю цыган. – Это, между прочим, моя затея! Может, несколько нескладно, но зато с большой душой! Зинаида Алексеевна, правда, поначалу была в ужасе…

– Нет-нет, бесподобно получилось, Никита Сергеевич, шарман! – великодушно сказала Настя, протягивая Строганову обе руки для поцелуя. – Вам не стыдно и у отца в хоре петь, только, верно, несолидно. Вы не генерал теперь?

– Како-о-е... – отмахнулся Строганов короткой рукой. – Майор в отставке к вашим услугам.

– Женаты?

– Есть такой грех. Три дочери на выданье, а вот – бросил все и примчался, чтобы тебя увидеть.

– А вы, Алексей Романыч? – Настя обернулась к Майданову, стоящему рядом и подслеповато помаргивающему за стеклами очков. – Помните, как мы со Стешей для вас дуэт Татьяны и Ольги пели?

– Такое не забудешь! – слегка заикаясь, ответил Майданов. – Верите ли, сколько потом слушал певиц – и классических, и народных, – так, знаете ли, ни одна даже отдаленно вас не напоминала. Почему, ну почему вы меня не послушали, Настасья Яковлевна?

– В чем не послушала? – смеясь, спросила Настя. – В том, что в оперу не пошла? Только мне там и место, цыганке! Всяк сверчок знай свой шесток, тогда и плакать не придется.

Толчанинов тем временем вполголоса разговаривал с Яковом Васильевым. Илья прислушался.

– Яков Васильич, я помню прекрасно, что это не полагается, но не разрешишь ли сегодня Насте посидеть с нами? Вот здесь, за столом? Она ведь наша гостья, из-за нее мы здесь, и Ваня Воронин будет с минуты на минуту...

– Что ж вы у меня спрашиваете, Владимир Антонович? У ней хозяин есть. Если он позволит – пусть садится.

– Илья? Он здесь? – Толчанинов быстро обернулся к хору. – Черт возьми, как это я не узнал сразу! Здорово, Илья, ты и не переменился ничуть, все такой же дьявол!

– Где уж нам в дьяволы, Владимир Антонович, – без улыбки отозвался Илья. – Это только вашему благородию впору.

– Но как же ты посмел?! – вознегодовал Толчанинов. – Как ты мог увезти от нас Настю?! Ты же, фараонов сын, сам не представляешь, чего лишил Москву!

– Я ее на веревке не тянул, сама решила.

– М-да-а... – вздохнул Толчанинов. – Может, позволишь ей хотя бы посидеть с нами?

– Не держу, – пожал плечами Илья.

Настя, улыбнувшись мужу, прошла к столу и села рядом с Зиной Хрустальной. Господа расположились рядом. Строганов налил Насте вина, и та, поблагодарив кивком, едва пригубила мерцающую красной искрой жидкость. Хор негромко затянул «Матушку-голубушку».

Илья пел вместе со всеми, стараясь не показывать испортившегося настроения. Он сам не знал, отчего вдруг так царапнула сердце эта встреча

с господами. Может, просто по привычке... Ведь он на стену лез тогда, семнадцать лет назад, когда Настька сидела среди них и пела им романсы, и маленький Строганов, схватив ее на руки, носился по комнате, выкрикивая стихи, а всегда над всем смеющийся Толчанинов со слезами на глазах целовал ее руки. А Сбежнев, князь Сбежнев... Слава богу, хоть этого тут нет. «С ума сошел, морэ? – испуганно спросил Илья сам себя. – Не перебесился, мало?» Он напомнил себе, что прошло много лет, что Настька давно не та, что прежде, и господа – не мальчики, что никому уже не придет в голову засунуть цыганскую девчонку в тройку и умчать к венцу, что они сидят и беседуют с ней лишь по старой памяти. Но все эти уговоры не помогали. Не помогали, хоть плачь, – стоило Илье взглянуть на радостное, помолодевшее на десяток лет лицо Насти, с которого, казалось, исчезли бороздившие его шрамы, стоило услышать ее смех, увидеть тонкую руку, тонущую в ладонях Толчанинова – так же, как прежде... «Принесло куму на родную сторону», – с неожиданной злостью подумал Илья и отвернулся. И только сейчас заметил, что мелодия изменилась. Гитары теперь играли плясовую в самом начале – медленном, притворно величавом. Спохватившись, Илья сменил лад, посмотрел на Митро – не заметил ли тот его ошибку? Митро поймал взгляд, но понял его по-своему и, чуть заметно улыбнувшись, кивнул – мол, смотри...

Илья скосил глаза. Тут же, словно только этого и дожидаясь, вперед шагнула Маргитка. Сбросив красную шаль, она положила ее на стул, на миг подняла голову, коротко взглянула на Илью – как обожгла, – отбросила за спину косы и пошла плясать. Цыгане затянули громче:

Ах, кашка манная, ночь туманная,
Проводи меня домой, моя желанная!

Маргитка шла так легко, что казалось, не ступает по полу, а плывет над ним. Лишь изредка из-под красной оборки выглядывал узкий мысок туфельки. Ресницы девушки были опущены, полумесяцы больших серег качались в такт шагам. Гитаристы брали на струнах короткие отрывистые звуки, лишь обозначая ритм, и Маргитка плыла по паркету в сиянии отражающихся свечей словно со стаканом воды на голове – ни единого лишнего движения, ни взмаха ресниц. В кабинете стало тихо, смолк разговор за столом, слышались лишь аккорды и шуршание платья. Мельком Илья заметил заинтересованный взгляд Насти, улыбку Зины Хрустальной. Это была знаменитая «венгерка», которой так славились московские

цыганки.

Ах! – захлебнулась вдруг гитара коротким вздохом. Раз! – скользнула по полу узенькая подошва. Взмах! – разлетелись тонкие руки, обожгло из-под ресниц неласковой прозеленью, Маргитка замерла на миг, откинув голову. И – пошла, пошла, пошла сыпать тропачками{Вид чечетки.}, и загомонили гитары, споря с этим перестуком, и только тут улыбнулась Маргитка. Снова отбросив за спину косы, она дрогнула плечами, забила чаще и чаще и пошла прямо к столу. И стояла перед господами с надменной улыбкой на губах, частя плечами до тех пор, пока капитан Толчанинов с насмешливым поклоном не протянул ей ассигнацию.

Гитары умолкли на коротком аккорде. Маргитка коротко кивнула и, не обращая внимания на восторженные вопли, пошла на свое место.

– Ох, какая... – бормотнул кто-то из цыган.

Илья обернулся на голос и увидел глаза собственного сына. Опустив скрипку, Гришка смотрел на Маргитку так, что Илье захотелось сказать ему: «Закрой рот». Но сделать этого он не успел, потому что хлопнула дверь, и на пороге вырос двухметровый красавец с косой саженью в плечах, с седой головой и шестью бутылками шампанского в руках. Серые холодные глаза быстро обежали всех присутствующих, и Илья узнал графа Воронина.

– Ур-ра несравненной Насте! – гаркнул он, и пламя свечей задрожало, грозя погаснуть. – Чуть не загнал извозчика, так спешил! Настя! Прелесть! Поцелуй старинного друга!

Настя с улыбкой поднялась, протянула руки. Граф расцеловал ее, обернулся к хору:

– А где Смоляков? – И прежде чем Яков Васильев успел ему ответить, сам нашел глазами Илью. – А, вот он! Ну, помнишь, как меня чуть на тот свет не отправил?

Илья растерянно промолчал, подумав: надо же, не забыл, сукин сын… Но Воронин рассмеялся и протянул руку:

– Не пугайся, сын степей, кто старое помянет – тому глаз вон. Признаться, я сам был виноват тогда. Ну, други, – за встречу! Яков Васильич, уважь старинного приятеля – «Не вечернюю»! И пусть моя Зина запевает!

Распрощались глубокой ночью. Господа устали так, что даже не поехали, как обычно, после закрытия ресторана в гости к цыганскому хору. Цыгане цепочкой спустились на улицу, где дожидались пролетки. Их провожал Осетров – прямой, строгий и ничуть не заспанный. Небо на востоке уже зеленело, во внутреннем дворе ресторана ныли коты, пахло

сыростью и почему-то рыбой. Илью шатало от усталости, и не было сил даже удивляться на Настьку, которая, о чем-то оживленно разговаривала с Митро, словно и не пела ночь напролет. Не к добру все это, только и подумал снова Илья, забираясь в пролетку и усаживаясь рядом с Кузьмой. А тот то ли спал, то ли притворялся – лохматая голова его упала на грудь, синяк на скуле, с которого давно стерлась мука, был заметен даже в темноте. Илья вполголоса окликнул друга, но он не отозвался. В передней пролетке слышались сонные смешки, кто-то зевал – там рассаживались молодые цыганки. «А я ему говорю: барин, не забыли, что просила?» – донесся до Ильи чей-то веселый голос.

Пролетки тронулись с места. Илья, пристроив голову на футляр с гитарой, задремал. Ехать было совсем близко, но ему успел привидеться сон – танцующая Маргитка. Она кружилась и кружилась, дрожа плечами, и подходила все ближе, и уже в самое лицо ему глядели зеленые погибельные очи. Илья вздрогнул и проснулся. Увидел, что пролетки уже стоят возле Большого дома и Митро рассчитывается с извозчиками. Встряхнув головой, Илья выпрыгнул на тротуар и сразу же наткнулся на взгляд Маргитки.Она стояла у калитки дома и, словно в продолжение сна, смотрела на него. «Чего тебе, чяери?» – хотел было спросить Илья, но девушка отвернулась и быстро пошла по едва заметной дорожке к дому.

Настя с детьми сразу поднялись наверх. Илья задержался немного в сенях – поговорить с Митро – и вошел в спальню, когда жена, сидя у зеркала, уже расчесывала на ночь волосы. Она обернулась на скрип двери, и свет керосиновой лампы упал на нее слева. В полутьме не видно было шрамов на щеке, морщинок у глаз. Волосы, тяжелые, черные, спадали до пола, в глазах Насти блестел оранжевый огонек лампы. Жена еще не сняла платья, и в какой раз за сегодняшний день Илья удивился: как сохранилась, оказывается, ее фигура. В таборных юбках и кофтах ее и не было заметно, а в атласном платье... И хороша Настя, как прежде, и седины в косах почти не видно. А глаза светятся, как у девчонки.

– Что ты так смотришь, Илья? – удивленно спросила Настя. Провела рукой по волосам, по платью. – Не так что-то? Не поверишь, замучилась с крючками, отвыкла от платьев-то… Да что с тобой?

– Ничего, – буркнул он, садясь на постель. – Спать будем сегодня или не напелась еще?

Настя быстро взглянула на него, промолчала. Не спеша заколов волосы шпильками, снова начала возиться с крючками платья. Илья исподлобья наблюдал за ней.

– Ты сердишься из-за чего-то? – спросила Настя, стоя к нему спиной.

Он пожал плечами.

– В мыслях нет.

– Если хочешь – завтра же уедем. Еще успеем до ярмарки табор догнать.

Он не ответил, хотя безмерно хотелось сказать «да». Чуть погодя Илья спросил:

– Как Дашка? Понравилось ей?

– Кажется, да. Хотя она сегодня одна не пела, только с хором. Сидела, прислушивалась. Митро говорит, через месяц-другой солисткой будет.

– Через месяц-другой?! – возмутился Илья. – Да через неделю уже, душой клянусь! Ну, скажи мне, кто здесь лучше ее? Ты разве что... А больше ни одна.

– Маргитка лучше.

– Вот еще!

– Верно говорю. – Настя наконец избавилась от платья и в одной рубашке села рядом с мужем на кровать. – Не в песнях, конечно, – голосок у девочки так себе, – а в пляске. Веришь ли, я весь вечер только на нее смотрела. Сколько видела плясуний, и городских, и таборных, но такого... Одна манера чего стоит! Идет-то по-старинному, шажок в шажок, хоть вазу на голову ставь, а сама вся, как огонек у свечи, – и дрожит, и бьется. Таланная девка, далеко пойдет!

– Дальше мужа не ускачет, – усмехнулся Илья. – Отчего Митро ее не выдает, не знаешь? Царя, что ли, для нее ждет?

– Такую взять и царю не зазорно. А цыгане наши ей не пара. – Настя вдруг улыбнулась. – Знаешь, как они ее зовут? «Бешеная»! Она, коли кто зацепит ее, сейчас в драку кидается и, говорят, не боится никого. Илона рассказывала, раз Маргитка где-то целый день одна пробегала, вернулась уж потемну и не признается, где была. Митро взъярился, ремень снял. Так эта чертова девка на окно вскочила и не своим голосом закричала: «Тронешь – вниз кинусь!»

– И что – кинулась? – заинтересовался Илья. – Со второго этажа не убилась бы...

– Да нет, Митро ремень бросил. Видишь – даже он с ней ничего поделать не может. Ей в самом деле только за царя замуж, ни один цыган ее не выдержит. Или убьет в первый же день, или к родителям назад прогонит.

– Такая же дура, как и все вы, – зевнув, подытожил Илья. – Может, зря ты к ней Дашку отпустила? Еще научит ее всякому...

– Ничего не зря. И потом, Дашку ничему не научишь, пока сама не захочет. Упрямая. Вся в тебя.

Илья усмехнулся. Притянул к себе Настю, погладил ее рассыпающиеся, блестящие в свете лампы волосы и встал.

– Куда ты?

– Воды попить. Ложись, сейчас приду.

В сенях было темным-темно. Отыскав на ощупь ведро и висящий на гвозде ковш, Илья долго глотал холодную, пахнущую сырым деревом воду, затем умылся из пригоршни. Медленно, стараясь не опрокинуть что-нибудь, пошел к лестнице. И, вздрогнув, остановился, когда из темноты кто-то тихо окликнул его:

– Смоляко...

– Ну, что тебе? – помедлив, буркнул он.

– Илюха, обиделся, что ли?

Он промолчал.

– Смоляко, я же не хотел... Я же с утра еще лыка не вязал, в глазах все зелено было... Илья, ну чтоб мой язык отсох, ей-богу! – Кузьма подошел вплотную. – По глупости все, не серчай уж...

Илья усмехнулся в темноте.

– Ладно... леший с тобой. Ты мне, босяк, все-таки родня. Где ты там, не вижу?

– Да здеся я... Пролазь на кухню, только кадку не свороти в потемках. Воблы хочешь?

Они проговорили до утра, разодрав пополам твердого, как булыжник, леща и выпив целый жбан пива, найденный за печью. А на рассвете, когда первые лучи переползли через подоконник, Варька нашла их обоих спящими врастяжку на кухонном полу. Илья пристроил вместо подушки старый валенок, Кузьма улегся головой прямо на животе друга. От храпа качались занавески и жалобно дребезжали стоящие на столе стаканы. Варька улыбнулась, перекрестила обоих и на цыпочках вернулась в сени.

ГЛАВА 4

В июне на Москву неожиданно свалилась жара – да такая, что дивились даже старожилы. Едва распустившиеся липы и клены на бульварах пожухли, роскошная сирень в купеческих садах торчала засохшими коричневыми вениками, лужи исчезли без следа, и улицы покрылись серой пылью, в которой, свесив на сторону языки, валялись одуревшие собаки. Город словно вымер: те, кто побогаче, уехали на дачи, беднота сидела по домам, обезлюдела даже Конная площадь. Только Сухаревский рынок продолжал жизнерадостно орать под жгучим июньским солнцем.

– Дядя, продаешь порты?

– Продаю.

– Сколько?

– Два.

– Отдавай за полтинник!

– Сгинь, нечисть!

– Нет, люди добрые, слыхали вы – два рубля! Да они и одного не стоят! Ты, борода, сам взгляни, что продаешь, – штаны или решето?!

– Два.

– Да что ж это такое, святы господи? Ты в своем уме, борода? За эту рванину с собачьей свадьбы – два рубля? На Хитровке такую же рухлядь за гривенник купить можно, еще и уговаривать будут!

– Вот там, цыганская морда, и покупай.

– Ах, так?! Ну, борода, сам себе несчастья ищешь! Вот скажи, откель мне знать, где ты эти штаны взял? Может, ты их вовсе украл, а?

– Что ты! Что ты! Бога побойся, цыган, вот те крест святой...

– Украл, украл – по роже вижу! Меня не проведешь небось! Надо бы околоточного свистнуть, Илюха, а?

– Да што ты, цыган! Сдурел али как? Свои собственные порты, ей-же богу! На пропой души продаю!

– Врешь, хапаные штаны! Отдавай за полтину, не то будочника приведу!

– Кузьма! Да угомонись ты! – Илья еле оторвал друга от перепуганного мужичка с перелицованными штанами. – Далось тебе это рванье!

– Да что ж ты в мою коммерцию лезешь?! – взвился Кузьма, с

сожалением провожая глазами убегающего сквозь толпу мужика. – Еще бы минуту – и он бы за полтину отдал! Вот где я теперь второго такого лаптя искать стану, а?

За семнадцать лет на Сухаревке почти ничего не изменилось – так же под стенами старой башни сидели торговцы всевозможным хламом, бабы с квасом, бульонкой и пирогами, бродячие брадобреи, сапожники и портные. Полуголые мальчишки-нищие носились в толпе, выпрашивая милостыню, воры-карманники виртуозно делали свою работу, и над всем этим висело желтое облако летней пыли.

Илье вовсе не хотелось тащиться по жаре на Сухаревку. Но Митро, у которого сегодня были какие-то дела на ипподроме, попросил его не спускать глаз с Кузьмы: «Не сегодня завтра запьет, я уж вижу!» Митро был прав: едва проснувшись, Кузьма начал искать, у кого бы занять денег. Но цыгане, которым Митро под страхом смерти запретил одалживать «этому голоштаннику», все как один отвечали: «Самому бы кто дал, морэ». В конце концов Кузьма рванул из дома со свернутой рубахой под мышкой, и Илья едва успел выбежать за ним:

– Ты куда?

– На Сухаревку.

– Зачем?

Кузьма посмотрел на него в упор. Спокойно сказал:

– Денег нет, а выпить хочется.

Эта откровенность обезоружила Илью, и он, мысленно уже представляя себе лицо Митро, сумел только проворчать:

– И я с тобой, что ли...

Кузьма не возражал. Едва оказавшись у стен Сухаревой башни, он развил бешеную деятельность, привязавшись со своей рубахой к длинному сгорбленному мастеровому с испитым лицом:

– Эй, золотая рота, бери рубашку за три гривны! Что рыло воротишь? Не на клею продаю, новая почти, с Троицы и семи дней не проносил, вот только по вороту малость вылезло, так баба твоя вмиг залатает... А вот выражаться будьте осторожны, я и сам пошлю куда пожелаете! Берешь али нет, висельник? Очень даже твоей личности соответствует, тебе так и дома скажут! Бери, дело говорю, дешевле на всей Сухаревке не сыщешь!

Через четверть часа отчаянного торга Кузьма получил от вконец ошалевшего мастерового тридцать копеек, в мгновение ока купил в другом конце развала у старьевщика-татарина потерявшую всякий вид чуйку, через полчаса продал ее у башни рябой тетке за полтинник и, потряхивая «наваренной» мелочью в кулаке, устремился к злополучному мужичонке со

штанами. Но тут уже Илья пришел в себя и насильно увел его от места «коммерции».

Мимо прошла баба с лотком пирогов на голове. Кузьма на ходу подцепил один, сунул в рот. Провожая глазами уплывающий лоток, задумчиво сказал:

– Слушай, Илюха, отвязался б ты от меня. Думаешь, если выпить захочу, так ты меня удержишь? Мне ведь не пятнадцать лет, и ты мне не хозяин.

– А Митро?

– Митро... – Кузьма опустил голову. Чуть погодя нехотя выговорил: – А что Митро? Думаешь, ему охота возиться? Это он для виду орет, а так уже давно на меня рукой махнул.

– Не скажи. Ежели б махнул – в хоре бы не держал.

Кузьма пробурчал что-то. Помолчав минуту, смущенно сказал:

– Слышь, Илюха... Пусти меня, а? Мне до ночи денег позарез достать надо, так ты уж не препятствуй. А Трофимычу скажешь, что с ночи меня не видел. Знаешь ведь, все равно убегу.

В последнем Илья уже не сомневался. Тяжело вздохнув, он махнул рукой, и Кузьма, блеснув напоследок виноватой улыбкой, исчез в толпе. Вскоре до Ильи доносился лишь его голос:

– Два с гривной за вот это непотребство?! Бога побойся! Сам ты, Степка, жмот! Пузо отрастил, а совести нету! Да твой пинжак и рубля не стоит! И потом, не его ли Толоконниковых дворник второй день с полицией ищет? И к нему еще сундук с салопами? Хоть бы перелицевали, мазурики липовые, право слово! Осторожнее, смотри... Пятьдесят копеек даю, последнее слово. По рукам?

Ответа «липового мазурика» Илья уже не слышал, свернув в сторону от Сухаревой башни. Настроение было препаршивейшим. Мало того, что оказался никуда не годной нянькой, так еще и торчи здесь теперь на жаре без всякого дела и думай, как оправдываться вечером перед Митро. Черт знает что... Лучше бы на Конную отправился.

Прошло уже около месяца с того дня, как он с семьей приехал в Москву, и с каждым днем Илья все больше и больше убеждался: не нужно было этого делать. Самому ему, конечно, все равно, где орать на Конном рынке, но вот Настька... Настьку словно подменили. Жена, казалось, сбросила полтора десятка лет, снова превратившись в девчонку-певунью. Каждый вечер она отправлялась с хором в ресторан, возвращалась вместе со всеми под утро, и Илью до белого каления доводили ее сияющие глаза и не сходящая с губ улыбка. Сам он выезжал с хором не так уж часто: не

было ни нужды, ни охоты. В Москве, впрочем, многие помнили знаменитого тенора Илью Смолякова, и несколько раз Митро просил: «Смоляко, давай с нами, с утра сегодня от купца Рукавишникова мальчишка прибегал, вечером желают тебя слушать». В таких случаях Илья не отказывался, ехал вместе со всеми, пел, получал деньги – а наутро с облегчением шел на Конную площадь. И никак не мог понять, почему его так злит Настькино радостное лицо, ее пение по утрам, улыбка, с которой она принимала в нижней зале прежних поклонников, ее занятия с Дашкой, которая теперь все чаще выезжала с цыганами. Из-за чего, спрашивается, было злиться? Что жена успокоилась наконец, что ходит веселая, что слепая дочь при деле и при деньгах? «Совсем сдурел, морэ... – уговаривал Илья сам себя. – Настя на тебя семнадцать лет жизни положила, ни дня счастливой не была, только-только вздохнула свободно, а ты бесишься. Уймись, своим делом занимайся. Старый стал, а ума все нету...»

Уговоры эти помогали ненадолго. Настя, знавшая мужа как свои пять пальцев, уже посматривала тревожно, но вопросов не задавала. И даже это выводило его из себя: «Нарочно не спрашивает... Боится, что велю собираться и уезжать из Москвы. Дура! Еще и детей за собой тащит!» Особенно раздражало то, что Гришка, старший сын, которому Илья рассчитывал передать свой опыт в лошадиных делах, теперь и вовсе думать забыл о кровном цыганском ремесле и с утра до ночи пиликал на скрипке. В хоре без него уже не могли обойтись, и Илье даже не хотелось спрашивать: идет ли сын сегодня с ним на Конную или нет. Знал, можно и не спрашивать: дать подзатыльник, погнать с собой... но что в этом толку? Все равно мальчишка будет смотреть поверх лошадиных голов куда-то в небо и думать о своей скрипке да о романсах. Родил на свою голову... Не цыган, а свистулька купеческая, тьфу! Одно хорошо – Дашка довольна. Ездит с хором, поет и даже улыбаться начала. Пусть. Хоть какое-то счастье у девочки должно быть. В глубине души Илья знал: только ради одного этого он не уедет из Москвы.

Неожиданно в течение его невеселых мыслей ворвался знакомый насмешливый голос:

– Так что ты, изумрудный, к нам не приезжай больше. Честно говорю – незачем.

Голос послышался так близко, что Илья вздрогнул и повернулся. В трех шагах от него, на ступеньках магазина «Мануфактура Федора Зайчихина», стояла Маргитка. Она была в простом ситцевом платье, шляпу держала в руке, и две толстых иссиня-черных косы свободно лежали на спине. Мельком удивившись, до чего же Митро распустил дочь – одна, на

Сухаревке, среди бог знает какого жулья! – Илья поискал глазами того, с кем она разговаривала. Искать долго не пришлось: высокий парень стоял перед Маргиткой, опираясь одной рукой о стену магазина. Он был выше девчонки на две головы, на широких плечах, казалось, вот-вот затрещит новая красная рубаха. Из-под картуза, лихо сбитого на затылок, выбивался черный кудрявый чуб. «Цыган, что ли?» – заинтересовался Илья, подходя ближе. Физиономия парня вполне смахивала на цыганскую: густые брови, наглейшие черные глаза, белые зубы. Да куда же Митро глядит! – снова поразился Илья. Словно гриб у него, что ли, девка растет?

Как раз в это время Маргитка шагнула было со ступенек, но парень вытянул руку, останавливая ее. Протяжно, сквозь зубы, сказал:

– А ты меня не учи. Сеня Паровоз – сам себе царь и бог. Пожелаю – приду.

– Ну, приходи, коль соображенья нет, – зло бросила Маргитка. Илья видел, как побледнело ее лицо и сдвинулись к переносью брови. – Да только я к тебе не выйду.

– Отец велит – и выйдешь.

Маргитка вспыхнула было, но тут же, справившись с собой, издевательски усмехнулась.

– Оно, конечно, верно... Отец велит – выйду. Вот через отца теперь со мной и разговаривай! – Она отбросила его руку и сбежала со ступенек.

– А ну стой! – рявкнул парень.

Илья почувствовал, что пора вмешаться. Быстро подойдя к магазину, он взял стоящую к нему спиной Маргитку за руку. Та вздрогнула, дернулась было в сторону, но, обернувшись, растерянно улыбнулась:

– Илья? Что ты здесь делаешь?

– Совсем стыд потеряла? – спросил по-цыгански Илья. Не дожидаясь ответа, хмуро посмотрел на парня: – Оставьте девочку, господин хороший, душой прошу.

– Это еще кто? – удивился тот. Черные глаза его сузились. С некоторым беспокойством Илья подумал: вот только драки ему и не хватало.

– Дядька это мой, дурак, – выручила Маргитка. – За мной пришел. Все, Сеня, дорогой, прощай навек. Гуляй, соколик, с ветерком да без пыли! С богом, до свидания!

Она молола чепуху с улыбкой, но Сеньке явно было не до смеха, а Илье – тем более. «Что же такое получается? Он ей кто? Неужели...»

Сеньке наконец надоели издевательства девчонки. Процедив сквозь зубы: «Попомнишь еще, зараза...», он легко сбежал со ступенек и исчез в

толпе. В ту же минуту Маргитка тряхнула рукой, освобождая запястье.

– Пусти, Илья. Чего вцепился?

– Не боишься? – спросил он.

– Чего это?

– Что отцу расскажу.

С минуту Маргитка молчала, закусив губу. Затем недобро усмехнулась:

– Не боюсь. Трепи языком, раз баба, а не цыган.

– Дура! – Илья едва удержался, чтобы не залепить нахалке оплеуху. – Кто он тебе? Ты с ним была, что ли?

– Тебе какое дело? Сватать собрался?

– Ах ты!.. – Не выдержав, Илья замахнулся. Но Маргитка ловко увернулась, вскочила на ступеньки. Без улыбки, враждебно сказала:

– Тронешь – загрызу.

Ее широкие ноздри, раздувшись, задрожали, зубы оскалились, и Илья невольно отшатнулся. Справиться-то он с ней, конечно, сумеет, но без глаза его эта ведьма вполне может оставить. А стоит ли она того, холера?

– Отец знает?

– Нет. – Маргитка, остывая, исподлобья взглянула на него. – Зачем ему знать?

– А как ты замуж собираешься?

– Никак. Очень надо! – Маргитка в упор посмотрела на Илью и вдруг залилась смехом. – Господи, морэ, а ты-то что беспокоишься? Смотрите вы, он волнуется, как я замуж пойду! Да что там, замужем, хорошего? Сосунков сопливых плодить? Мужнину рожу пьяную наблюдать? Из-под кулака у него не вылазить? А меня трогать нельзя – убить могу! Я – бешеная!

Илья озадаченно молчал. В который раз его ставило в тупик поведение Маргитки, которая, казалось, и в грош его не ставила, хотя он этой пигалице в отцы годился. Дать бы ей пару затрещин, в самом деле, чтобы хоть уважение имела... Но как же Митро ее так из узды выпустил?

Маргитка, казалось, угадала его мысли. Перестав смеяться, серьезно проговорила:

– Не думай, отцу все равно. Я же ему не родная. Какая разница, с кем падчерица пойдет?

– Ерунду говоришь, девочка.

– Правду. Думаешь, чего он меня замуж не гонит? Позориться не хочет, знает, что я... ну, в невесты уже не гожусь. И с Сенькой Паровозом у меня когда еще все было... – Зеленые глазищи придвинулись совсем близко, и Илья невольно отстранился.

– Ты... зачем мне это говоришь, чяери?

– Затем, что спрашиваешь, – пожала плечами девушка.

Илья давно отпустил ее руку, но Маргитка пошла рядом с ним сама. Солнце светило им в спину. Почему-то Илье было неловко смотреть на девчонку, и он разглядывал ее тень, бегущую впереди.

– А если б не я спросил, а другой кто? – наконец поинтересовался он. – Тоже б все рассказала?

– На других мне плевать. – Маргитка вертела в руках шляпу. – Проводишь меня домой?

– Сама не доберешься, что ли?

– Ну, Илья... Совсем ты ничего не понимаешь? Разве должна красивая цыганка одна домой идти? Я ведь красивая, Илья? Красивая? Как моя мама? Посмотри на меня!

Маргитка ускорила шаг, опередив Илью, резко повернулась. Теперь солнце било ей в лицо. В насмешливое смуглое лицо с сощуренными зелеными глазами, с неласковой улыбкой. Смеясь, Маргитка просунула между зубами розовый, острый кончик языка, и это окончательно вывело Илью из себя.

– Мать твоя сроду такой шлюхой не была! – резко сказал он и, не оборачиваясь, быстро пошел вниз по Панкратьевскому переулку.

Маргитка смотрела ему вслед, закусив губы. В уголках ее глаз дрожали слезы.

* * *

Домой Илья возвращался в сумерках и, едва свернув на Живодерку, понял: во дворе Большого дома что-то происходит. Казалось, там собралась вся улица: старая ветла была облеплена мальчишками, народ сидел на заборах и крышах, у калитки стояла целая толпа. Илье едва удалось протолкаться к дому. Подойдя, он услышал восхищенные крики:

– Давай-давай, работай!

– Живей, курчавая!

– Уже двадцать минут есть!

– Что такое? – недоуменно спросил Илья у Митро, который стоял у забора.

– Где Кузьма? – мрачно поинтересовался тот вместо ответа.

Илья смущенно развел руками:

– Убег. Чуть только отворотился...

– Так и знал. Да ладно, ты ни при чем. Он у меня-то сбегал тыщу раз. Теперь раньше Петрова дня не дождемся. Тьфу, вот проклятье на мою жизнь!

– Что там случилось-то? – снова кивнул Илья на двор.

Митро неожиданно усмехнулся:

– А... Протолкайся, взгляни. Девки перепляс устроили. Моя Маргитка уже двадцать минут без перерыва выкомыривает.

– Двадцать?! – поразился Илья, хорошо знавший, что такое пляска даже в течение пяти минут.

– Да. А спор был – на полчаса. И, кажется, еще не повторилась ни разу.

Илья присвистнул и с удвоенной силой раздвинул локтями толпу.

Двор был полон цыган. У крыльца стайкой сбились молодые парни и девчонки, на ступеньках примостились те, кто постарше. На столе под огромной старой вишней дымился самовар, и вокруг него с кружками чая сидели цыганки. Среди них Илья увидел и Настю. Посреди двора лежала огромная деревянная крышка от бочки, и на этой крышке растрепанная, тяжело дышащая, но все-таки улыбающаяся Маргитка отплясывала «венгерку». Увидев Илью, она улыбнулась еще шире, блеснув зубами, – словно он и не говорил ей недавно обидных, резких слов. На ней было то же малиновое ситцевое платье, косы почти расплелись, прыгая по спине и груди, и черные курчавые волосы вставали над головой плясуньи буйным нимбом. Серьги-полумесяцы метались из стороны в сторону, каблучки выбивали мерный, четкий ритм «венгерки». Чуть поодаль стояли девчонки-танцовщицы, переговариваясь восхищенно и завистливо. Аккомпанировал Маргитке Яшка, который едва касался гитарных струн, лишь задавая ритм. Рядом с ним на крыльце сидела Дашка. Илья еще не успел подойти, а дочь уже подняла голову и протянула руку:

– Отец?

Он сел рядом.

– Что это у вас делается?

Дашка рассказала. Началось все с того, что «лютая врагиня» Маргитки Катька Трофимова похвасталась, будто на крестинах у цыган из Марьиной Рощи она плясала десять минут без перерыва. Маргитка тут же заявила, что десять минут – это сущая ерунда и она сама берется проплясать, не останавливаясь и не повторяясь, полчаса. Тут же кликнули Яшку с гитарой, притащили из-за дома крышку от бочки, позвали свидетелей, чтобы все было честно, – и перепляс начался. Попробовать свои силы захотели и другие плясуньи, но через пять-семь минут все до одной, включая Катьку,

сошли с круга. Осталась Маргитка, которая плясала как заведенная и даже не думала останавливаться. Уже весь Большой дом высыпал во двор, старые цыганки отвлеклись от чаепития, цыгане помоложе охрипли от восторженных воплей, Катька разревелась от досады, а Маргитка все плясала и плясала.

– И ни разу не повторилась, – улыбаясь, закончила Дашка. – Я слушала, у нее все чечетки новые.

«Трак!» – вдруг раздался треск. Маргитка охнула, качнулась. Ее лицо стало озадаченным.

– Все! – торжествующе выпалила Катька, нагнувшись и хватая отлетевший в сторону каблук Маргитки. Яшка опустил гитару.

– Играй, черт!!! – завопила Маргитка. Продолжая приплясывать, сбросила туфлю, на ходу расстегнула и скинула вторую – и пошла выбивать по гулко гудящей крышке босиком. – Еще! Еще! Еще!

Молодые цыгане заорали от восторга. Илья вполголоса спросил у подошедшего Митро:

– Слушай, что она сейчас пляшет? Не «венгерку» ведь?

– Это она у своей котлярской родни нахваталась. Ловко выделывает, да? А я-то всю жизнь думал, что котляры плясать не умеют.

Илья промолчал. Потому что и сам так думал. Ему приходилось видеть таборные пляски болгар, похожие на обычное топтание на месте. Это и рядом не могло стоять с плясками русских цыган, с городскими «полькой» и «венгеркой». А Маргитка... Откуда она только взяла эти переплетенные руки, это припадание согнутым локтем почти к земле, эти «подбивочки»? Прав Митро, по-котлярски – а красиво.

Неизвестно, чем бы закончилась пляска на спор, если бы во втором этаже не распахнулось окно и оттуда не выглянул бы Яков Васильев.

– Сдурели, черти?! Маргитка, хватит, слышишь? Собьешь ноги, безголовая, завтра в ресторане шагу ступить не сможешь! Авэла{Хватит.}, вам говорят!

Маргитка остановилась. Схватившись за грудь, едва дыша, хрипло спросила:

– Есть полчаса? Кто следил?

– Полчаса и полминуты даже! – смущенно сказал Гришка, повернув к свету серебряные часы. Маргитка быстро подошла, вырвала часы у него из рук, всмотрелась в стрелки, не замечая жадного взгляда парня. Торжествующе вскрикнув, повернулась к Катьке:

– Ну, брильянтовая моя?

– На! – дрожащим от слез и ненависти голосом крикнула та, вынимая

из ушей золотые серьги с аметистами. – Подавись!

Маргитка выхватила у нее серьги, разглядела, небрежно подбросила на ладони:

– Камешки-то треснутые... Сама носи! – И, кинув серьги чуть не в лицо Катьке, стремительным шагом пошла за дом, в темноту.

Оглядевшись, Илья увидел, что и во дворе уже совсем стемнело. Керосинка на столе освещала медный бок самовара и лица цыганок. Над лампой тучей вились мотыльки. Настя пыталась отогнать их, но они все летели и летели на крошечный огонек. Когда Илья подошел к столу, жена повернула к нему улыбающееся лицо:

– Ты тоже смотрел? Ну что за девочка! Никогда в жизни я такого не видала!

Сидящая рядом Илона гордо улыбалась.

– Присядешь с нами, морэ? Хочешь пряников?

Илья отказался. Сел на сырое от росы бревно возле стола, запрокинул голову, глядя в усыпанное звездами небо. Из-за черных ветвей яблонь поднимался молодой месяц. В Большом доме зажглись окна, в одном из них заиграла гитара, низкий голос запел «Ай, доля мири...», и Илья узнал Дашку. Заволновался было: «С кем это она там?» – но, посмотрев на сидящую и прихлебывающую чай Настю, успокоился. Достал трубку, раскурил ее от лампы и начал следить за тем, как постепенно пустеет двор. Матери загнали домой детей, молодежь собралась наверху, в комнате, где пела Дашка. Цыганки допили чай и, собрав посуду, тоже ушли в дом. Настя, поднимая пустой самовар, спросила:

– Ты идешь?

– Ступай, я скоро, – откликнулся Илья.

Ему не хотелось идти в душный дом, где полно народу. Кивнув, Настя ушла, и во дворе никого не осталось. Илья облегченно вздохнул; тут же лег прямо в мокрую траву, закинул руки за голову. Небо, казалось, приблизилось, заискрилось в вырезе яблоневых ветвей. Из соседнего сада купцов Щукиных тянуло запахом душистого табака и мяты. Где-то рядом протопал еж, шмыгнула серой тенью кошка. Соловей в кустах смородины заливался во всю мочь. Несмотря на упавшую росу, было тепло, земля еще не остыла от дневного жара. Лежа в траве, Илья уже начал подремывать, когда услышал вдруг тихое, чуть слышное:

– Морэ...

Он поднял голову, осмотрелся. Темнота. Никого.

– Илья...

Он встал. Двор был пуст, в доме горело лишь одно окно. На траве

лежали голубые пятна лунного света.

– Кто зовет? – недоумевающе спросил он.

У темной стены дома шевельнулась чья-то тень.

– Илья... Сюда.

Он пожал плечами и пошел на голос.

Возле угла дома, полускрытая кустами сирени, чернела вкопанная в землю бочка для дождевой воды. Водная поверхность блестела в свете месяца. Тонкая фигурка склонилась над ней. Илья подошел вплотную. Удивленно спросил:

– Это ты?

– Я. – Маргитка повернулась к нему. Распущенные волосы падали ей на глаза, из-за спутанных прядей в лунном свете ярко блестели белки.

– Что ты, девочка?

– Ничего. Дай руку.

Он машинально протянул ладонь. Маргитка ухватилась за нее и, прежде чем Илья успел что-то сообразить, задрала юбку выше колен и опустила одну босую ногу в бочку с водой.

– Ой, хорошо-о-о... Ноги горят, как по углям плясала. Вовремя Яков Васильич нас разогнал, а то через минуту бы кровь пошла. – Она разбила отражение месяца, заболтав ногой, смутно белеющей в воде. Илья не отрываясь смотрел на эту обнаженную девичью ногу. По спине поползли горячие мурашки. – Стой... Теперь вторую. – Маргитка крепче сжала его руку, вытянула ступню из бочки, от чего юбка задралась до бедра, и начала поднимать другую ногу.

Но тут Илья, придя в себя, резко оттолкнул девчонку. Охнув, она взмахнула руками и повалилась в траву. Тишина. Месяц закачался в потревоженной воде, превращаясь в россыпь серебряных бликов. Соловей в смородине продолжал выводить свою песню.

– Эй... – через минуту молчания озадаченно позвал Илья.

Из темноты донесся приглушенный смех:

– Что «эй»? У меня имя есть!

– Бросила бы ты это дело, девочка, – помолчав, сказал Илья. – Ни к чему оно. Ни тебе, ни мне.

– За меня не говори, – возразила Маргитка. Голубоватый свет упал на ее лицо – спокойное, серьезное. Присев на влажно блестящий край бочки, она опустила ноги в траву. Илья стоял рядом, смотрел на отражение месяца в воде и не мог понять, почему не уходит. С минуты на минуту из дома мог кто-то выйти, увидеть их – и тогда неприятностей не оберешься. Что это девчонке в голову взбрело? А хороша ведь, оторва... Не выдержав, он

осторожно посмотрел на Маргитку и увидел, что та, отбросив за спину перепутавшиеся волосы, сражается с пуговицами на груди. Расстегнув их, девушка распустила ворот платья. В вырезе мелькнула грудь. Встретившись глазами с ошалелым взглядом Ильи, Маргитка тихо рассмеялась, сунула руку в расстегнутый вырез платья – и вдруг чуть слышно ойкнула:

– Господи... Кусает кто-то! Илья, достань! Прошу тебя, достань, жук!

– Где, дура?

– Да там... На спине...

Понимая, что девчонка врет, чувствуя – добром это не кончится, Илья сделал шаг к ней. Маргитка тут же повернулась к нему, поймала за руку, притянула его ладонь к своей груди. Глаза девчонки, показавшиеся в темноте черными, очутились совсем близко, Илью обожгло дыханием.

– Послушай... Чего тебе бояться? Я ведь порченая. С тебя спроса не будет. Чем я тебе не хороша? Я лучше, чем Настька твоя, моложе... Я...

– Пошла прочь! – Илья вырвал руку и, не оборачиваясь, зашагал по седой от росы траве к дому. В голове был полный кавардак. Страшно хотелось оглянуться, перед глазами стояли соблазнительные картины: обнаженная до бедра нога, пропадающая в темной воде, молодая грудь в вырезе платья... По-прежнему как сумасшедший щелкал соловей, и в этом щелканье Илье отчетливо слышался смех Маргитки.

ГЛАВА 5

Гроза собиралась с самого утра. Над Москвой висело душное желтое марево, листья деревьев застыли от духоты, горячий воздух дрожал между домами, и стоило выйти на улицу, как спина немедленно покрывалась потом, а в висках начинало гудеть. То и дело небо темнело, из-за башен Кремля выползала синяя туча, москвичи с надеждой задирали головы, но тучу всякий раз неумолимо уносило за Москву-реку, и над городом снова повисала жара. Единственным разумным делом в эту погоду было сидение дома в обнимку с корчагой мятного кваса. По крайней мере, так казалось Илье, бредущему в слепящий полдень по безлюдному Цветному бульвару. Однако вернуться домой Смоляко не мог – как не мог этого сделать весь мужской состав хора, попавшийся сегодня утром под руку Митро.

Сам Илья считал, что сходить с ума вовсе незачем. Ну, нет Кузьмы третью неделю дома, так что ж теперь... Не баба небось и не сопляк, нагуляется – явится. Но Митро явно думал иначе, потому что, спустившись сегодня утром вниз, где ошалевшие от жары цыгане передавали друг другу теплый жбан с квасом, сразу же сказал:

– Нынче Кузьму ищем. Ну-ка, чявалэ{Ребята.}, встали все – и на улицу. Ж-ж-живо у меня!

При этом выражение лица Митро было таким, что возразить не решился никто. Ворча и поминая недобрыми словами самого Кузьму и его родителей, цыгане начали подниматься. На улице, с тоской глядя на выцветшее от жары небо, стали решать, кому куда податься. Молодые парни под предводительством Яшки отправились на Сухаревку, не унывающую даже в эту адскую жару. Двое братьев Конаковых взяли на себя публичные дома на Грачевке, где у них имелось множество знакомств, третий брат, Ванька, двинулся на ипподром. В кабаки Рогожской заставы пошли Николай и Мишка Дмитриевы. Илье Митро поручил заведение на Цветном бульваре, где днем и ночью шла крупная игра.

– Зайдешь к Сукову, скажешь «прикуп наш». Если спросят – от кого, говори: «Цыган Митро послал». Я сам по Хитровке покручусь.

– Не ходил бы, морэ, а? – попытался остеречь его Илья. – Там такие жиганы, зарежут в одночасье...

– Ничего не будет, меня там уже знают, – хмуро возразил Митро. – Вот ей-богу, найду паршивца – убью! Шкуру спущу, не посмотрю, что четвертый десяток меняет! Эх, ну надо же было твоей Варьке уехать! С

ним, кроме нее, и справиться никто не может.

Илья молчал, сам отчаянно жалея, что Варьки нет в Москве. Сестра уехала с табором на Кубань, и раньше осени ждать ее было бесполезно.

Дом Сукова, в котором помещалось нужное Илье «заведение», нависал над пустым Цветным бульваром бесформенной громадой. Он был таким же тихим, как и улица вокруг: постороннему человеку и в голову не могло бы прийти, что здесь с утра до ночи мечут карты, делят краденое и торгуют водкой. Стоя напротив, Илья неуверенно поглядывал на суковский дом. Он пытался разбудить свою совесть мыслями о Митро, который в эту самую минуту бродит по куда более страшным местам на Хитровке, но совесть не поддавалась, призвав себе в помощь здравый смысл: чужим в доме на Цветном не место. «И ножа не взял… И кнута…» – пожалел Илья, в сотый раз окидывая взглядом грязный, обшарпанный фасад «заведения», где, хоть смотри в упор, не было видно ни двери, ни даже мало-мальской дыры для входа. И куда тут залезать-то?.. Через крышу, что ли, мазурики шастают?

Сомнения Ильи разрешились через несколько минут. На его глазах прямо из залитой солнцем стены вылезла растрепанная баба со свертком, в котором легко угадывалась бутылка. Не обращая внимания на вытаращившегося цыгана, баба деловой походкой двинулась вниз по Цветному. Илья проводил ее изумленным взглядом, подошел к гладкой стене – и, к своему облегчению, увидел ступеньки, спускающиеся к подвальной двери. Теперь отступать было некуда. Вздохнув и пообещав себе, что, найдя Кузьму, он не станет дожидаться Митро, а лично покажет другу где раки зимуют, Илья начал спускаться по скользким, заплеванным ступенькам.

Дверь, к его удивлению, оказалась не заперта. Илья вошел, и первое, что захотелось ему сделать, это покрепче зажать нос: в подвале можно было свободно вешать топор. Запахи кислых тряпок, перегара, немытого тела и тухлой еды смешались в немилосердную вонь, от которой сводило скулы. С трудом переведя дыхание, Илья на всякий случай скинул картуз и огляделся по сторонам, ища хозяев.

В большой подвальной комнате стоял полумрак, к которому глаза Ильи привыкли лишь через несколько минут. Тогда он сумел разглядеть сырые, покрытые каплями воды стены и длинные ряды нар. На нарах было горами свалено какое-то барахло, над коим истошными голосами ругались каторжного вида личности в отрепьях. На стоящего у дверей Илью завсегдатаи «заведения» даже не взглянули. Тот снова растерянно осмотрелся и, подумав, пошел через зал к едва заметной двери, из-за которой выбивалась полоса света и слышались трезвые голоса. Илья уже

взялся за ручку, когда чей-то кулак ткнул его в грудь:

– Куды прешься, господин хороший? Слово знаешь? От кого будешь?

– Прикуп наш. Я от Митро-цыгана.

– Проходь.

Дверь открылась. Илья вошел, осмотрелся.

Он оказался в комнате без окон, единственной мебелью в которой был большой круглый стол. Над столом висела лампа, бросавшая тусклый свет на лица собравшихся вокруг него. Их было человек десять. Из-за стола доносилось: «бит валет», «десятка ваша», «тузы на руках» – и Илья понял, что здесь идет большая игра.

– Ты уж обожди, мил-человек, – прогундосили за спиной Ильи, и, обернувшись, он увидел низенького мужичонку, на котором была залатанная женская сорочка и один разодранный лапоть.

– Навроцкий банкует, так лучше покеда не мешаться.

«Навроцкий... Навроцкий... Кто таков?» Эта фамилия показалась Илье смутно знакомой. Усиленно напрягая память, он вспомнил: так звали любовника Данки. Несколько минут Илья медлил, но желание посмотреть на теперешнего Данкиного хозяина пересилило осторожность, и он, оттолкнув руку мужика в сорочке, подошел к столу. Никто не обратил на цыгана внимания. Голову подняла лишь толстая баба, сидевшая в углу комнаты на табуретке и мирно вязавшая чулок. Она смерила Илью внимательным взглядом, зевнула, отхлебнула из жестяной кружки и снова взялась за спицы. Игроки же не обернулись даже тогда, когда Илья подошел вплотную и уставился на банкомета.

Навроцкий был не стар: Илья не дал бы ему больше тридцати пяти. По тонким благородным чертам безошибочно можно было определить польскую кровь. Красоту этого лица портили изящно изогнутые брови, сделавшие бы честь звезде кафешантана, но на мужской физиономии смотревшиеся слишком манерно. Черные волосы Навроцкого блестели от брильянтина, нездоровый, пергаментный цвет кожи был заметен даже в полумгле. Глаза его, следящие за разлетающимися по столу картами (Навроцкий сдавал), не моргали, как у мертвого. Сходство с покойником усиливалось от света лампы, падающего сверху, отчего на лицо шулера ложились тени. Хорошо освещены были лишь его руки – тонкие, с длинными пальцами и тщательно отполированными ногтями, – которые привычно бросали карты на столешницу. Илья заметил, что по сравнению с окружившими стол игроками Навроцкий прекрасно одет. На нем был темный костюм с белоснежной сорочкой, в рукавах поблескивали яхонтовые запонки. Подивившись – что такой король делает в босяцком

заведении? – Илья взглянул на противника Навроцкого и едва сдержал негодующий возглас.

Напротив шулера с веером карт в руках сидел молодой князь Львов, студент Московского университета, веселый и красивый мальчик, частый гость цыганского дома, отчаянно влюбленный в дочь Митро Иринку. Илья знал, что еще год назад Миша Львов появлялся в Большом доме не один, а с отцом – князем Иваном Васильевичем, страстным цыганером, знатоком хорового пения, которого боготворила вся Живодерка. Отец и сын Львовы приходили в гости к цыганам запросто, приносили гостинцы молоденьким певицам, неизменно щедро платили за песни и пользовались уважением даже Якова Васильева. Львовы были богаты – им принадлежали два доходных дома в Москве, «родовое гнездо» на Пречистенке, несколько имений в Тульской губернии и знаменитое собрание картин. Но этой зимой скончалась княгиня Мария Афанасьевна, и Иван Васильевич, очень любивший жену, сразу сдал. Он перестал появляться в Дворянском собрании, на приемах у нового генерал-губернатора Москвы, на балах знати и все больше пропадал в своем тульском имении, занимаясь хозяйством и читая книги. К цыганам он теперь и вовсе не заглядывал, о чем те искренне жалели. Сына-студента князь ни в чем не ограничивал, без счета снабжая его деньгами и не особенно интересуясь, куда эти деньги уходят. Юноша, подолгу остававшийся один в Москве и предоставленный самому себе, начал входить во вкус веселой жизни.

Илья всегда был уверен, что свободное воспитание до добра не доводит, и теперь, глядя на Львова, убедился в этом окончательно. Скажите на милость, разве место желторотому мальчишке в подобном заведении? Да отца бы удар хватил, узнай он о сыновних выкрутасах! И Навроцкий хорош... Связался черт с младенцем, нашел кого «работать». Не зная, как ему поступить, Илья машинально следил за действиями поляка.

То ли слава Навроцкого, как первого в Москве шулера, была сильно преувеличена, то ли он не хотел тратить мастерство на зеленого мальчишку, но вскоре Илья убедился, что жуликует тот совсем грубо и ведет известную всем игру под названием «четыре туза в каждом рукаве». По крайней мере, за те полчаса, что Илья стоял здесь, мимо него промелькнуло две козырные дамы и три десятки. Как этого не замечал молодой князь, было уму непостижимо. Поглядывая на него, Илья видел, что юноша по уши захвачен игрой: его карие глаза лихорадочно блестели, пальцы нервно вздрагивали при каждой карте, сброшенной Навроцким. Судя по количеству ассигнаций на столе, игра шла давно и явно не в пользу молодого человека. Илья все еще колебался – вмешиваться или не стоит, –

когда Львов вдруг наморщил лоб.

– Позвольте, господа, – вдруг удивленно проговорил он. – Я отлично помню, что козырной король вышел. Ну как же, он убил мою даму... Разумеется, вышел!

– Что пан хочет этим сказать? – высокомерно спросил Навроцкий. Его красивое лицо приобрело оскорбленное выражение. – Пан находится в порядочном обществе. Здесь не принято бросаться подобными выражениями.

– Я никого не хотел обидеть... – растерялся юноша. – Но, право же, король... Может, это ошибка? Проверим карты?

«Порядочное общество» вокруг стола взорвалось возмущенными голосами. Львов вздрогнул, осмотрелся, словно лишь сейчас сообразив, где находится. На его мальчишеском лице явно выразился испуг.

– Продолжаем игру! – отрывисто бросил Навроцкий.

Губы Львова дрогнули. Тихо, но твердо он произнес:

– Не буду. Вы передергиваете.

– Что? – Навроцкий поднял бровь, нехорошо усмехнулся.

Илья понял, что пора вмешаться, и, проклиная про себя последними словами Митро, Кузьму и свою дурную голову, шагнул к молодому князю.

– Ну-ка, Михаил Иваныч, идемте-ка отсюда. Вас папаша уже с фонарями обыскавшись. Третьего дня из имения приехали, вся полиция на ушах стоит, по городу носятся.

Львов вздрогнул, повернул голову. С его лица еще не сошло испуганное выражение, когда он выговорил:

– Илья, это ты?

– Ну, место ли вам здесь? – как можно суровее сказал Илья. – Идемте, говорю, да поживее.

Молодой князь неловко поднялся. Навроцкий встал тоже. Илья посмотрел на него, оглянулся по сторонам и понял, что их отсюда просто так не выпустят.

– Послушай-ка, приятель... – В голосе Навроцкого сильнее обозначился польский акцент: он начинал выходить из себя. – Ты здесь откуда? Сюда легко войти, дверь не заперта, а вот выйти... Матка боска{Матерь божья (*польск*.)}, у тебя могут быть неприятности!

– Как бы я тебе неприятностев не налепил, – как можно спокойнее ответил Илья, хотя у него уже тряслись все поджилки. Он не сомневался, что справится с Навроцким, но вот с его шайкой...

– Прошу по-доброму, уходи! – вполголоса процедил Навроцкий, и Илья понял, что это последнее предупреждение.

– Илья, оставь, ступай... Это мои заботы, – дрожащим голосом вмешался мальчик.

– Пан говорит дело, – усмехнулся Навроцкий. Краем глаза Илья заметил, что их уже обступили. А посему не стал терять времени и молча «закатал» Навроцкому в челюсть. Тот кубарем отлетел к стене, вскочил с перекошенным лицом, кинулся на обидчика. Илья чудом успел перевернуть стол, карты и деньги посыпались на пол, диким голосом завопил сбитый им походя с ног оборванец, но на Илью уже навалились трое. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы с места, отбросив носок, не вскочила толстая баба, про которую Илья совсем забыл. В тусклом свете лампы он увидел широкое курносое лицо.

– Молча-а-ать! – гаркнула вдруг она хорошо поставленным голосом частного пристава. К изумлению Ильи, оборванцы, державшие его, тут же вскочили на ноги и чуть ли не вытянулись, как рекруты на плацу. Баба, кряхтя, нагнулась за своей жестяной кружкой. Деловито сказала:

– Рвите когти, зеленые ноги! – и запустила кружкой в лампу. Раздался звон, стало темно, послышались вопли и проклятия. Илья на ощупь подобрал с пола несколько ассигнаций, схватил за руку молодого князя и рванулся к двери. У выхода их попытались схватить, но тут уже Львов, придя в себя, дал нападавшему сдачи. Тот завыл, дверь распахнулась – и Илья с князем вылетели на залитый солнцем Цветной бульвар...

– Илья, я не могу больше! – взмолился юноша уже на Трубной площади.

Тот остановился, перевел дыхание. Оглянувшись назад, с облегчением понял: не догонят. Да и вокруг уже было полно народу, на углу прохаживался потный городовой, у тротуара толпились извозчики.

– У тебя кровь... – испуганно сказал молодой князь.

– Где?

Илья провел ладонью по лицу, поморщился, нащупав ссадину, и кисло подумал, что сегодня вечером ему с хором точно не выйти. Не замазываться же тестом с кирпичной пылью, как Кузьме... Так и не нашелся этот паршивец! Только зря из-за него в чужую заваруху влез.

– Совести в вас нету, Михаил Иванович, – сердито проворчал Илья. – Ну за каким чертом вас в эту дыру потащило? Да еще в очко играть сели! Ваше дело – в ниверситете книжки разные читать, а не в карты дуться. Ваша мамаша, поди, трижды в гробу перевернулась, на вас глядя! Воля же вашему батюшке держать вас так свободно. Да если б мой Гришка в такое вляпался – из-под кнута бы у меня не встал!

Юноша поежился. Помолчав, спросил:

– Скажи, а верно, что отец приехал? – Илья недоумевающе взглянул на него, и Львов, покраснев, пояснил: – Я ведь уже неделю не был дома...

– Пороть вас некому, ваше сиятельство, – заметил на это Илья. Но, посмотрев в смущенное лицо молодого человека, сжалился: – Да нет, нету Ивана Васильича. Из имения так и не возвращались. А вы бы ехали туда, к нему. Вам лучше в городе-то пока не показываться. Я этих жуликов знаю, лихой народ.

Услышав о том, что отца нет в Москве, молодой князь даже сумел улыбнуться.

– И то дело, Илья. Сегодня же и поеду, вот только зайду в университет...

– Деньги возьмите. – Илья вытащил из кармана смятые бумажки и сам удивился, как много их оказалось. Хватал-то вроде первое, что под руку сунулось, а вот поди ж ты – целый капитал.

– Оставь себе, – решительно отказался Львов. – Ты рисковал жизнью из-за моей глупости.

Теперь пришел черед смутиться Илье.

– Ну, вот ерунда... Не разбрасывайтесь, ваша милость. Вам ведь и к папеньке нужно будет с чем-то ехать. И в ниверситете небось книжка какая понадобится...

– Нет! Не возьму! Позволь мне тебя отблагодарить! Возьми хотя бы часть! – Львов силой засунул несколько ассигнаций в карман Илье. – А вот эти деньги передай, пожалуйста, Ирине Дмитриевне, я ей обещал.

– Ну, бог с вами. Спасибо. Смотрите уж, больше с мазуриками не вяжитесь.

Последнее «благодарю» молодой Львов выкрикнул уже из извозчичьей пролетки. Илья помахал вслед, подождал, пока экипаж скроется за углом, и лишь тогда вытащил навязанные князем ассигнации. Пересчитав их, повеселел, тут же решив, что Ирина Дмитриевна обойдется, и уже повернул было к трактиру, когда сзади его окликнули:

– Эй! Смоляков! Илья! Сто-о-ой!

Голос был женский, и Илья, от неожиданности едва не давший стрекача в переулок, остановился. Через площадь к нему, размахивая руками, неслась та самая толстая курносая баба из суковского заведения.

– Илья! Ну, что ж такое! Кричу-кричу, а ты как оглох! – Подбежав, она с размаху ухватилась за его рукав, и на растерявшегося Илью весело взглянули желтые, круглые, наглые очи Катьки Пятаковой, бывшей горничной Баташевых.

– Ты?! – ахнул он.

– Слава тебе, святая пятница, – признал наконец! – хмыкнула Катька. – А я вот тебя сразу узнала. Глазищи твои чертовы ни с чьими не спутаешь. Ну, как живешь-поживаешь, дух нечистый? С побываньицем тебя!

Илья молчал, разглядывая Катьку. Она была одета в коричневую набивную юбку и, несмотря на жару, длиннющий заплатанный шушун. Волосы скрывал нарядный шелковый платок. Катька сильно раздобрела и выглядела необыкновенно важной – особенно когда, чинно взяв Илью под руку, зашагала рядом с ним по Трубной.

– Давно ль в Москве, аспид?

– С Пасхи.

– А зачем, нам на радость, в заведение прибыл?

– По делу.

– Живешь на старом месте? Жена с тобой? Детей много родил? Да станешь ты отвечать или нет?! – наконец лопнуло Катькино терпение. – Или я так и буду из тебя клещами тянуть? Может, ты теперь, антихристова морда, такую важность заимел, что со старой любовью зазорно словом перекинуться? А если я об тебе все эти годы вздыхала, а?! Если сохла?!

– Это ты-то сохла? – ухмыльнулся Илья, оглядывая внушительные Катькины формы. – А что ты сама-то у Сукова делала? Видит бог, если б не ты – пропал бы.

– Да если бы не я, ты бы еще черт знает когда пропал, – успокаиваясь, проворчала Катька. – А у Сукова... Али ты не слыхал, что я там хозяйка?

– Ты-ы-ы?!

– Ну, я. – Катька снова улыбнулась, уже без ехидства. – Я ведь, Илья, в своей жизни не потерялась. Когда ваша с Лизаветой Матвеевной история закончилась, я к купцам Григорьевым горничной прыгнула. Там замуж вышла за Фаимку-дворника. А когда он хозяев обокрал да на Хитровку нырнул, я за ним подалась. А на Хитровке, сам знаешь, честной мадамой не проживешь. Понемногу-полегоньку и мы с Фаимкой в люди выбились, свое заведение открыли.

– Ну и дела... – только и смог сказать Илья. Помолчав, фыркнул: – Фаимка-то – татарин? С нехристем, выходит, живешь?

– Я его Фомой Иванычем зову. А ночью, Илья, все едино – что нехристь, что православный. Оченно хорошо у него с детьми получается, каждый год из меня по двойне вылазит. Правда, – Катька хихикнула, – все на него не похожи. Но, значит, моя кровь гушше.

– Как была потаскухой, так и осталась, – подытожил Илья.

Катька, ничуть не обидевшись, по-мужски присвистнула сквозь зубы.

– Все по бедности да по глупости нашей... Да, может, Илья, мне так и

лучше. Я ни о чем не жалею. Если мне кого и было на старом месте, у Баташевых, жаль, так это Лизавету Матвеевну голубушку. Кто выл-то громче всех на похоронах? Я! Даже кухарка наша, Кондратьевна, меня переголосить не смогла.

Илья промолчал. Чуть погодя, отведя глаза в сторону, спросил:

– Слушай, Катерина... Ты ведь была там тогда, видела... Ну, когда Баташев ее... Ты помнишь?

Улыбка исчезла с круглого лица Катьки. Она вздохнула.

– Как не помнить, Илья... По сю пору во сне все это видится. Мы ведь в ту ночь не его, а тебя ждали. Помнишь, я тебя даже и в дом протащить успела, под лестницей спрятать. И вдруг разом кони, подводы, мужики набились: хозяин приехал! Иван Архипыч, конечно, в сильном подпитии были... но, бог-свят свидетель, ничего бы не случилось, кабы не Лизавета Матвеевна! Лопнуло у бабы сердце! По закону, ей бы ему на шею кинуться, выть-голосить от радости, а она... Заголосила, да только не то, что положено. На весь дом заявила: «Да чтоб ты сдох, постылый, когда я от тебя мучиться перестану?!» Я так за занавеской на пол и села! А барыня на него, как волчица, кинулась, полбороды разом вырвала да вилкой его, вилкой! Не попала, знамо дело, а он как зарычит, как пойдет ее, да чем ни попадя... – Катька вздрогнула, умолкла. Искоса взглянула на Илью, но тот смотрел в землю.

– Крови, Илья, много не было. Упала Лизавета Матвеевна, птичка моя серая, вздохнула спокойно так: «Илюша, свет мой...» – да и замерла. Но там уж я взревела медведем – и на улицу, потому как спужалась, что Иван Архипыч под горячую руку и меня пристукнут. А на дворе шум, гам, цепи лязгают, мужики орут – это как раз тебя твои отбивали. Цыгане – за ворота, мужики – за цыганами, Мирон-дворник – за мужиками, я – за Мироном... Рассказала ему про барина с барыней, и побежали мы с ним в участок. Вот так, Илья. О-ох, грехи наши тяжкие... Тебе-то, чертова морда, все легко с рук сошло. Подумаешь – отметелили.

Илья молчал. Молчала и Катька. Уже сворачивая в переулок, она негромко сказала:

– А знаешь, я четвертого дня в магазине на Кузнечном твою жену видела. Сразу ее узнала, хоть и... Она ведь такой красавицей была!

– Она и сейчас...

– Сейчас против прежнего ничего не осталось! – без обиняков заявила Катька. – Неужто это ты ей личико испортил? Как тебя только земля держит, каторга? На такую красоту руку поднять...

– Да чтоб тебя!.. – внезапно заорал Илья так, что в двух шагах от него,

заржав, шарахнулась в сторону извозчичья лошадь, а сам извозчик чуть не свалился на землю. – Сговорились вы, что ли, нечисть?! Что – хужей меня людей на свете нету?! Выродок Илья Смоляков?! Анафема?! А ну, пошла прочь, дура, подстилка хитрованская! Сейчас и тебя зарежу до кучи!

Катька ничуть не испугалась. Улыбнулась, пожала плечами и не спеша пошла в сторону Сухаревки. Илья сел, где стоял, – на желтый от пыли тротуар, уронил голову на колени, стиснул зубы. Он и сам не ожидал, что зайдется от Катькиных глупостей, но по сердцу вдруг резануло так, что трудно стало дышать.

Да что же такое... Даже эта дура Катька, даже она... А цыгане? Они-то что думают? Ведь уже куча народу спросила у него про Настькины шрамы, и все как один – «твоя работа»? Никому и в голову не пришло, что он жену ни разу пальцем не тронул. Никто не верит! Даже Митро, и тот морщился, когда Настька рассказывала ему про то, как спасала мужа от казаков. А Яков Васильич? А Конаковы? А Кузьма? Что ж он, Илья Смоляко, в самом деле паскуда распоследняя? И все, кроме Настьки, это знают? А может, и она... может, и Настя... От последней мысли у Ильи потемнело в глазах. И словно не было семнадцати лет, прожитых вместе, словно не было семерых детей, дочери на выданье, сына-жениха, – разом вспомнилось то, что острым камнем сидело в его сердце все эти годы. Давний ночной разговор с женой после того, как им подбросили Дашку. Тогда он впервые осмелился спросить у Насти: «Жалеешь, что связалась со мной? Уедешь теперь?» И до сих пор он не мог спокойно вспоминать короткий ответ жены: «Куда ехать? Дети...» У него тогда совести не хватило спрашивать дальше – так и молчали до утра. И позже тоже спросить он не решался.

Может, с тех пор у Настьки и перегорело все. А он понял это только сейчас, глядя на то, как она светится здесь, в Москве, в хоре, среди своих. Из-за детей не уходила от него. И наверняка думала, что он ей жизнь сломал. Думала и молчала, не говорила ни слова, потому что какой толк в разговорах, если все равно живут вместе и поднимают детей? А он, как дурак, и в мыслях не держал ничего.

Да в чем, если подумать, он виноват? В том, что однажды ночью их с Мотькой накрыли в овраге? Что Настька помчалась его выручать? А может, и в том, что Дашка ослепла, тоже его вина? В наказание ему, что ли, бог тот ураган проклятый послал? Нет, ни в чем он не виноват! И Настька это знает, но... отчего же так завыть хочется?

На руку, просочившись сквозь рубаху, упала холодная капля. Илья передернул плечами, поднял голову. Над переулком сходились краями тяжелые грозовые тучи. Воздух заметно посвежел, по макушкам лип и

кленов понесся ветерок, несколько сухих листьев, пролетев мимо, мазнули Илью по лицу. За Сухаревой башней уже громыхало. «Сейчас польет», – подумал Илья и тут же отчетливо понял, что ни идти домой, ни ехать вечером в ресторан он не хочет. Не хочет и не поедет. Не нанимался. Пропади они все пропадом!

* * *

Гроза, навалившаяся на Москву после нескольких недель жары, была ужасной. Черное небо дымилось и клокотало, сотрясаемое громовыми раскатами, молнии разрезали его вдоль и поперек, освещая город как днем. По улицам и бульварам бежали кипящие потоки воды. Извозчиков и пешеходов словно смыло, улицы были безлюдными, и лишь вниз по Живодерке, матерясь, несся сломя голову взъерошенный, мокрый до нитки Илья.

Переждать дождь он рассчитывал в трактире. Но часы шли, ливень не прекращался, а время уже подбиралось к вечеру. В конце концов Илье показалось, что в сизых тучах появились просветы, и он, расплатившись с половым, вышел из трактира под дождь: «Не сахарный небось». С неба и в самом деле уже еле капало, но стоило Илье перейти Тверскую и повернуть на Большую Садовую, как невесть откуда навалилась новая, огромная и черная, словно адская копоть, туча, и полило как из ведра. Илье пришлось плюнуть на свои тридцать семь лет и, как мальчишке, подхватившись, мчаться по Садовой домой. Но обиднее всего было то, что сей кавалерийский галоп не помог. Когда Илья взлетел на крыльцо Большого дома, на нем нитки сухой не осталось.

В доме было тихо: цыгане ушли в ресторан. Стоя в сенях, Илья прислушался – никого. Только из кухни доносился раскатистый храп: видимо, там под дождь отдыхала кухарка. Оба сапога Ильи немедленно полетели в угол, вслед за ними отправилась и рубаха, а сам Илья пошел в нижнюю комнату, на ходу вытирая голову чьей-то подвернувшейся под руку шалью.

В нижней комнате было пусто и темно. По незанавешенным окнам сбегали струйки воды, под одну из ставней подтекло, и капли сочились на пол, образовав небольшое озерцо. То и дело комнату озаряли вспышки молний. Когда Илья вошел, за окном ударило так, что затряслись стекла, и из-за старого дивана послышался дрожащий шепот:

– О, далэ{Мама.}, далэ, спаси, господи...

Илья молча метнулся обратно в сени. Вернулся через минуту, с трудом натягивая на себя мокрую рубаху, и удивленно уставился на диван:

– Девочка, это ты?

– Я... – Испуганная Маргитка на четвереньках выбралась из-за дивана. – Ох, слава богу, что ты пришел. Так гремит, так сверкает, как будто конец света. Знаешь, как я перепугалась?!

– Шла бы на кухню, там Никитишна.

– Это не Никитишна, а Кузьма. Днем отец с Хитровки притащил. Уж орал, мама моя!

– Митро или Кузьма?

– Оба... – вздохнула Маргитка, запуская руки в распущенные волосы и старательно встряхивая их. Ее синяя домашняя юбка покрылась задиванной пылью, рваная старушечья кофта была наброшена прямо на рубашку.

– Хоть бы лампу зажгла, глупая, – проворчал Илья, проходя к столу. – Ты почему с нашими не поехала?

– Ногу подвернула.

– Что-то не видно.

– Так уже прошло.

Илья посмотрел с недоверием. Маргитка улыбнулась, пожала плечами, и кофта ее сползла на спину. В вырезе рубахи открылись смуглые хрупкие ключицы, и Илья, протянувший за лампой руку, так и не донес ее.

С того теплого вечера, когда Илья чуть с ума не сошел, глядя на голые ноги Маргитки, прошел почти месяц, и девчонка, казалось, выбросила дурь из головы. На другой день она поздоровалась с Ильей как ни в чем не бывало, широко улыбнулась на его мрачный взгляд – и за весь месяц не сказала Илье ни слова. Словно не она поднимала юбку выше колен, бесстыдно показывая стройные ноги, не она смеялась, держа его за руку и заставляя ловить жука на своей спине... Сначала Илья подумал, что чертова кукла играет с ним, затем, видя ее безразличие, понемногу успокоился. А неделю назад увидал Маргитку с Гришкой на качелях в саду. Девчонка тихонько покачивалась и с самым смиренным видом вертела во рту стебелек ромашки. Гришка стоял рядом, придерживая веревку, и, судя по выражению лица, что-то врал. Мешать им Илья не стал, хотя про себя с досадой подумал: вот только этого не хватало... Влюбится еще, теленок, решит жениться... а не сватать же за собственного сына потаскуху, которой все едино, что вор с Сухаревки, что цыган, который ей в отцы годится. И тут совсем некстати вспомнились длинная нога в глубине дождевой бочки, распущенные кудри, грудь под тонкой рубашкой, тихий смех – и спина

покрылась потом, и нестерпимо захотелось перекреститься, потому что... Не к добру все это. Совсем не к добру.

Маргитка зажгла лампу сама, подойдя вплотную к Илье и чуть не коснувшись волосами его лица. Илья шагнул в сторону, но она словно не заметила этого. В неверном, тусклом свете лицо Маргитки казалось совсем взрослым. Илья против воли залюбовался ее стройной фигурой, заметной даже под бесформенной кофтой и падающими на плечи и грудь волосами.

– Ты мокрый весь, – не оборачиваясь, проговорила она. – Оденься в сухое, я выйду. – И, прежде чем Илья успел что-то сказать, ушла в сени, а он полез на печь в поисках сухой одежды.

Маргитка вернулась, прижимая к себе жестянку с чаем.

– Самовар поставила. Чаю выпьешь?

– Лучше водки, – передернул плечами Илья. – Замерз, как лягушка, под дождем этим.

– Водки нет, мадера есть. – Маргитка достала из-под стола начатую бутылку. – Будешь?

– Давай.

Она налила ему сама в зеленый граненый стакан. Сев за стол и подперев подбородок кулаками, внимательно проследила, как Илья пьет вино, затем приняла стакан.

– Еще?

– Хватит. Все, я наверх...

– Подожди.

Илья, уже приподнявшийся было со стула, сел обратно. Тут же пожалев об этом, встал снова, но Маргитка, нахмурившись, замахала рукой:

– Да сядь ты, господи, морэ... Ты что, боишься меня? Не съем небось.

– Много чести – бояться тебя.

– Вот и не бойся. – Маргитка придвинула к себе стакан, взяла бутылку. – Насильно на себя не потяну. Про то, что тогда было, не вспоминай. Я ни за одним мужиком не бегала и за тобой не стану. Что делать, если ты от девок шарахаешься, как жеребец пуганый.

Илья промолчал, в который раз подавив желание дать девчонке затрещину. Но на лице Маргитки не было насмешки, и вина она себе налила, не поднимая ресниц. Снова ударил гром, синяя вспышка осветила бегущие по стеклу капли и качающиеся за окном ветви сирени.

– Я только спросить у тебя хочу. – Маргитка, пригубив мадеру, взглянула на него из-за края стакана в упор. – Ты мою маму помнишь? Какая она была? Цыгане говорят, вы с ней у одной хозяйки стояли, когда она меня рожала.

– Мать твоя – Илона, – отвернувшись, буркнул Илья.

– Бог мой, Илья, хоть ты-то не болтай! – Маргитка сморщилась, как от зубной боли. – Уж кому-кому, но не тебе... Это верно, что ты меня, маленькую, на руках держал?

– Ну, было дело...

– А сейчас открещиваешься. Какая она была – мама?

– Красивая очень. Ты на нее похожа, но Ольга лучше была. – Говоря это, Илья ждал – сейчас Маргитка вскинется, но та лишь молча кивнула. – Умная. Читать меня выучила.

– Тебя? – прыснула Маргитка. – А ты неграмотный был?

– Да где же, девочка, я мог бы грамоту узнать? Мы ведь таборные.

– А отца ты не видел?

– В живых не застал. Но, говорят, хороший человек был.

Илье не нравился этот разговор. Уж если ни Митро, ни Илонка не захотели говорить с девчонкой о ее настоящих родителях, – значит, так нужно им было. И остальные цыгане, кажется, не очень трепались. Может, и верно – ни к чему ей много знать. И так голова дурью забита.

– Она отца очень любила? – Не дождавшись ответа, Маргитка встала, прошлась по комнате. – Наверное, очень... Не побоялась ведь никого: ни мужа, ни других цыган. Я, Илья, думаю, что так и надо. Когда любишь, бояться незачем. И молчать ни к чему. Другого-то раза, может, и не будет.

– Какого еще раза? – удивился он. Маргитка остановилась в дальнем углу.

– Я люблю тебя, Илья.

Он и слова не успел сказать – а она уже подбежала и встала рядом. Волосы снова упали ей на лицо, и Маргитка резким движением перекинула их через плечо. Илья увидел жгут перепутавшихся кудрей, тускло блестящих в свете лампы. Глаза Маргитки тоже блестели, лицо было напряженным.

– Я люблю тебя, – не отводя взгляда, повторила она.

Илья опустил глаза.

– Шутишь, девочка?

– Какая я тебе девочка? Мне семнадцать! В таборе уже своих детей имела бы!

– У меня дочь такая, как ты. – Илья не слышал собственного голоса, стараясь унять поползшую по спине дрожь, видя – девчонка не шутит. – Что, помоложе никого не нашла?

– Кого? Сопляков наших? Носы им вытирать?! Не хочу! – почти выкрикнула Маргитка, стукнув кулаком по столу. – Может, ты боишься, что

Настька твоя что-нибудь узнает? Не узнает, Илья! Спасением души клянусь.

– Да чего же ты хочешь? – ошалело выговорил он.

Маргитка опустилась на колени возле ног Ильи и взяла его за руку. Уродливая кофта упала на пол, в пятно света.

– Илья... Я же не противная тебе, я знаю. Не отворачивайся. Я видела... как ты на меня смотрел. На дочерей так не глядят.

Глаза ее были совсем близко, огонек лампы плясал на дне их зелени, как отражение костра – в реке. Призвав на помощь господа и всех угодников, Илья отстранился, но Маргитка подалась вслед за ним.

– Девочка, не вводи в грех. – Язык его уже не слушался. – Митро – брат мне...

– Он же мне не отец! Он же мне не отец... Не бойся... Ничего не бойся, я никому не скажу. Никто не узнает! Илья! Я же люблю тебя, я люблю тебя! Святая правда! – Маргитка вдруг прильнула к нему всем телом. Теплые волосы упали на лицо Ильи, под рукой оказалась упругая девичья грудь, шею обожгло неровное дыхание Маргитки, и он не смог оттолкнуть ее.

– Чяери, но как же...

– Молчи-и...

За окном ударило так, что задрожал дом. В свете молнии Илья увидел глаза Маргитки, полуоткрывшиеся губы, сползшую с плеча рубашку. Поймав его взгляд, Маргитка дернула эту рубашку так, что та с треском разорвалась, и прямо перед глазами Ильи оказались худые ключицы и маленькие круглые груди с вишнями сосков. И у какого бы мужика осталась на месте голова при виде всего этого? Разве что у святого... А святым он, Илья Смоляко, не был никогда. И лишь когда волосы Маргитки уже смялись под его руками и полетела в угол ее юбка, а сама Маргитка, запрокинувшись в его руках, застонала сквозь зубы от боли, Илья почуял неладное. Едва справляясь с накатившей одурью, сумел все-таки спросить:

– Девочка, что это? Ты разве не...

– Давай!!! – не своим голосом закричала Маргитка, прижимаясь к нему, ее крик утонул в раскате грома. И больше Илья не думал ни о чем.

Впоследствии, вспоминая эту ночь, Илья не мог понять: как ему не пришло в голову, что в доме, кроме них с Маргиткой, были Кузьма, кухарка, бабка Таня и, наконец, его же собственные дети. И в любой момент кто-то из них мог заглянуть в залу. Но он не подумал об этом даже тогда, когда все было кончено и Маргитка, сжавшись в комок, всхлипывала у него под рукой, а он гладил ее перепутавшиеся волосы. За окном шел дождь; затихая, ворчала уходящая за Лужники гроза. В пятне света лежала

смятая юбка Маргитки.

– Девочка...

– Что?

– Зачем ты это сделала? Зачем ты меня обманула? Ты же... Зачем?

– За спросом. – Маргитка выбралась у него из-под руки, встала на колени, через голову стянула порванную, измятую, перепачканную кровью рубашку. – Ну вот куда ее теперь? Выкинуть только...

Она о рубашке беспокоится! Илья сел на полу.

– Я тебя спрашиваю! С ума сошла? Ты же девкой была!

– Ох, да пошел ты... – Маргитка вытерла рубашкой слезы. – Да если бы я тебя не обдурила, ты б от меня так и бегал. Что – неправда?

Он не нашелся что сказать на это. Сев на полу, запустил обе руки во взлохмаченные волосы.

– Ох, глупая ты... И я не лучше. Что делать-то будем теперь?

– Делай что хочешь, – разрешила Маргитка, усаживаясь рядом. – Я – так жить помаленьку буду.

Точно – сумасшедшая. Илья обнял тонкие плечи Маргитки, почувствовал, как она прижалась к нему, и по спине снова побежала дрожь.

– Глупая ты девочка... Что ж ты со мной делаешь?

– Я тебя люблю. – Маргитка повернула к свету лампы заплаканное, казавшееся похудевшим, осунувшееся лицо. – Это правда, Илья. И не глупости, и не дурь. Со мной такого еще в жизни не было.

– Да сколько там жизни твоей... Птенчик желторотый.

– Ты что – не цыган? Маме тоже семнадцать было, когда она к отцу ушла. И Настьке твоей, когда она за тобой в табор сбежала. Скажешь, обе птенчиками были?

Настя... Илья опустил голову.

– Нехорошо вышло, девочка. У меня жена, дети...

– Да кто их у тебя отбирает? – Пальцы Маргитки вползли в его волосы, и Илья зажмурился. Молодая. Господи, какая же молодая... Горячая, тоненькая... От глаз, от волос этих – голова кругом, и что ты тут поделаешь?

– Я к тебе не замуж прошусь. Живи со своей Настькой, черт с тобой. Я тебя все равно любить буду. И ты меня, может, полюбишь. А если нет – что ж... Неволить не стану.

Лампа на столе замигала и погасла. В кромешной темноте Илья притянул Маргитку к себе, погладил, и она снова вся задрожала, обнимая его. Судорожно зарываясь лицом в рассыпавшиеся, теплые волосы прильнувшей к нему девочки, Илья подумал, что такого с ним не было

давно, очень давно. Он и не ждал, что когда-либо это вернется к нему.

С улицы донеслись сонные голоса цыган, дребезжание пролеток. Маргитка привстала на коленях, на ощупь нашла руку Ильи, прижала его ладонь к своей груди.

– Ну, Илья, все. Не было меня здесь. И сам ты только что из кабака пришел, понимаешь? А если, дай бог, не случится ничего, завтра... – Она притянула его к себе и торопливо, взахлеб зашептала на ухо.

Выслушав, Илья усмехнулся:

– Вот чертово отродье... Ладно. Беги скорей.

Маргитка исчезла мгновенно, подхватив с пола свою одежду, – словно и впрямь не было девчонки тут. Илья встал, взял со стола бутылку, с наслаждением сделал несколько глотков и растянулся на диване, уткнувшись лицом в подушку: пусть думают, что пьян в стельку. Эх, что за девка... Если бы можно было махнуть на все рукой и поверить ей...

Хлопнула дверь, в залу повалили цыгане. Увидев распростертого на диване Илью, они удивленно сгрудились на пороге. Митро потянул носом воздух, вполголоса выругался:

– Едрена Матрена, и этот туда же... Завтра обоих убью! Настька! Забирать это тело недвижное будешь?

– Да пусть уж тут остается, – расстроенно сказала Настя.

Илья услышал, что жена подходит к дивану, и захрапел во всю мочь. Пусть лучше завтра Митро голову с живого снимет, но только не объясняться сейчас с Настькой! Ей ведь одного взгляда хватит...

– Илья...

Он молчал.

– Кажется, спит. – Настя отошла.

– Вестимо, спит, – услышал Илья насмешливый голос Стешки. – Ну и какой тебе, золотая, с него доход? Одна забота – в кабак да на боковую...

– Замолчи. Пойдемте спать.

ГЛАВА 6

Ранний луч солнца пробился в щель между занавесками, прополз по стене, скатерти, половицам, взобрался по одеялу на постель и удобно устроился на носу Ильи. Тот поморщился, сердито заворчал. Лежащая рядом Настя, протянув руку, задернула занавеску. Луч обиженно прыгнул обратно на подоконник, замер на роскошном букете темно-красных пионов, с трудом помещавшихся в пузатом горшке. Настя улыбнулась, вспомнив о том, как вчера Илья и дети не могли взять в толк, откуда в запертой комнате сама собой появилась охапка цветов? Она, Настя, удивлялась и всплескивала руками вместе с ними, не желая выдавать сына Митро, который рано утром умудрился влезть с этим веником на ветлу под окном и ловко вбросить пионы в открытую створку. Притаившейся за дверцей шкафа Насти Яшка не заметил, а та, стараясь не шевельнуться, улыбалась про себя: зацепила Дашка парня... Где он только сумел отыскать такие пионы? Не иначе, у купца Толоконникова в саду похозяйничал. Хороший сын у Митро. Чем черт не шутит, может, повезет Дашке.

Илья, не открывая глаз, зашарил рядом с собой, сонно позвал: «Настька-а...» – и она дала ему руку. Он тут же успокоился, улыбнулся чему-то и снова захрапел. Настя, погладив встрепанные черные волосы мужа, вздохнула.

Где его вчера черти носили? В ресторан со всеми не пошел, хоть и обещал, невесть где болтался вечер и ночь, под глазом синяк... И не пьян был ни капельки, хоть и прикинулся, что – в стельку. Сумел бы он, пьяный, проснуться среди ночи, подняться в комнату да к жене под бок влезть, как же... Снова, похоже, начинается, грустно подумала Настя, вытягивая руку из ладони мужа и отодвигаясь на край постели. Опять красавица какая-то зацепила его, будь она неладна. Тридцать восьмой год мужику, вот-вот внуки пойдут, а все не уймется никак.

Вот знать бы ей обо всем с самого начала, семнадцать лет назад, когда глупой девкой она сбежала с этим чертом из отцовского дома. И куда сбежала – в табор! Жаль, что человеку своей судьбы ведать не дано. Если бы Настя хоть немного догадывалась о том, что за жизнь у нее будет с Ильей... Нет, все равно сбежала бы. Видит бог – все равно!

Если вспомнить, то не так уж страшно оказалось в таборе. Нужно было лишь привыкнуть, и Настя старалась изо всех сил. Вместе с Варькой вставала до света, разводила костер, носила воду, готовила еду, шла с

другими цыганками в деревню гадать и побираться. И... плакала от отчаяния и бессилия, глядя на гаснущий огонь, содранные до крови ладони, выплескивающийся из котелка на угли суп, фартуки цыганок, полные картошкой, салом, пирогами, украденными курами, и свой – пустой, как и рваная торба... Так уж повелось в таборах, что хлеб на каждый день достает женщина. Настя знала об этом, но одно дело – знать, а совсем другое – попасть вдруг в эту чужую жизнь. Кочевые цыганки учились всему с детства, любая таборная девчонка уже в три года бегала с матерью на промысел. А Настя? Она, городская певица, ведать не ведала до замужества, как это – гадать и попрошайничать. Спасибо Варьке – не бросала ее. А Илья...

Может, поэтому она и любит его до сих пор. И прощает все: и загулы, и пьянки, и баб его несчитаных... Прощает потому, что в тот первый, самый трудный год в таборе Илья ни словом не упрекнул ее, растерянную, неумелую, не знающую, как добыть денег в семью. Не упрекнул, не обругал, ни разу не бросил в сердцах, что вот, мол, у всех бабы как бабы, а у меня... А о том, чтобы кнут поднять на жену, у Ильи и в мыслях не было. Настя это знала наверняка, хотя любой другой цыган в таборе мог до полусмерти избить свою бабу, не принесшую вечером добычи. А Илья еще и подсмеивался над расстроенной Настей, показывающей ему вечером свои копейки:

– Это что такое? Достала? Ты?! Ну – прямо миллион без рубля! И чего ты их мне принесла? Пошла бы да леденцов себе купила или книжку... Ну, что ты плачешь, глупая? Что я, не знал, кого брал? Проживем, ничего... Вон, Варька что-то приволокла, идите жарьте.

Да, самым трудным было то время. Но и самым счастливым. Пусть теперь тетя Маша, Стешка, сестры и прочая родня охают и жалеют ее. Ничего они не знают. И не понимают того, что сейчас Настя полжизни бы отдала за то лето, когда они с Ильей так любили друг друга и, казалось, все несчастья на свете им нипочем. А потом беды посыпались, как горох из порванного мешка, и до сих пор мороз по спине, как вспомнишь...

Настя встала с постели, подошла к столу, повернула к себе круглое зеркало в деревянной раме. Внимательно, словно за прошедшую ночь что-то могло измениться, всмотрелась в свое лицо. Слегка улыбнулась.

А что, очень даже и ничего она еще. Особенно если левой щекой не поворачиваться. Она сама давно к этим бороздам на лице привыкла, а вот родня... Всполошились, как куры на насесте: «Ах, бедная, ах, несчастная, ах, красота пропала...» Да бог с ней, с красотой! Жаль, конечно, все-таки хороша она, Настя, была в девках, но... Не помчись она той проклятой

ночью в овраг спасать мужа – сидела бы сейчас вдовой, как Варька. И такой же бездетной. Все в таборе удивлялись потом, почему жена Смоляко совсем не плачет по своей красоте. Не объяснять же было им, что она не только красоту – душу бы черту продала за то, чтобы муж бросил опасный промысел. Если честно, Настя даже радовалась случившемуся, забыв, что чуть не отправилась на тот свет и что лицо теперь до смерти останется изуродованным. Зато больше не придется бродить в потемках по табору, ожидая Илью с чужими лошадьми в поводу, зажимать ладонью сердце, раскидывать дрожащими руками карты, умирая от страха – вдруг выпадет черная. За это даже жизни целой не жаль, а красота... пропади она пропадом. Тем более что скоро Настя поняла: она ждет ребенка. Своего Гришку, первенца.

Когда в Смоленске у Ильи появилась другая женщина, цыганки доложили Насте об этом сразу же. Всю зиму она втихую плакала, ничего не говоря мужу. Пользы в таких разговорах Настя не видела никакой, да и Илья, едва узнав, что жена в тяжести, теперь все вечера и ночи проводил дома. И, может, все бы так и сошло на нет само собой, если бы ранним весенним утром к их дому не подбросили корзинку с Дашкой, которой тогда был месяц от роду.

Настя закончила расчесывать волосы, уложила их в низкий узел, вогнала на место последние шпильки. Подумала о том, что бог все-таки сделал все правильно той весной. Тогда, глядя на пищащий комочек в корзине с соломой, точную копию мужа, Настя всерьез думала о том, чтобы кинуться с обрыва в реку. Удержал только крошечный Гришка в люльке. И до самой осени Настя не могла прийти в себя, да и Илье было не лучше – слава богу, что Варька жила с ними и хоть как-то разгоняла тишину. Два месяца Настя не могла заставить себя заговорить с мужем, а Илья, понятное дело, не настаивал. Кажется, он тогда в самом деле боялся, что Настя уйдет... Глупый. Куда было ей идти от двоих детей?

Зато теперь у нее есть Дашка, доченька, красавица, огонечек-радость, единственная девочка на всю ораву мальчишек. И кто вспомнит теперь, что Настя ей не кровная мать? Не велик труд родить... А вот нянчиться с дитенком, да ночей не спать, кормить, пеленки менять-стирать, качать и баюкать, ставить на ножки, шить первые платьица, мастерить из тряпок кукол и плакать от радости, слушая пение трехлетней дочери... А скоро еще, бог даст, нужно будет выдавать ее замуж. Не сглазить бы только.

– Девочка... Где ты?

Настя, вздрогнув, обернулась. Илья вздохнул во сне и снова позвал:

– Девочка...

Настя села на постель, тронула мужа за плечо. Он, мотнув головой, открыл глаза. Сонно сказал:

– Господи... Настька?

– Приехали – распрягай... А ты кого звал?

– Как кого? Тебя...

Она насмешливо подняла брови. Илья улыбнулся в ответ, и по этой улыбке Настя поняла, что он врет.

ГЛАВА 7

– Эй, стой! Говорят тебе, останови!

Извозчик, выругавшись, натянул поводья, и бурая клячонка с вытертой на боках шерстью, фыркнув, остановилась посреди Воздвиженки.

– Чего «стой», барыня? Уговор был – к «Яру»...

– Передумала. – Данка на всякий случай еще раз встряхнула мелочь на ладони, но полтинника не было, хоть убей. Не было! А утром был! Куда, проклятый, делся? Вот и съездила, дура, к «Яру». Вот и посмотрела – там Казимир или нет. А может, и слава богу. Все плакать меньше...

– Вот, получи.

– Э-э... – Извозчик сморщился, как от зубной боли, глядя на Данкины копейки. – Добавить бы надо, барыня! С самой Крестовской конягу мучу...

– Бога побойся! – вскипела Данка, выпрыгивая из пролетки. – И так мотал-кружил по всей Москве, как лешак! Давай, проваливай, изумрудный, не то гляну на лошадей – к воскресенью подохнут!

Извозчик оторопело взглянул в сердитое смуглое лицо «барыни» с острым подбородком и раскосыми «ведьмиными» глазами. Почесал затылок под картузом.

– Вот те на – цыганка! А с виду – благородная...

Но этих слов Данка уже не услышала, споро идя вниз по Воздвиженке. Было поздно, с темнеющего неба накрапывал дождь, из керосиновой лавки со скособочившейся вывеской «Карасин Петра Луканова и лампы чистим» доносилась чья-то пьяная брань. Когда Данка проходила мимо, дверь лавки распахнулась, и прямо под ноги цыганки тенью метнулась кошка. Данка не остановилась, зло сплюнув на ходу:

– Тьфу, нечистая... Без тебя все кверху дном!

На углу она увидела Кузьму, тоскливо подумала: еще и этого не хватало... Тот сидел на сыром тротуаре, надвинув на самые глаза потрепанный картуз, сипло напевал «Черные очи», и Данка поняла, что он опять пьян. Она прошла мимо, стараясь не убыстрять шаг. Кузьма не поднял глаз, но запел еще громче, из «Карасина Петра Луканова» выглянули ухмыляющиеся рожи, а от угла Воздвиженки решительным шагом двинулся околоточный. Данка вздохнула, развернулась и пошла навстречу служителю закона.

– Ваше благородие, не трогай, а? Он – смирный, не буянит, беспорядков никаких не сделает. Возьми вот, пожалуй...

– Спасибо вашей милости, – прогудел околоточный, пряча монету, а Данка с досадой подумала, что незачем было так разоряться. Гривенник туда, гривенник сюда – и Мишенька без ботинок останется, а Наташенька – без пальто. Данка не видела, заметил ли Кузьма ее действия, и не стала оглядываться.

Входя в калитку, Данка привычно подняла глаза на дом. Вот уже около месяца, возвращаясь сюда, она видела лишь огонек в детской да горящую лампу на кухне, у прислуги. Но сердце вдруг подпрыгнуло и заколотилось, как зажатый в кулаке птенец: в зале горел яркий свет, и на фоне окна четко вырисовывался мужской силуэт.

– Казимир, дэвлалэ... – пробормотала она. И кинулась к дому, не разбирая дороги. Черная мантилья упала с ее плеч в лужу у калитки, но Данка не вернулась за ней.

В сенях ее встретила горничная со свечой.

– Маша, Казимир Збигневич пришел? – задыхаясь, спросила Данка.

– Как же, пришли-с. Дожидаются. Где это вы мантилью утратили?

Не отвечая, Данка взяла у нее свечу и поднесла к своему лицу:

– Маша, я... я... Как я?

– Уставшие малость. – Молоденькая горничная добросовестно вгляделась в лицо барыни. – А так оченно даже завлекательно. Волосы приберите наверх, растрепали, по лужам скакавши...

В словах горничной явно слышалось осуждение, но Данка лишь слабо улыбнулась.

– Нет... Казимир любит так. – Она даже вытащила из волос уцелевшие шпильки, и на спину и плечи упала тяжелая масса вьющихся волос. На ходу встряхивая их, Данка пошла к светящейся двери в залу. Горничная, вздохнув, вернулась на кухню.

Навроцкий ждал, сидя на диване у окна, и стряхивал пепел с папиросы в цветочный горшок. Данка не любила табачного дыма в комнатах, но ничего не стала говорить. Войдя, она остановилась в дверях в эффектной позе танцовщицы, опустив руки на бедра. Навроцкий обернулся, кивнул с улыбкой, но не встал ей навстречу. Свет лампы падал на его лицо, Данка сразу увидела, что Казимир чем-то озабочен, и ей тут же расхотелось с визгом прыгать ему на шею.

– Здравствуй... – Она даже постаралась скрыть дрожавшую в голосе радость. – Здравствуй, пан мой прекрасный. Изволил пожаловать наконец? Где был-пропадал? Месяц не являлся!

– Дела... – Он снова затянулся папиросой. – Ну... Как ты? Как дети?

– Слава богу, все хорошо, – торопливо сказала Данка. – Мишенька

опять свою лошадку сломал... уже третью. Такой непослушный! И еще просит, чтобы его на настоящую скорее посадили. Замечательный цыган будет! – Она осеклась, испугавшись, что Казимир обидится, услышав, как его сына называют цыганом. Но тот рассеянно молчал, и Данка вдруг поняла, что он ее не слушает. Тут же она заметила, что Навроцкий не снял уличных туфель и костюма. На паркет с обуви Казимира уже натекла изрядная лужа.

– Отчего ты не переодеваешься? Сейчас ужинать будем.

– О, нет... нет, – поморщившись, отказался он. – Я, видишь ли, ненадолго, должен идти.

– Идти? – растерянно переспросила Данка, опускаясь на подлокотник кресла. – Но... как же? Так поздно, ночь на дворе...

Навроцкий встал, подошел к ней. Испуганно глядя в его глаза, Данка мельком отметила, что от него пахнет какими-то незнакомыми духами и вином. Лицо Казимира, как всегда, было неподвижным, лишь папироса подрагивала в углу губ.

– Пожалуйста... – попросила она, указывая на папиросу.

– О, прости. – Навроцкий загасил дымящуюся трубочку в цветочном горшке, слегка присвистнул сквозь зубы и несколько раз качнулся на каблуках. – Видишь ли, радость моя... Я думаю, ты не откажешься меня выручить? Мне нужны деньги.

– Деньги? – изумленно воскликнула Данка, непроизвольно теребя в пальцах платочек. – Но... Но...

– Совсем немного, бог свидетель. Завтра же я верну.

– Но, Казимир... Откуда? Мне нечем детей кормить...

– Ну, моя дорогая... – Он снова засвистел, положил ладонь ей на волосы, и Данка застыла, разом забыв обо всем, наслаждаясь лишь знакомым теплом этой руки. По спине побежали мурашки.

– Мой бог, как ты хороша... Несравненно хороша. Как я люблю эти кудри и цыганские глаза... «Она, как полдень, хороша, она загадочней полночи, у ней не плакавшие очи и не страдавшая душа...»

– Если бы не плакавшие... – Данка, с трудом приходя в себя, высвободилась из-под его руки. – У меня нет денег, Казимир. Побей меня бог, нету. Последний гривенник извозчику отдала.

– Ну, милая... – Навроцкий почти насильно развернул Данку к себе, взял в ладони ее лицо, и она задохнулась от его поцелуя. Чувствуя, как горячеют от подступивших слез глаза, едва сумела попросить:

– Останься сегодня... Прошу – останься. Я так ждала...

– Завтра, душа моя. Клянусь – завтра. – Он поцеловал ее в лоб, слегка

отстранил. – Пожалуйста, поищи денег. Я не стал бы тебя беспокоить, если бы мне не было нужно...

– А мне, думаешь, не нужно? – враждебно спросила Данка, отбрасывая его руки. Глаза ее сузились. – Я правду говорю – мне детей кормить нечем. Твоих, между прочим, детей! Ты забыл, что дом заложен?

– Ну, это пустяки...

– Пустяки?!! – взорвалась Данка. И вдруг почувствовала, что ни кричать, ни спорить, ни доказывать что-то у нее нет сил. Что толку, устало подумала она? Не глядя на Навроцкого, Данка расстегнула бриллиантовый браслет на запястье, протянула ему мерцающую змейку.

– На... Хватит?

– Более чем! Ты – прелесть! – Казимир поймал ее руку, поцеловал выше запястья. – Ну, что же, увидимся завтра.

– Да, – чуть слышно отозвалась Данка, зная, что это неправда, что завтра он не придет. И послезавтра тоже. И, конечно, не вернет денег. Надо что-то делать... Да. Вот только что?

Навроцкий ушел. Прибежавшая горничная затерла лужу на полу, выбрала папиросный пепел из цветочного горшка, долго ворчала насчет того, что она, конечно, дура неграмотная и барыня ее может не слушать, только зачем же брильянтами понапрасну разбрасываться, когда в доме шаром покати, одни бумажки из ломбарда по всем углам... Но скорчившаяся в углу дивана Данка не отвечала ей, и в конце концов горничная, вздыхая, отправилась спать. Когда за ней закрылась дверь, Данка встала, подошла к окну. В темном стекле смутно отразилось ее лицо в ореоле распущенных волос. Под сердцем толкалась знакомая тупая боль. Последнее время она стала подступать все чаще.

Ночью Данка проснулась в холодном поту. Сон, почти всегда приходивший, когда она спала одна, снова привиделся ей. Глядя в стену, на которой отпечаталась серая лунная полоса, Данка пыталась прийти в себя. Руки, сжимающие одеяло, дрожали. В глазах еще стояла пустая темная дорога, шевелящийся туман в двух шагах. Она снова чувствовала себя пятнадцатилетней девчонкой, избитой и замерзшей, бредущей в изодранной одежде сквозь космы густого тумана.

Будь проклят тот день, будь проклята та свадьба, после которой она осталась одна на всем свете. Среди чужих людей, которые никогда ничего не поймут. Данка встала, нащупала на спинке кровати шаль. Закутавшись в нее и стараясь унять дрожь в руках, подошла к темному окну.

Она не осуждала родителей, бросивших ее одну, избитую до полусмерти, на берегу реки. По-другому отец и сделать не мог. Не выбирать

же было между старшей дочерью-шлюхой и четырьмя оставшимися девками, которых тоже нужно выдавать замуж. До сих пор Данка гадала, сумел ли отец пристроить сестер после такого позора на всю семью. Наверное, получилось, они же в Сибирь уехали, их там не знал никто... Дай боже. Только бы у девчонок не вышло так же, как у нее самой. Пусть никто не верит, пусть для всех Данка потаскуха, но она-то, она сама знает, что была чиста! Данка стиснула руками виски, горько рассмеялась, и этот смех странно прозвучал в тишине темной комнаты.

Знал бы Мотька, муж несостоявшийся, знали бы все они – и мать, и отец, и цыгане... Вот бы им посмотреть, как спустя два дня, ночью, на постоялом дворе, она сама избавилась от своего девства с помощью выдернутого из стены гвоздя и из нее ударил такой фонтан крови, что испачканными оказались и рубашка, и подстилка, и одеяло... Никому, кроме Варьки, Данка не призналась в этом, даже Кузьме. Для него, как и для прочих, она была вдовой. Ей бы тогда открыться ему, рассказать все, объяснить, и, видит бог, он бы поверил – ведь так, как Кузьма, ее не любил никто... Но Данке было пятнадцать лет, полгода она прожила одна, и за это время замечательно выучилась не доверять никому. Слишком велик оказался страх нового позора, страх снова очутиться на улице, без своих, без цыган. И Данка промолчала. А Кузьме самому шел тогда семнадцатый год. Будь он постарше и поопытней, будь она сама не так испугана, измучена и затравлена, кто знает, может, и жизнь их повернулась бы совсем по-другому. Но случилось то, что случилось, ничего не возвратить, а значит, и думать об этом нечего. Все-таки семнадцать лет минуло, и единственное, что у нее осталось от прошлого, – время от времени приходящий проклятый сон.

Почему она ушла от Кузьмы? А что было им делать вместе?.. В первые же месяцы жизни в Москве Данка познакомилась с Казимиром – тогда еще мальчишкой с черными глазами и нахальной усмешкой, который «нагревал» в карты извозчиков по кабакам. Случайно она заглянула в переулочный трактир, когда там шла игра и Навроцкий банковал. После Казимир, смеясь, утверждал, что именно Данкины гиблые цыганские глаза испортили ему удачу: через полчаса он попался на третьем козырном тузе, и быть бы ему битым, если бы не Данка, вовремя облившая кипятком из чайника оскорбленного извозчика. Драка в кабаке началась страшная, но Данка с Казимиром убежали, взявшись за руки. Вспомнив это, Данка усмехнулась: все-таки молодая она тогда была, лихая, черта не боялась… В тот же вечер Казимир пришел в ресторан, где она выступала, прислал ей в уборную корзину роз и роскошное муаровое платье. Именно из-за этого

подарка Кузьма ночью в кровь избил жену – первый раз в жизни. Впрочем, и последний, потому что больше Казимир в ресторан не приходил. Данка ждала, мучилась, плакала по ночам в подушку и лишь через несколько месяцев, уже весной, узнала, что Навроцкий и не мог прийти: он был пойман на нечестной игре в гостиничных номерах и крепко усажен в тюрьму. После этого Данку уже ничего не держало в хоре Якова Васильева, на Кузьму она не хотела даже смотреть и при первой же возможности сбежала со своим очередным поклонником, купцом-миллионщиком, имя которого сейчас, хоть убей, не вспоминалось.

После купца возвращаться в хор Данка не решилась и пошла в Петровский парк – в «Яр». В самом известном «цыганском» ресторане Москвы доходы у хоровых цыган оказались большие, а Данка, хорошо помнившая, что такое днями сидеть без хлеба, была просто помешана на деньгах. Она все время боялась, что останется без копейки, постоянно искала новых способов заработка и даже, став уже примадонной, к смеху всего хора, умудрялась гадать соседкам, складывая в чулок полученные гроши. Между делом она снова вышла замуж – за Федьку, «яровского» баритона. Дальше были князья, графы, богатые купцы... В хор Данка отдавала большие деньги, и ее не трогали, хотя завидовали страшно. Молчал даже Федька, которому Данка подарила две тысячи – чтоб отстал. Парень, правда, дураком не оказался и запросил больше. Пришлось накинуть тысячу и опять связывать узлы – теперь уже чтобы съехать в собственный дом. Особняк на Воздвиженке ей купил граф Суровцев и, когда любовница покинула его ради купца Курицына, обратно помещение не потребовал – к великому облегчению Данки. За это она принимала графа еще несколько раз, когда Курицын пропадал в своем клубе на Дмитровке. Наконец они оба надоели ей, на горизонте появился какой-то иностранец, трудную фамилию которого она уже успела забыть, а потом...

Данка сощурила глаза, отгоняя подступившие слезы. За окном было темно хоть глаз выколи, но ей снова и снова чудились цветные огоньки, которые она видела в ту ночь из тройки, уносившей ее с Казимиром неведомо куда. Он появился в «Яре» холодным зимним вечером, и Данка сразу же узнала его, хотя они не встречались почти десять лет. И, не закончив романса, вышла к нему из хора. Казимир поймал ее в соболью шубу, вынес на руках из ресторана и усадил в тройку, и хоть бы что-то они сказали тогда друг другу… Ни слова. Только дробь лошадиных копыт по мерзлой земле, холодная медвежья шкура, покрывающая полость повозки, иней на воротнике, блеск перстней, теплые губы Казимира и эти цветные огоньки вдали... За то, чтобы вернуть ту ночь, Данка отдала бы полжизни,

но кому было знать, как не ей, – ничего на свете не возвращается и не повторяется.

Данка отошла от окна. С ужасом посмотрела на пустую кровать, сбившиеся простыни и одеяло, понимая, что стоит ей закрыть глаза, как сон вернется снова. Вздохнув, она решительно шагнула к столику, зажгла свечу и, держа ее в руке, выбежала из комнаты.

В детской мигал оплывший огарок. В углу дремала нянька. Опасливо косясь на нее и загораживая ладонью пламя своей свечи, Данка прокралась к кроваткам.

Пятилетний Миша сбросил с себя во сне одеяло, свесил вниз руку. Из уголка его рта тянулась ниточка слюны. Данка вытерла ее, нагнулась за упавшим на пол одеяльцем, но едва она начала укрывать сына, Мишенька проснулся и сел в кроватке. Потер глазки, сонно улыбнулся:

– Ма-а-ама...

– Ч-ш-ш... – Данка прижала палец к губам и поманила сына пальцем. Тот заговорщически закивал, спустил босые ножки на пол, схватил мать за руку. В это время заворочалось одеяльце на соседней кроватке, послышалось хныканье. Данка на цыпочках подошла к дочке, взяла ее вместе с одеялом и подушкой на руки и быстро, тихо зашагала вон из детской. Мишенька, стараясь не шлепать ногами по полу, побежал за ней.

У себя в комнате Данка устроила снова уснувшую Наташу в углу своей кровати, легла рядом, и тут же под руку ей юркнул сын.

– Как в таборе? – счастливо спросил он, прижимаясь теплой со сна щекой к ладони матери.

– Да, маленький, – Данка старалась, чтобы голос ее не дрожал, – как в таборе. На одну перину ляжем, другой укроемся – и никакой мороз нам не страшен.

– А когда мы поедем в табор?

– Вот подрастешь – и поедем. Будешь цыган, будешь большой кофарь, лошадей продавать станешь...

– Я не хочу продава-ать... – Мишенька уже засыпал. – Мне жалко продавать. Только покупать...

– Конечно, сладкий. Конечно, золотенький. Закрывай глазки.

Через несколько минут мать и дети спали. Лунное пятно переползло со стены на пол, свеча погасла. Встревоженная нянька заглянула в комнату, увидев три бугорка на кровати, сердито буркнула:

– Тьфу, цыганская душа... Опять дитев к себе затащила. Ничем не переталдычишь! – Она перекрестила двери спальни и, шаркая ногами, поплелась досыпать.

ГЛАВА 8

На Калитниковском кладбище солнце пестрило пятнами траву под вековыми деревьями. Самое захолустное из московских кладбищ было почти безлюдным – лишь у алтарной стены церкви копошилось несколько старух да возле могилы архитектора Богомолова стояла на коленях молодая женщина в накинутой на голову мантилье. Задворки же вовсе оказались пустынны. Знатных надгробий здесь почти не было. На бедных памятниках стояли фамилии живших в Рогожской слободе мелких купцов да фабричных.

С зарастающего пруда тянуло свежестью, в подернутой ряской зеленой воде играли солнечные лучи. После ночной грозы ушла выматывающая душу духота, и воздух был теплым, свежим, насквозь прогретым июньскими лучами. По небу медленно плыли кучевые облака. Чуть слышно шелестела умытая листва, подрагивали листья лопухов, толстый шмель сердито гудел в розовом цветке шиповника. Со стороны церквушки доносился слабый звон. Из недалекого оврага, разделяющего кладбище пополам, слышалось блеянье слободских коз.

Илья сидел на упавшей каменной плите с полустертым староверческим крестом, вертел во рту соломинку и смотрел, как пляшет Маргитка. Ее туфли валялись тут же, на примятой траве, а сама она кружилась, подпевая себе, вскидывала руки, поводила плечами, ставила «ножку в ножку» и, улыбаясь, била босыми пятками тропаки. Вьющиеся пряди волос, которые Илья полчаса назад распустил ей, покрывали всю тонкую, точеную фигурку, от движений быстрых ног волновался малиновый подол платья. Танцуя, Маргитка то и дело оборачивалась через плечо, чтобы увидеть – смотрит ли? – и, поймав взгляд Ильи, улыбалась во весь рот. В зеленых глазах билось солнце. Закончив пляску, Маргитка шутливо поклонилась и, обмахиваясь платком, села на плиту рядом с Ильей.

– Понравилось?

– Лучше тебя плясуний не видел.

Она счастливо рассмеялась, прижавшись к нему. Солнечный луч запрыгал по ее лицу. Илья потянулся к ней. Маргитка, не открывая глаз, подалась навстречу, сама поцеловала его раз, другой, третий. Илья погладил ее волосы, украдкой вздохнул, и Маргитка тут же открыла глаза.

– Что ты? Что не так?

– Все хорошо, – отговорился он.

Что толку ей объяснять? Самому думать нужно было, старому черту, а теперь чего ж... Ну кто бы мог представить, что он, Илья Смоляко, вляпается в такое дело на старости лет? Расскажи кому в таборе – не поверят.

– Илья...

– Что?

– Люблю я тебя.

– Я знаю, чяери. – Он не открывал глаз, чувствуя себя неловко.

– Ничего ты не знаешь! – Маргитка отстранилась от него. – И не понимаешь ничего! Я теперь, наверное, не скоро сюда опять приду. Это ты целый день шляешься, где хочешь, а меня кто пустит? Сегодня вот удрала, а потом? Хоть ложись да помирай совсем.

– А к Сеньке Паровозу на Сухаревку кто бегал?

– И не надоело вспоминать? – кисло сморщилась Маргитка. – Надо же было от него, шаромыжника, отвязываться как-то.

– Он же с тобой не спал.

– Не спал, но собирался! Уже обещал за меня в хор тридцать тысяч отдавать! Говорил: подожди, богатого купца сработаю, уплачу за тебя, и поедем в город Адессу...

– Не захочешь – не поедешь. Кто тебя против воли отправит?

Маргитка нахмурилась, ничего не ответив. Минуту спустя сердито сказала:

– Кабы ты меня любил хоть на пятак, то взял бы в охапку, и убежали бы мы с тобой. Ты же таборный. Должен знать, как такие дела делаются.

Илья смутился.

– И что с того, что таборный?.. Думаешь, в таборах все лихие такие, как тебе надо?

– Ни черта мне от вас не надо! – огрызнулась Маргитка. И тут же вздохнула: – Ладно, леший с тобой. Думаешь, я не понимаю? У тебя семья. Мы цыгане, слава богу... Правда, Настька твоя... тьфу!

– Маргитка...

– А что «Маргитка»? Я, конечно, знаю, она красавицей была, по портрету видно. Но сейчас-то... Ведь удавиться легче! Как ты с ней в постель ложишься, морэ?

– Девочка!

– Страшнее смертного греха, побей бог! – Маргитка недобро усмехнулась. – Ты, Илья, мне только шепни, я из нее мигом слепую сделаю!

– Убью! – взорвался Илья, и Маргитка отпрянула, сообразив, что он не шутит. Не удержавшись на краю плиты, она с писком повалилась в лопухи. Через минуту из-за мясистого листа выглянул перепуганный зеленый глаз.

– Илья, ты рехнулся?

– Прости, девочка, – с трудом выговорил он. – Не хотел.

Маргитка осторожно улыбнулась. Снова села на плиту, оправила юбку, хмыкнула – и вдруг рассмеялась в полный голос. Илья озадаченно смотрел на нее.

– Ой, Илья, а когда ты бесишься, я тебя еще больше люблю! У тебя глаза, как у сатаны, синим огнем сверкают! Я в тиятре на Пасху видела Мифистофиля – точно ты, хоть портрет сымай! Правда, у того еще искры из глаз сыпались...

– Скажешь тоже... – проворчал он, радуясь в душе, что разговор ушел от Насти. Маргитка, смеясь, взяла Илью за руку – и вдруг, повернув голову, прислушалась.

– Отзвонили! Пойдем.

Илья не успел даже спросить – куда, а она уже вскочила и потащила его по едва заметной стежке мимо крестов и оград.

Задняя стена кладбища выходила к оврагу. Здесь было совсем дикое место. Кирпичная кладка оказалась сплошь завита повиликой и душистым табаком, мох покрывал старые камни до самого верха, внизу буйно разрастались лебеда и полынь. Лопухи были просто угрожающих размеров, под ними, не шевеля листьев, свободно шмыгали одичавшие коты. Вверху сходились ветвями столетние липы, солнце ни единым лучом не могло пробиться сквозь густую листву, и под липами царил сонный зеленый полумрак. Маргитка уверенно пробиралась сквозь эти дебри, таща за собой Илью. Тот шел, удивляясь про себя, как до сих пор не пропала тропинка, которую он без Маргитки и не заметил бы.

– Да стой... Подожди ты... Куда ты меня тащишь, девочка?

– Пришли.

Маргитка остановилась, и Илья увидел прилепившуюся к кладбищенской стене избушку. Почерневшее, скособочившееся строеньице, казалось, вот-вот завалится набок, крыша вся заросла травой, и даже две тоненькие березки раскачивались над старым тесом.

– Здесь живет колдун, – строго проговорила Маргитка. Искоса взглянула на Илью – не смеется ли? – и закричала:

– Никодим! Дома аль нет? Выходи!

– Иду-у-у! – отозвалось откуда-то с кладбища. Илья вздрогнул, ему стало жутковато. Заросли крапивы и лебеды закачались, послышались

шаги, и из сорняковых джунглей вынырнул сгорбленный старик с мощными плечами, чуть не разрывающими старую холстинную рубаху, с широкой нечесаной бородой и обширной плешью.

– Чего верешшишь, как на пожаре, сикильдявка? – густым и хриплым басом осведомился он. – Всех покойников мне всполошишь. Покойник – он шум не обожает.

– Ничего твоим мертвецам не будет, – весело возразила Маргитка. – Я от Паровоза. Помнишь такого?

– Забудешь его... – Старик смотрел на Маргитку сощуренными слезящимися глазами, а стоящего рядом Илью, казалось, не замечал. – Чего Семену надо-то?

Маргитка подошла к старику, поднялась на цыпочки, что-то торопливо заговорила, показывая на избушку. Илья наблюдал за ней с нарастающим недовольством, уже начиная понимать, в чем дело. Когда же дед молча кивнул и Маргитка полезла в рукав, Илья поспешно шагнул к ним. Не хватало еще, чтобы за него платила девка!

– Получи, дед.

Никодим поднял голову. Поблекшие глаза недоверчиво уставились на Илью:

– Ты-то что за молодец? Цыган, что ли?

– А она, думаешь, кто? – пробурчал Илья.

– Не знаю, – пожал старик могучими плечами. – Я, мил-человек, ничего не знаю, ничего не ведаю и при живых глазах слепым хожу. Потому до девяноста годков и дожил. Хошь – плати сам, мне без вниманья. Благодарны премного, господа цыгане, за ваше неоставление...

Последняя фраза прозвучала с явной насмешкой, но Илья промолчал. Не говоря ни слова проследил за тем, как Никодим прячет деньги за голенище сапога, подхватывает с травы свой заступ и бесшумно, как бродячий кот, исчезает в крапивных зарослях, и лишь после этого повернулся к Маргитке:

– Он кто?

– Говорю – колдун... Да сторож, сторож он при кладбище.

– А ты его откуда знаешь? И Паровоз тут при чем? – Маргитка молча улыбнулась, и Илья повысил голос: – Отвечай, раз спрашиваю! Была ты с ним здесь?

– А ты на меня не ори, серебряный мой, – спокойно сказала она. – Я тебе не жена – забыл? И не спрашивай ни о чем. От лишнего спроса голова болит. Пойдем-ка лучше.

Маргитка выпустила руку Ильи и, наклонившись, быстро вошла в

низенькую, держащуюся на одной петле дверь избушки. Ему оставалось только пойти следом.

Внутри оказалось неожиданно чисто и даже просторно, словно стены старой избенки раздвинулись, впуская гостей. Стоя на пороге, Илья осматривал проконопаченные стены, мрачного Спаса в углу, лубочные картинки возле окна, широкие нары, покрытые лоскутным одеялом, стол с потертой скатеркой, ухваты и кочерги у беленой печи. За печью валялись какие-то узлы. Илья подошел было посмотреть, но Маргитка поспешно оттащила его от них:

– Нет, ты туда не заглядывай, это лихими людьми положено.

– Краденым, что ли, Никодим твой торгует?

– А шут его ведает... – Маргитка, стоя к нему спиной, взбивала подушки на нарах. – Я не спрашиваю, здоровее буду. Мне, может, тоже хочется до девяноста годов дожить... Нет, вру, не хочется! На кого я тогда похожа буду?

Илья слушал и не слышал ее болтовни. Словно завороженный, глядел он на то, как Маргитка, управившись с постелью и откинув угол лоскутного одеяла, садится на край нар, закидывает руки за шею, расстегивая крючки платья, как стягивает его через голову, и, ворча, распутывает застрявшие в крючках пряди. Оставшись в рубашке и обеими руками встряхивая волосы, она посмотрела на Илью. Тихо прошептала:

– Ненаглядный мой... Иди сюда – ко мне. Иди...

Он шагнул, ног под собой не чуя. Девочка... Темная вся, как мед гречишный, ноги длинные, грудь крепкая, маленькая, а как дотронешься – ладонь полна. Волосы... Господи, какие волосы! И за что ему это бог послал? И зачем он, Илья, ей? Дурь по молодости играет, или... или, чем черт не шутит, вправду любит она его? Илья сел рядом с Маргиткой, закрыл глаза от прикосновения ее тоненьких, горячих пальцев – и слова посыпались против воли, хриплые, бессвязные, которых он за всю жизнь и не говорил-то никому. Никому... Даже Настьке.

– Девочка... чяери... Цветочек мой, чергэнори…{Звездочка.} солнышко весеннее... Мед ты мой гречишный, что ж ты делаешь? Зачем тебе это? Я... я... люблю я тебя, господи...

– Ой, боже мой... Боже мой... Боже мой, Илья…

Она плакала, улыбаясь сквозь слезы, и торопливо смахивала соленые капли ладонью, и тянула его к себе, откидываясь на постель, и черные кудри, отливая синевой, рассыпались по рваной подушке. Зеленоватый солнечный луч играл на рассохшихся бревнах стены. За крошечным окошком шелестели липы. Лоскутное одеяло сползало, шевелясь и

вздрагивая, на неструганый пол избушки.

ГЛАВА 9

В ночную тишину врезались крики.

– Илья... Илья, проснись... Да просыпайся же!

– Что такое?..

– Горит!

Илья сел на постели, помотал головой, прогоняя остатки сна, принюхался. В самом деле пахло гарью.

– Буди детей! Вот проклятье-то небесное, и откуда...

– Подожди, это не у нас. С улицы несет. Настя по пояс высунулась в открытое окно.

Илья тоже перегнулся через подоконник. В конце темной Живодерки отчетливо было видно красное зарево.

– Поднимай всех!

На ходу натягивая сапоги, Илья через три ступеньки поскакал по темной лестнице вниз.

Большой дом уже весь был на ногах. Дверь на улицу стояла распахнутой, и цыгане один за другим вылетали в темноту, грохоча пустыми ведрами. Мимо Ильи пронесся с двумя жбанами Кузьма, за ним – Митро с бадьей. Молодые цыгане умчались еще раньше. Женщины суетились на кухне, освобождая ведра. Илья заскочил туда, едва дождался, пока Марья Васильевна вывалит из продавленного ведра в кадку соленые огурцы, вырвал его у нее из рук и тоже кинулся за порог. Нужно было торопиться: до приезда пожарной команды огонь мог превратить в головешки всю улицу.

Темная Живодерка оказалась полна народу. Из маслишинской развалюхи выбегали студенты, со стороны ткацкой фабрики неслись рабочие, цыгане бежали из Живодерского переулка целыми семьями. Мимо Ильи кто-то пролетел верхом. Лица всадника он не разглядел, рядом мелькнули лишь выкаченные, сверкающие белком, безумные глаза лошади.

– Кто горит, морэ? – заорал Илья вслед.

– Шалавы наши... – донеслось уже из-за угла.

Илья припустил сильнее. В лицо уже било жаром, зарево становилось все ближе, вопли и грохот ведер – все отчетливее, и наконец глазам Ильи предстал двухэтажный домик мадам Данаи. Левый флигель полыхал, языки пламени с треском вырывались из окон нижнего этажа. У забора стояла толпа полуодетых обывателей, сбежавшихся поглазеть на пожар. Через всю

улицу вытянулась цепочка людей с ведрами: черпали из «басейни» на Садовой. Вторая цепочка, поменьше, выстроилась от колодца мадам Данаи во дворе. Сама мадам Даная в роскошном бархатном платье и сбившейся на сторону мантилье сидела на земле под кустом сирени, прижимая к себе два бронзовых канделябра и конторские счеты. Увидев Илью, она повернула к нему круглое, измазанное сажей лицо.

– Даная Тихоновна, как это ты?.. – сочувственно спросил Илья.

– Ох, Илья Григорьич, убытку-то сколько! – жеманно отозвалась мадам Даная. – Опять кто-то из гостей в постеле папироской баловался. Уж просила-просила Христом-богом: не дымите, господа хорошие, и барышням это неприятно... Все едино! Вот хоть совсем военных не допускай в заведение – второй раз за год горим через них. Право слово, жалобу обер-полицмейстеру снесу!

Илья поглядел на дом. С флигелем уже можно было распрощаться: крыша вот-вот должна рухнуть. Из открытых окон основного здания, которое только начало заниматься снизу, вылетали подушки, пуфики, свертки одежды и прочие принадлежности публичного дома. Наружу выбежали двое босых кадетов. Потом Петька Конаков – без штанов, но с вцепившейся в него девицей. За ним отставной ротмистр Опанасенко в мундире внакидку. В верхнем окне Илья увидел двух парней, обвязавших головы рубахами на манер арабских бедуинов. Они пытались втащить на подоконник пианино. Одно из окон нижнего этажа флигеля было плотно закупорено женским задом, обтянутым ночной рубашкой. Сощурившись, Илья попытался по конфигурации зада определить его хозяйку.

– Василиса, – подсказал подбежавший Митро. – Вот дура, ну что ей там надо-то? Зажарится сейчас!

Он махнул через заборчик и понесся к окну с криком:

– Ополоумела ты, что ли, кикимора?! Потолок сейчас провалится! Бросай все, вылезай!

Он вцепился в Василису, дернул несколько раз. Раздался визг, и Митро, не удержавшись на ногах, опрокинулся на землю. Сверху на него свалилась, голося и болтая голыми ногами, простоволосая девица пудов на семь, а на девицу упал скатанный ковер, который она так самоотверженно тащила из огня.

– Ой, Дмитрий Трофимыч, обожгетеся! – заверещала Василиса, узнав своего спасителя. Схватив одной рукой ковер, а другой – Митро за рукав рубахи, она резво поползла прочь от флигеля. И вовремя: потолок с треском и грохотом, выстрелив фейерверком искр, упал внутрь. Мадам Даная, вздохнув, перекрестилась. Кое-кто из девиц заплакал.

– Ладно выть-то, гулящие, – сердито сказала им хозяйка, встряхивая счеты. – Стало быть, пишем еще полсотни плотникам да матерьялу на... Акулина! Ты с ума сошла, корова холмогорская!

Мадам Даная швырнула счеты, вскочила, как подброшенная, и с удивительной прытью бросилась к горящему дому. Илья задрал голову. На подоконнике второго этажа, балансируя, стояла массивная, как гренадер его величества, девица с повязанной полотенцем головой и в надетой наизнанку юбке. На руках девицы висел плотно завернутый в сюртук старикашка.

– Принимайте, ироды, господина майора! – зычно возгласила Акулина. – Да живее, они высоты боятся!

Старичок и в самом деле трусил: он вертел во все стороны растрепанной седенькой головой и отчаянно цеплялся за Акулинину рубашку. Внизу поднялась суета, под окно начали стаскивать уцелевшие подушки и перины.

– Кидай майора, дура! – надсаживаясь, кричал Митро.

– Не могу, они чепляются! – Акулина тщетно старалась оторвать от себя старичка. – Воля твоя, Дмитрий Трофимыч, только они убьются еще, а спросят с меня! Может, нам вдвоем сверзиться? Авось они наверху окажутся!

– Да чтоб вас всех! – вдруг раздалось из глубины комнаты, и Илья глазам своим не поверил: на подоконник рядом с Акулиной вскочил полностью одетый и злой как черт Яков Васильев.

– А ну, руки прочь, твое благородие! – рявкнул он точно таким же голосом, каким орал в хоре на провинившихся.

Майор отвалился от Акулины мгновенно, как прижженная углем пиявка, и Яков Васильевич без особых нежностей бросил его вниз. Следом низверглась, громко крича «Богородица пречистая, спаси и помилуй!», Акулина, а уже за ней легко, как молодой, спрыгнул глава хора. Поднявшись на ноги и даже не взглянув на охающего майора и захлопотавших вокруг него проституток, он быстро пошел к мадам Данае, увлек ее в сторону и негромко о чем-то заговорил. Илья проводил его изумленным взглядом. Мимо, пыхтя, волочил тяжелую лестницу черный от сажи Кузьма. Илья ухватился за другой конец, и вдвоем они быстро понесли лестницу к дому.

– Слушай, а Яков Васильич здесь откуда? – спросил Илья. – Ему же семьдесят скоро... Неужто к девкам бегает?

– Здрасьте, святая пятница... – усмехнулся Кузьма – с черного лица блеснули зубы. – Да он с Данаей Тихоновной как с женой уже лет

двадцать...

– Забожись! – не поверил Илья.

– Истинный крест! Все наши знают. Он же с ней и раньше, еще когда вы с Варькой в хоре пели... А как Настька с тобой убежала, так Яков Васильич и скрываться перестал. Наши девки говорили, он даже жениться на ней по-честному хотел, да мадам Даная сама отговорила. Негоже, мол, на старости лет дурака в церкви валять. Так и живут... м-м... во грехе. Да если бы не Яков Васильич, у Данаи бы давно вся коммерция накрылась! Всякий же норовит одинокую женщину околпачить...

– Ну и дела! – фыркнул Илья.

Они наконец поднесли лестницу к дому, и от жара стало трудно дышать. Нижний этаж горел вовсю, и, хотя в окна бесперебойно летела вода из наполняющихся по цепочке ведер, было очевидно: огня не остановить. Верхние комнаты оказались полны дыма, клубами поднимающегося к черному небу. Илья по примеру остальных обмотал голову рубахой, и вдвоем с Кузьмой они принялись прилаживать лестницу к верхнему окну, где двое парней умудрились все-таки втянуть пианино одним краем на подоконник. Задыхаясь от жары, Илья начал подниматься по лестнице.

– Зря стараемся, Илья Григорьич... – просипели сверху, и по голосу Илья узнал сына Митро. – Этот гроб с музыкой все равно по лестнице не спустить...

– Кинем так, – сказал второй, и Илья чуть не свалился с лестницы.

– Гришка, ты здесь откуда?!

– Вот, мебеля спасаем, – солидно донеслось из-под рубашки. – Ну, морэ, кидаем, что ли?

– Кидаем, не то. Илья Григорьич, дядя Кузьма, вы бы в сторонку...

Илья спрыгнул вниз, сбросил лестницу, увлек за собой Кузьму. Через минуту сверху грохнулось пианино и благополучно развалилось на четыре части. Яшка и Гришка, не дожидаясь, пока Илья снова прислонит лестницу, спрыгнули следом.

– Вот незадача-то... – Гришка, размотав рубашку, расстроенно разглядывал пианино. – Такой струмент ценный угробили... Может, починить можно будет?

– Починят, ничего, – отозвался Яшка, волоча прочь от дома уцелевшую часть с клавишами. – Прошлым разом тож в окно его кидали, и Семка-печник собирал. Четыре штафирки лишние остались, а играло же потом целый сезон!

– Отойдите-ка от дома, чяворалэ{Ребята.}, – велел Кузьма. – Все равно

уже спасать нечего.

Он был прав: основное здание сильно горело. Из окон повыскакивали последние спасатели имущества, которое кое-как сваливалось в кучу у забора. От поднимающегося к небу дыма не было видно звезд. Полуодетые девицы сгрудились вокруг мадам Данаи, которая озабоченно пересчитывала их:

– Акулина... Василиса... Нюрка... А где Агриппина? Агаша, у тебя господин писарь с Садовой были? Где они?

– Убежавши, как дымом потянуло, не беспокойтеся...

Клиентов не осталось никого: к тушившим пожар подошел только раздобывший где-то штаны Петька Конаков. Девица по-прежнему цеплялась за его плечо, взахлеб причитала, и, приглядевшись, Илья убедился, что она вдребезги пьяна.

– Ох, и спаситель вы мой несказанный, Петр Егорыч... Ох, и сколь же мине свечей за ваше здравие втыкати-и...

– Да замолчи ты, курва, – смущенно сказал Петька, сбрасывая девицу на грудь мадам Данаи. – Даная Тихоновна, сколь разов просить – не давайте вы Феньке ликера ананасного! Она после этого ни на что не годная! Сядет на постелю, расквасится и давай вспоминать, как в деревне лук на зорьке сажала...

– Не лук, а ле-е-ен, спаситель... – уже засыпая, поправила Фенька.

– Да хоть пальму ранжирейную! – Петька нервно осмотрелся по сторонам. – Чявалэ, моей Симки нету здесь?

– А вон несется, – ехидно сообщил Кузьма, вглядываясь в темную улицу. Оттуда и в самом деле слышались крики и топот: на место пожара бежали цыганки.

– Мать честная и все угодники... – Петька кинулся в переулок, успев крикнуть напоследок: – Эй, не было меня тут!

– Не было, не было! – захохотал вслед Кузьма.

Илья стоял рядом и смотрел на горящий дом. Рыжие блики прыгали на чумазых лицах собравшихся. Яшка у забора умывался из ведра. Рядом разглядывал прожженную в нескольких местах рубаху Гришка. Кто-то еще носился вокруг дома, оттаскивая выброшенное из окон добро. С задымленного неба смотрела луна. Илья не моргая глядел на белый диск. И вздрогнул от истошного вопля за спиной:

– Господи праведный! Анютка! Анька в дому осталась!

Кричала мадам Даная. Тут же вокруг нее сгрудилась толпа закопченного, мокрого, перепачканного народа, посыпались вопросы:

– Какая Анютка? Ваша? Племяшка?

– Как это она? Где? Почему не выскочила?

– Может, и нету ее там?

– Да как же нету, как же нету, люди добрые?! – Мадам Даная заливалась слезами на груди Якова Васильича, рвалась из его рук. – Она же там осталась, наверху, на чердаке! Спит, поди! Ее же пушкой не подымешь! Господи, православные! Да сделайте что-нибудь, помогите, вытащите!

– Уж не вытащишь, мать... – тихо сказал Яков Васильич.

Мадам Даная посмотрела на него, на охваченный огнем дом, зажала рот руками и, хрипло завыв, сползла на землю. Столпившиеся вокруг люди подавленно молчали. Толстая Василиса начала всхлипывать. Илья, не отрывая глаз, смотрел на огненный столб, в который превратился дом. И не заметил, как его Гришка вдруг вырвал из рук Кузьмы ведро с водой, вылил ее на себя, натянул на голову мокрую чуйку и, перекрестившись, кинулся к дому. Дружный вздох взлетел над толпой. Илья обернулся, успел увидеть, как Гришка приставляет к стене брошенную Кузьмой лестницу и быстро, как кошка, карабкается по ней.

– Чяво!{Сын.} Стой! Кому говорю, стой! Выдеру! – закричал Илья, бросаясь за ним, но было поздно: Гришка уже исчез в горящем окне. Илья кинулся было следом, но сразу несколько рук схватило его за локти.

– Стой, морэ! Не поможешь! Оба пропадете!

– Да пошли вы к чертям!.. – орал Илья, вырываясь, но из темноты выглянула оскаленная физиономия Митро, потрясающего обгорелым поленом:

– Как дам вот сейчас! Сиди не дергайся! Ему же хуже сделаешь! Сядь, морэ, сядь, дорогой, даст бог, все получится...

– Настька где? – хрипло спросил Илья, садясь на землю. – Настьку не пускайте...

– Она еще дома, ведра раздает. Не пустим, уже Стешка побежала... Не беспокойся. Молись лучше.

Илья машинально перекрестился, но руки дрожали, горло стиснула судорога, а в голове билось одно: что теперь сказать Настьке. Ведь не выберется... Не выберется, паршивец, не сгорит, так задохнется... И чего только его понесло туда, невеста ему эта Анютка, что ли?!

Народ волной прихлынул к дому – стояли почти вплотную, не боясь, что ударит горящим бревном, сыпанет искрами. Мадам Даная колотилась в истерике на земле, рядом сгрудились девицы. Цыгане стояли с полными ведрами наготове, но с каждой минутой становилось все очевиднее, что помощь не понадобится. На Илью уже смотрели с сочувствием. Рука Митро, сжавшая его плечо, казалось, окаменела. Кузьма в стороне тихо

сговаривался о чем-то с Яковом Васильевым. Яшка стоял ближе всех к дому; весь подавшись вперед, смотрел воспаленными от жара глазами на пылающие окна. И стиснул зубы, застонав, когда в доме что-то тяжело рухнуло и из крыши вылетел сноп искр.

– Ну, все, крещеные, – вздохнув, проговорил кто-то в толпе.

Илья вздрогнул, вырвался из держащих его рук... но в это время диким голосом завопил Яшка:

– Вон они!

Илья вскинул голову. И увидел в окне второго этажа фигуру сына. Гришка качался, как пьяный, стоя на подоконнике. На плече у него висел какой-то белый сверток. На голове, вцепившись когтями в Гришкины волосы, истошно мяукала перепуганная кошка.

– Прыгай! Прыгай, парень! – кричал весь двор.

Илья подбежал почти вплотную к дому и увидел, что глаза Гришки плотно зажмурены. «Дэвла, ослеп, что ли?» – мелькнуло в голове. Лестница еще стояла прислоненной к стене. Илья занес было ногу на нее, но подлетевший Митро оттолкнул его так, что он упал вместе с лестницей:

– Сдурел?! Стена сейчас завалится!

Илья поднялся на колени, не сводя глаз с фигуры сына в окне. От бессилия сводило скулы. Набрав побольше воздуха, он гаркнул так, что заболело в груди:

– Прыгай, сукин сын! Отдеру как сидорову козу!

Гришка вздрогнул, открыл глаза. Испуганно посмотрел вниз, на отца, обернулся – и прыгнул. Илья кинулся к сыну и едва успел заметить, как прямо на него падает рассыпающаяся золотыми искрами стена дома. Но сверху шлепнулось что-то мокрое, вонючее, липкое, стало трудно дышать, кто-то поволок его по земле, твердый корень порвал рубаху, ободрал спину... – и темнота.

Илья очнулся от вылитого на голову ведра воды. Тут же сел торчком, огляделся:

– Гришка где?!

– Да что ему будет, герою твоему... – проворчал кто-то рядом, и Илья узнал голос Якова Васильева. – Вон, девки его облизывают.

– Живой? – не поверил своим ушам Илья. Вскочив, он в секунды разметал плачущий, смеющийся, кудахтающий клубок проституток, пробился к сидящему на земле сыну и крепко схватил его за плечи:

– Сынок! Гришенька! Как ты, господи? Не обжегся? Убью, паршивец, семь шкур спущу! Да как... как тебе только... О матери-то подумал?!

Гришка растерянно улыбался, щурил глаза. Илья размахнулся, чтобы

дать ему подзатыльник, но руки отчаянно дрожали, и он сумел только торопливо, неловко ощупать сына с ног до головы. Кажется, все у того было на месте.

– Да я целый, дадо... – хрипло сказал Гришка, глядя на него. – Не надо. Люди... Цыгане смотрят.

– Поучи отца еще! Это от дыма... – Илья вытер рукавом глаза и поспешил отвернуться. Увидел рядом, у куста, лежащую Анютку. Ей уже подсунули под голову подушку, вымыли лицо, обвязали мокрым платком опаленные волосы, а она все моргала короткими ресницами и спрашивала у ревущих девиц:

– А что случилось, мадамочки?

– Вот сон у девки! – подивился Кузьма, присаживаясь рядом с Ильей на корточки. – Не поверишь, морэ, – битый час добудиться не могли! Ничего не видела – ни пожара, ни дыма, ни Гришки! Даже когда стена упала, не проснулась! Яков Васильич на нее полведра воды вылил, только тогда глазами захлопала. А тебя куда прямо под стену понесло, Илюха?! Хорошо, что я на тебя шубу мокрую бросить успел да отволочь подале, а то бы выкапывали сейчас из-под угольев…

Растрепанная, зареванная мадам Даная одним рывком подняла Анютку на ноги и повергла на землю перед Гришкой:

– В ноги! В ноги кланяйся, дуреха! Сколь народу из-за тебя чуть не загинуло!

– Да не загинуло же, Даная Тихоновна... – смутился Гришка и наклонился, чтобы помочь всхлипывающей Анютке встать. В это время с Большой Грузинской донесся сперва слабый, а потом уже отчетливый звон и грохот.

– Ну, наконец-то, царствие небесное, – устало проговорил Кузьма, поднимаясь, – из Тверской части летят. Еще бы завтра схватились, ироды.

Илья поднялся на ноги. По черной Живодерке несся, громыхая, пожарный обоз, огонь факелов отражался в медных касках, бочка прыгала на кочках и плескала водой. Несколько пожарных спрыгнули с лошадей на ходу, кинулись разматывать брезентовые рукава, расхватывать багры.

– Ну, все. – Илья повернулся к сыну. – Пошли-ка домой. Идти-то сам можешь? Ох, мать сейчас тебе покажет!

Гришка молча улыбнулся. Встал и пошел рядом с отцом.

* * *

Утро занялось ясное, свежее. О ночном пожаре напоминал лишь запах гари и мокрого угля, заполнивший весь Большой дом. Взбудораженные цыгане так и не легли спать и до света сидели в нижней зале, раз за разом пересказывая друг другу ночные события. Только главный герой, Гришка, войдя в дом, сразу свалился на нары возле кухонного окна и захрапел. Илья сильно подозревал, что сын притворяется, чтобы не смотреть на слезы матери. Успокаивать перепуганную, заплаканную Настю, которой цыганки успели сообщить, что горящий дом свалился прямо на ее сына, Илье пришлось самому. Успеха его утешения не имели: Настя тихо провсхлипывала до утра, сидя рядом со спящим Гришкой и гладя его по плечу. Не успокоило ее даже то, что сын был целым и невредимым – разве что брови да ресницы слегка опалены. Проснувшись наутро, Гришке все-таки пришлось еще раз выслушать причитания Насти, дать себя осмотреть с ног до головы и поклясться матери перед образом, что больше он никогда, ни за что, ни за кем не полезет ни в какой огонь. Лишь после этого его наконец отпустили поглядеть на пепелище вместе с другими парнями. А Илья вынужден был остаться и по новой слушать Настькины нотации в духе: «А ты куда, леший безголовый, смотрел?!» Он не спорил: что толку? Сам чуть не умер со страха...

Компания молодых цыган со смехом и шутками шла по Живодерке. Вся улица была ночью на пожаре, все видели Гришку на подоконнике горящего дома – и из-за каждого забора сыпались вопросы, похвалы, одобрительные возгласы и поздравления. Гришка искренне смущался, краснел, вызывая смех парней, вполголоса ругался:

– Чего им всем надо? Своими бы делами занимались...

– Да как же, жди! – ухмыльнувшись, хлопнул его по спине Яшка. – Ты теперь герой пуще Ланцова!{Ланцов – легендарный московский разбойник.} Вот погоди, дойдем до Данаи – тебя там еще и мадамы зацелуют!

Гришка совсем растерялся и уже готов был ушмыгнуть в ближайший переулок, не дожидаясь объятий обитательниц публичного дома. Еще утром ему испортило настроение то, что Маргитка, оказывается, единственная из всех девчонок-цыганок не прибежала на пожар и не видела его. Более того, она выслушала рассказ парней о Гришкином подвиге с полным равнодушием, чуть ли не зевая, а под конец еще и фыркнула: «Вот нужда-то дураку за всякой пигалицей по головешкам скакать...» Когда же Гришка, отчаянно конфузясь, осмелился сказать, что за ней, Маргиткой, он полез бы и в пекло адское, девчонка с обидным смехом заявила: «Вольно кобеляти на луну брехати!», ловко увернулась от Яшкиного подзатыльника

и убежала. Разумеется, восторги и поздравления соседей не могли возместить Гришкиного расстройства. И тем более ни к чему ему был весь курятник мадам Данаи, но не говорить же об этом цыганам...

Впереди показался публичный дом – вернее, то, что от него осталось. Яшка только присвистнул, обозрев обширные завалы засыпанных золой и пеплом, обугленных бревен, которые местами еще дымились. Левый флигель и основное здание сгорели дотла, правое крыло было почти цело, лишь пострадав снаружи: его успела спасти пожарная команда. Она же погасила занявшийся маслишинский дом, стоявший по соседству. По оценке всех собравшихся, Живодерка дешево отделалась. Сейчас в грудах угля копошились перемазанные сажей девицы мадам Данаи, отыскивая уцелевшие вещи. Сама мадам, сидя на ворохе подушек у забора, озабоченно щелкала на счетах и время от времени что-то записывала карандашиком на бумажке. Рядом стоял лохматый, насупленный дядька в подпоясанной веревкой косоворотке – вожак артели строителей. Сами мужики деловито разбирали завалы бревен, и Гришка ничуть не удивился, увидев, что артелью уверенно распоряжается Яков Васильич, такой же бодрый, подтянутый и сердитый, как всегда.

– Никакой устаток его не берет! – восхищенно сказал Яшка, глядя на старого цыгана. – А ведь, голову дам на отсечение, спать не ложился. И где только успел уже мужиков достать? Эй, Яков Васильич, бог в помощь! Даная Тихоновна, каков убыток, а? Еще слава богу, что за Садовой живем!

– Твоя правда, парень, – со вздохом согласилась хозяйка заведения, сдвигая на лоб очки. – А то вовсе пришлось бы дело закрывать. А так, глядишь, и выкарабкаемся с божьей помощью.

– При чем тут Садовая? – тихо спросил Гришка.

– А ты не слыхал, что ли? Указ есть от городской думы: если кто погорит в центре, до Садовой улицы, – деревянных домов больше не строить, а ставить каменные, чтобы вид в городе лучше был. Представь, если б Даная каменное заведение отгрохала! Поди, из генерал-губернаторского дома ездили бы. Эй, Даная Тихоновна! А где же вы все на время застройки селиться-то будете?

– Да соседями бог не оставил. – Хозяйка кивнула на соседнюю развалюху купца Маслишина. – Я уж с Ерофеем Лукьянычем уговорившись, призрит барышень вместе с господами студентами...

– Пустили капусту к козлам в гости! – заржал Яшка на всю Живодерку. Ему вторил хор студенческого смеха из-за маслишинского забора. Неожиданно из густых вишневых зарослей послышался серебряный голосок:

– Григорий Ильич! А Григорий Ильич!

Гришке и в голову не пришло, что это обращаются к нему, и он не поворачивал головы на голос до тех пор, пока Яшка не ткнул его в бок:

– Оглох? Вон тебе Анютка машет! Да иди, иди! В своем праве небось!

Гришка поморщился, но пошел. Анютка в голубом ситцевом платьице и белой косыночке махала ему из-за забора. Когда Гришка приблизился, она чинно сложила руки на животе, потупилась и прошептала:

– Уж не знаю, как и благодарить вас, Григорий Ильич, за спасение-то...

– Не знаешь – так не благодари, – хмуро сказал Гришка, слыша, как в спину ему гогочут парни. – Ты что – всамделе спала?

– Знамо дело, спала... – тоненько хихикнула Анютка. Ее русые кудряшки запрыгали у висков, курносый нос забавно сморщился, и Гришка против воли улыбнулся.

– И как это вы меня поднять-то сумели, да еще с одеялом вместе? Я ж тяжелая...

– Где тяжелая? – удивился Гришка, меря взглядом тоненькую фигурку в голубом платье. – И не почувствовал ничего...

Он говорил правду, потому что вчера, оказавшись в огненной круговерти, задыхаясь от жары и дыма, был так рад, что вообще нашел в этом аду спящую девчонку, и так торопился, что не почувствовал не только Анюткиной тяжести, но даже вцепившейся в волосы кошки.

– Как самочувствие-то ваше, Григорий Ильич? – Анютка осторожно коснулась пальчиком его руки. Гришка неловко отстранился.

– Слава богу. И ты не хворай.

Отвернувшись, он махнул ожидающим его цыганам и быстро зашагал к ним. Анютка растерянно и обиженно посмотрела ему вслед.

– Ну что ты, как дурак-то? – спросил Яшка, когда компания цыган уже вышла на Садовую. – Не видишь – девчонка за тобой страдает.

– Угу... – недоверчиво усмехнулся Гришка. – Когда это она успела-то?

– Для такого дела много времени не надо. Ты не будь валенком, заверни как-нибудь к Данае, поболтай с Анюткой-то. Может, там и еще чего получится. Ты не думай, она не как другие девки, чистая. Даная ее даже к отцу Евстигнею учиться отдавала, девчонка-то грамотная...

– Мне что с этого? – вышел из себя Гришка. – Сказано тебе – не хочу! Незачем она мне!

– Опять же дурак выходишь. – Яшка на ходу сорвал лист сирени, сунул черешок в рот. Невнятно проговорил: – Выкинь ты Маргитку из головы. Что в ней есть, кроме рожи-то? Вот сам подумай: ну, женишься ты на ней, ну, накидает она тебе полные углы... А через десять лет на что любоваться

будешь? Станет, как все бабы, – самовар в юбке. И мозгов ни на копейку, один визг – и все. Ну, к чему тебе это? Будь Маргитка хоть вполовину как твоя сестра, тогда бы я сам ее за тебя уговорил. А так... Побереги здоровье-то.

Гришка молчал. Делал вид, что слушает, как орут, размахивая кнутами, извозчики на углу, щурил глаза на солнце. Как в детстве, хотелось плакать, и все силы шли на то, чтобы этого не увидели цыгане.

ГЛАВА 10

Июль начался дождями. Жара пропала, словно ее и не было: теперь над Москвой висели серые тучи, и день напролет то моросило, то крапало, то лило как из ведра. Тротуары давно перестали высыхать, сырой воздух лез за воротники, липы и клены на Тверской стояли поникшие, и даже вездесущие воробьи куда-то попрятались от холодных капель. Москва снова стояла пустая. На всегда шумной и многолюдной Воздвиженке в самый полдень почти никого не было – лишь ругались на углу два мокрых торговца пирогами да с Моховой неожиданно вывернула пролетка. Илья, в глубокой задумчивости шествующий посередине мостовой, едва успел прыгнуть на тротуар.

– Да чтоб тебя размазало! – выругался он.

Пролетка с дребезжанием пронеслась вниз по Воздвиженке, резко остановилась у переулка, и из нее вышла женщина. Быстро оглянувшись, она подобрала подол платья и побежала по лужам через улицу. Илья с удивлением понял, что женщина направляется к нему. Приблизившись, она нерешительно замерла в двух шагах.

– Что угодно госпоже? – со всей почтительностью осведомился Илья.

– Смоляко, морэ... – С темного, словно сожженного лица блеснули большие черные глаза. – Ты... меня не узнаешь?

– Данка?! – ахнул он.

Женщина, кивнув, грустно улыбнулась. Несколько минут Илья молча разглядывал ее.

Как была красавицей, так и осталась, проклятая... И годы ее не взяли. Даже и не сразу поймешь, что цыганка, хоть и черная, как головешка. Прическу высокую уложила, платье по моде, а дождя не испугалась. А золота-то на пальцах, отец небесный! Серьги бриллиантовые, роскошная цепочка на шее! Хоть сейчас хватай эту королеву соломенную в охапку да в ломбард неси, на вес сдавай.

– Давно ли в Москве, Смоляко?

– Второй месяц.

– Как наши все?

– А то ты не знаешь?

– Откуда, морэ, откуда? – Данка снова горько улыбнулась. – Знаешь ведь... Я для них вроде как не своя.

– Кто ж в том виноват? – резко спросил Илья. – И жалуешься на что?

Ты ведь своего добилась. Настоящая бари раны{Госпожа.} – при доме, при золотишке и при жулике своем.

Данка быстро взглянула на него, но ничего не ответила. Ее длинные худые пальцы нервно затеребили бархотку на шее. Илья смотрел на бархотку с крошечной голубоватой жемчужиной и не мог понять, почему он не уходит. Других дел нет будто, кроме как с этой потаскухой разговаривать... Хотя, если подумать, чем она потаскуха? Всяк ищет где лучше. Кто от счастья откажется, если оно само подплыло и в руку ткнулось? А Данка – таборная, у нее хватка мертвая, своего баба не упустила. Если бы не Кузьма...

– Мне бы поговорить с тобой, морэ, – наконец сказала Данка. – Все-таки столько лет не видались. Хочешь, пойдем ко мне? У меня и вино найдется.

Илья колебался. Он отчетливо понимал, что, если об этом его гостевании узнает Митро, то убьет Илью на месте. С другой стороны, страшно хотелось посмотреть, как может устроиться в жизни таборная босявка без единого родственника. Да и не похоже, чтобы она от счастья светилась. Неужто поджаривать начало?

– А Навроцкий где? – осторожно поинтересовался он.

– Боже мой, да откуда я знаю? Четвертый день не появляется...

Это решило дело.

– Ну, идем, пхэнори. Показывай, как живешь.

Илья знал, где находится особняк Данки, с месяц назад его показал другу Кузьма. Обыкновенный дом с мезонином, скрытый в глубине яблоневого сада, темный и неприветливый, Кузьма в сердцах обозвал его «кутузкой». Калитку открыл старик-дворник, покосившийся на спутника хозяйки с крайним недоверием. На крыльцо выбежала молоденькая горничная в сером платье.

– Маша, никого не принимать, – строго приказала Данка. – Из ломбарда придут – говори, нету дома. Принеси вино в нижнюю гостиную. Придет барин – скажи ему... Нет, ничего не говори. Пускай. Все, ступай.

Горничная ушла. Илье пришлось сделать усилие, чтобы закрыть рот. Вон как она научилась... Будто всю жизнь прислуге приказы раздавала.

– Идем, Илья.

В большой гостиной с розовыми обоями и ореховой мебелью Данка указала ему на широкий бархатный диван. Илья как можно уверенней уселся, оглядел комнату.

Черт знает что. Паркет, зеркала, хрустали разные... Портрет какой-то на стене в раме болтается. Кого это Данка, интересно, туда пристроила?

Господа – те хоть родню свою на стены лепят, князьев да графьев. А цыганке кого вешать, если ее бабке на ярмарке руку золотили, а дед в это время краденых коней сбывал?

– Мангав, Илья, пи{Прошу, Илья, пей.}.

Илья отвернулся от портрета и увидел, что горничная ставит на низкий столик поднос с вином. Данка взяла один бокал, улыбнулась:

– Что ты так смотришь? Я семь лет ни с кем по-цыгански не говорила.

– Ну, и не велика печаль, – отозвался он, беря бокал. Вино оказалось хорошим, чуть терпким, согревающим нутро. – Дай тебе бог еще сто лет не говорить – зато жить как жила.

– Жить как жила? – Снова горькая улыбка, старившая Данку на несколько лет, тронула ее губы. – Боже сохрани...

– Да что ж тебе не слава богу? – наполовину искренне, наполовину издевательски поинтересовался Илья, ставя бокал на стол. – Только не говори, что тебе по ночам во сне наш Кузьма является.

– А... – Данка встала, прошлась по комнате. Остановившись у окна и глядя на серую улицу, вполголоса спросила: – Так ты меня тоже судишь за это?

– Я тебе не судья, – буркнул Илья. – Всяк живет как может.

– Не брехай! – сердито возразила она. – Я понимаю, цыганки злятся – завидуют, наверно, дуры. Знали б они... Но ты-то чего, морэ, ты-то? Ты же знаешь, как у меня все сложилось!

– Знаю. Потому и говорю.

Данка молчала, стоя у окна и водя пальцем по покрытому каплями стеклу. Илья вздохнул, опустил голову. Да... Уж кто-кто, а он знал. И разве забудешь ту трижды проклятую свадьбу в таборе? Семнадцать лет прошло – а будто вчера.

– Может, мне из хора уходить не надо было? – донесся до Ильи задумчивый голос Данки. – Да, наверное, зря я ушла. Все с того и началось. Но очень уж дуре в «Яр» хотелось. Вот там-то, думала, настоящие богачи-цыгане, золото горстями меряют... Пожила, присмотрелась – а цыгане-то те же. Публика, правда, почище, миллионщики наезжали чуть не каждую ночь. Деньги, цветы, камни дорогие... Я ведь, Илья, такого сроду не видела, в таборе и сотой доли таких денег в руках не держала! И решила тогда – заживу как графиня, всем назло! Ко мне ведь купцы именитые ездили, Курицын, миллионер, граф Суровцев чуть не застрелился, замуж звал... Но я не соглашалась, всем отказывала. Думала – что толку одного доить, если десяток можно? Стала деньги собирать, золото откладывала. Цыгане завидовали, а уж цыганки... Шипели, как змеи подколодные, хоть я и в хор

много отдавала...

– Кузьму не вспоминала? – не утерпел Илья. Данка стремительно развернулась к нему, и он увидел злые слезы в ее глазах.

– И ты туда же, господи мой... Илья! Да ты ведь лучше всех понимать должен, как я с Кузьмой оказалась! Мне тогда все равно было за кого, хоть за черта плешивого, – лишь бы цыган, лишь бы замуж взял, лишь бы снова по городам одной не шляться... Тяжело ведь это, в пятнадцать-то лет! Да, не любила я его, да, да! Так ведь он меня об этом и не спрашивал! Спросил только: «Пойдешь?» Я сказала: «Пойду». И все. Никогда я ему любви не обещала, никто обвинять меня в этом не может! И он тоже! Нету у него таких-то прав!

– Наверно... Только измотала ты его дай боже. – Илья смотрел на блестящие паркетные плашки. – Он из-за тебя пить начал. Если б не Митро да не Варька моя, пропал бы уже давно.

– Это не из-за меня. – Данка отошла от окна, нервно отпивая из бокала. – Что-то Федька, муж мой второй, не запил, когда я его бросила. И миллионщики мои прекрасно себя чувствуют, и граф Суровцев так и не застрелился... Слава богу, все здравствуют и даже переженились. А Кузьма...

– Только тобой и жив.

– Илья, золотой, а что же мне поделать? – Данка совсем по-таборному вцепилась обеими руками в аккуратную прическу. – Да, знаю, знаю – он и к «Яру» ходил из-за меня, и здесь, на Воздвиженке, я его сколько раз видала пьяным. Я ведь только прикидывалась, что его не узнаю: думала, так успокоится скорее... Ну ведь ничего, ничего у меня к нему нет. И не было! Хоть зарежь! Чужой он мне...

– А этот Навроцкий, выходит, роднее оказался? – мрачно поинтересовался Илья.

Данка вздрогнула. Медленно, держась за край стола, опустилась на диван.

– Навроцкий... Да что вам всем Навроцкий? Знал бы ты, морэ... Он меня как позвал в тройку – я ни минутки не думала! Подхватилась, в шаль завернулась – и прыгнула! Хоть и знала, что в «Яр» теперь возврата не будет, он ведь за меня в хор ни гроша не заплатил... И знала, что играет, что денег нет и что не женится никогда – на цыганке-то! – и все равно... И не жалела ни о чем!

– А сейчас что же? – осторожно спросил Илья.

– Сейчас... – Данка стиснула дрожащие пальцы. – Сейчас... Плохо все, Илья. Совсем плохо. Я ведь все, как дура последняя, ему отдавала, что ни

просил, – все! Так и вытянул по грошику... И дом уже заложен, и золотишко только то осталось, что на мне. Я уж боюсь, как бы он меня саму в свои карты не проиграл.

Голос Данки был спокойным, только слезы бежали по лицу и капали на сжатые руки, на кольца, на смятую бархотку. Илья молчал.

– Одна я, Илья. Когда с ним на тройке улетела, все постромки за собой обрубила. А теперь вот и кинуться некуда. От своих оторвалась, к чужим не прилепилась... Что ж теперь... Пропадаю я, морэ.

Илья поднял глаза. Помедлив, протянул руку, слегка прикоснулся к плечу Данки – и она, зарыдав, уткнулась лицом в его грудь.

– Ох ты, дура... Какая ж дура, дэвла... Что ж с тобой тут сделали?

Ничего вроде бы особенного он и не сказал, а ее затрясло. Вцепившись обеими руками в рубашку Ильи, Данка взвыла в голос, хрипло причитая по-цыгански, как вдова над гробом. Гребень выпал из прически, и черные вьющиеся пряди ринулись вниз по худенькой спине, по алому бархату дивана. Илья растерянно погладил их, обнял дрожащие плечи Данки, закачал ее, как ребенка, вполголоса приговаривая «ч-ш-ш...». В гостиную вбежала горничная и, ойкнув, остановилась на пороге.

– Пошла вон, – одними губами приказал ей Илья.

Девчонка, глядя округлившимися глазами на Данку, испуганно прошептала:

– Барин приехали...

– Гони прочь.

– Ох... – очнулась Данка, отстраняясь от Ильи. – Зови... Скорей зови.

Горничная ушла. Данка торопливо, всеми доступными способами: рукавом, платком, пальцами – уничтожила слезы, оправила платье. Илья подал ей гребень, но на восстановление прически уже не было времени: из коридора слышались приближающиеся шаги. Данка перекинула спутанную копну волос на плечо, последний раз шмыгнула носом – и в комнату вошел Навроцкий.

Было очевидно, что «барин» не спал несколько ночей подряд. При дневном свете его худое лицо показалось Илье еще более болезненным, отчетливее выступила нездоровая желтизна на щеках, под глазами лежали синяки. Подавив зевок, Навроцкий посмотрел на Илью, нарочно не вставшего с дивана, и лишь на миг в его темных глазах мелькнуло изумление. На миг – но Илья понял, что шулер узнал его.

– Ты плакала, душа моя? – равнодушно спросил Навроцкий у Данки. – Кто тебя расстроил? Пан цыган?

– Пустое, – хрипло отозвалась она и положила ладонь на руку Ильи. –

Это мой родственник... брат.

Навроцкий насмешливо поднял тонкие, как у женщины, брови. Его взгляд скользнул с тонкого, красивого даже в слезах лица Данки на черную, сумрачную физиономию Ильи.

– Матка боска – поразительное сходство... – Пройдясь по комнате, он поднял с паркета отколовшуюся с ворота платья Данки бриллиантовую булавку. Отрывисто сказал: – Душа моя, ты напрасно приглашаешь в дом эту... свою родню. Я не удивлюсь, если ты недосчитаешься...

Он не договорил: Илью словно пружиной сбросило с дивана. Данка вскочила, вскрикнула, всплеснула руками, но ничего не помогло: Илья и Навроцкий, сцепившись, покатились по полу. Илья был сильнее и довольно быстро уселся верхом на вырывающегося поляка. Через минуту Данка взмолилась по-цыгански:

– Илья, ваш дэвлэскэ, ту умарэса лэс!{Илья, ради бога, ты убьешь его!}

– Гара трэби…{Давно пора…} – пропыхтел он в ответ, опуская кулак. Наклонившись к неподвижно лежащему Навроцкому, предупредил: – Попробуешь, свиненыш, на сестре отыграться, башку сверну!

Поляк не подавал признаков жизни. Илья встал, одернул измятую, насквозь мокрую от слез Данки рубашку и зашагал к двери.

Он был уверен, что Данка останется с Навроцким, но она вышла вслед за Ильей во двор, у калитки молча протянула руку. Он взглянул в ее мокрые, усталые глаза. Нет, ничем тут не помочь.

– Держись, девочка. – Илья отпустил ее холодные пальцы и, не оглядываясь, поспешил на серую от дождя Воздвиженку.

* * *

Над Калитниковским кладбищем – иссиза-черные тучи, мелкий дождь, пестрящий могильные плиты, тишина. Илья сам не знал, зачем явился сюда: не могла же Маргитка прибежать на встречу в такую собачью погоду... Возле часовни, конечно, никого не было. Илья посидел немного на мокром камне, пожевал травинку, встал, уже собираясь уходить, но из-за поникших кустов вдруг появился Никодим со своим заступом.

– А, ты... – без всякого удивления сказал он. – Чего сидишь? Не придет она сегодня.

– Ты почем знаешь? – буркнул Илья. Несмотря на всегда безразличный

вид старика, он чувствовал себя в обществе Никодима неловко. Все казалось, что в мыслях старик смеется над ним: «Эк тебя вляпало, цыган, на старости лет... И охота чепухой в твои годы заниматься?»

– Я все знаю, – без улыбки ответил Никодим. – Ладно, пошто мокнуть-то? Пошли ко мне, чаю дам. Али покрепче чего.

Идти к Никодиму Илье не хотелось. Но еще больше не хотелось возвращаться домой, к Настьке на глаза, и он, кивнув, поплелся вслед за стариком сквозь мокрые крапивные заросли к избушке.

В сторожке было тепло и сухо. Никодим снял с печи чайник, наполнил большие кружки с выщербленными краями, вытащил из валенка в углу начатую бутылку водки. Все это он проделал молча, к радости Ильи, которому разговаривать ничуть не хотелось. Поблагодарив кивком, он взял протянутую кружку, вылил водку в чай, чем вызвал недовольную гримасу у старика, отхлебнул кипятку. Чувствуя, как расходится по телу приятное тепло, задумался. Не о Данке. Это уже пропащая душа.

Ему-то что теперь делать, господи? Угораздило же связаться на четвертом десятке с сопливой девчонкой! Вот и вари башкой, старый дурак, соображай, как быть и куда оглобли поворачивать... В самом деле, что ли, бросить все? Уже месяц Маргитка долбит ему мозги: «Уедем, уедем... В Бессарабию, в Крым, отсюда подальше...», а ему нечего ей отвечать. На кого он, спрашивается, семью оставит? Мальчишки едва подросли, Гришку, балбеса этого с его скрипкой, давно пора женить, Дашку... Дашка – вовсе особый разговор. И Настя, Настя...

Неужели правы были они все – и Митро, и Яков Васильич, и Стешка, и... и даже Кузьма? Одни несчастья Настьке от него? И кем он будет, если оставит ее сейчас, когда она не девчонка давно, и семеро детей на шее, и не сегодня завтра внуки пойдут? Не пропадет его жена, конечно... Здесь, в хоре, со своими, ей хорошо. Будет петь, ездить в ресторан, и поклонники все прежние остались – каждый день наезжают, до ночи покоя нету: «Ах, Настасья Яковлевна, ах, несравненная, ах, соловей курский...» Тьфу. В молодые годы всю душу ему истрепала, и сейчас – мочало сначала... Может, так ей и лучше будет. Может, и давно следовало это сделать – не мучить ее, отпустить к своим… Столько лет с ним прожила, как на каторге, а зачем? Видно же, что только и думала о Москве, хоре да своих романсах. Кто знает, может, уйдет он – Настька и обрадуется... Илья вздохнул, поставил кружку на стол, взъерошил мокрые волосы. Нет, ерунда это все. И плохи его дела, если самому себе врать как сивый мерин начал.

Но Маргитка, Маргитка... Куда ее-то денешь? Девчонка совсем с ума сошла, уже чуть ли не узел связывает, готова бежать с ним на край света, ни

о ком не думает: ни о себе, ни об отце с матерью. И что он ей должен говорить? Как откажешься теперь от этих глазищ зеленых, от кожи – гречишного меда, от рук тоненьких и горячих, от груди, волос, от слов ее бестолковых? Ничего не побоялась, а ведь бабы за такие вещи всегда втрое платят... Дни напролет стоит перед глазами Маргитка, манит недобрыми глазами, улыбается, тянет руки. Дни напролет – только она в мыслях. А те короткие часы, когда Маргитка была в его руках, когда Илья откидывал теплые волосы и пил губами тонкую шею, ронял голову между тугих маленьких грудей, целовал их, шепча такие слова, за которые и в молодости сгорел бы со стыда... Что греха таить, только этими часами он и живет вот уже второй месяц, только о них и думает, только их и ждет. Пропала его голова, и чем их связь с Маргиткой кончится – даже представить страшно. Погубит он девчонку, и она его подведет под монастырь, потому что за все в жизни надо платить.

Скрипнула дверь сторожки, и от неожиданности Илья чуть не плеснул кипятком себе на колени. Никодим же, допивший чай и теперь занятый починкой старого сапога, даже бровью не повел, когда в горницу вошел высокий смуглый парень в поддевке и красной, потемневшей от дождя рубахе. Черные глаза мельком взглянули на Илью из-под густых бровей, и тому показалось, что он где-то видел этого парня.

– Будь здоров, Никодим.

– Здравствуй, – не отрываясь от работы, сказал старик.

– Слам с дела сбросить можно? Завтра коты подкатят, растырбаним. Ахча тоже есть.

– Кидай за печь.

Парень вышел. Тут же вернулся с огромным пухлым узлом, в котором угадывались какие-то меховые вещи. На Илью странный гость больше не смотрел, пристроил узел за печью, обменялся со стариком еще несколькими непонятными фразами и исчез. Илья не слишком надеялся на ответ, но все же спросил:

– Это кто, Никодим?

Тот, как и следовало ожидать, будто не услышал, продолжая тянуть из сапога дратву и вполголоса напевая «По Владимирской дорожке...». Но, пососображав, Илья вспомнил сам. Смуглый черноволосый парень был не кто иной, как Сенька Паровоз, которого он два месяца назад на Сухаревке отогнал от Маргитки.

На Живодерку Илья вернулся уже в сумерках, снова попав под ливень и вымокнув до последней нитки. У калитки стояло два экипажа, нахохлившиеся кучера проводили Илью недовольными взглядами, он

покосился на мужиков тоже без всякой радости. Опять господа понаехали. И снова к Настьке, голову можно положить не глядя. Как будто в хоре молодых девок недостача. Вон – поет-заливается на всю улицу. Илья постоял немного у калитки, слушая голос жены, вздохнул и, на ходу вытирая мокрую голову мокрым рукавом, пошел в дом.

В темных сенях его окликнул сердитый шепот:

– Илья, это ты? Иди ко мне...

Маргитка сидела на сундуке, невидимая в темноте. Илья не успел и двух шагов сделать, а она уже кинулась на шею, обхватила его за плечи, невольно отпрянула.

– Холодный весь, мокрющий... Где тебя носило, проклятый? Сколько ждать можно, полдня тут сижу! Смерти моей ты хочешь, аспид? Не смогла я сегодня, отец не выпустил. Чует он, кажется, что-то... Нечего, говорит, одной шляться, Яшку с собой бери. А зачем он мне сдался?! Я спорить для виду не стала, а завтра сбегу, как бог свят, сбегу еще до света! Иди сюда, иди ко мне...

Она потянула его в темноту. Илья, не сопротивляясь, шел за ней, а у сундука старой Тани схватил Маргитку на руки, прижал к себе, чувствуя сквозь мокрую рубаху испуганные, частые удары маленького сердца.

– Илья! С ума сошел! Отпусти, оставь, выйдет кто-нибудь... Илья, господи... ненаглядный мой, Илья...

Он торопливо целовал ее, целовал всю – волосы, лицо, руки, платье. Маргитка тихо смеялась, прижимаясь к нему, и вскоре Илья забыл о том, что в доме полно людей, что за стеной – господа, цыгане, Настя... И потому, когда рядом вдруг мелькнуло пятно света и чуть скрипнула дверь, скрип этот показался Илье громом небесным. Он оттолкнул Маргитку, та тихо пискнула, свалившись в щель между стеной и сундуком, Илья невольно заслонил ее... но те двое, которые проскользнули мимо них на темную кухню, даже не оглянулись. Илья подождал, пока кухонная дверь закроется. Тяжело сел на сундук, перевел дыхание. Спина под рубахой была мокрой от пота.

– Фу-у, святой Никола, мать-заступница... – Маргитка, пыхтя, вылезла из-за сундука. – Сердце в кишки шлепнулось, как перепугалась… Это Яшка был.

– Яшка? А с ним кто?

– Не признал? – хихикнула Маргитка, усаживаясь рядом. – Дашка твоя.

– Это что же? – Илья нахмурился. Помедлив, отстранил Маргитку: – Иди, девочка. Иди пока... – И, не дожидаясь, пока она уйдет, пошел к

кухонной двери.

– Да нужен ты им, сатана... – буркнула вслед раздосадованная Маргитка. Но Илья не услышал ее.

В кухне было ненамного виднее, чем в сенях: вставленная в стакан оплывшая свеча мигала и потрескивала фитильком, вот-вот грозя погаснуть. В дрожащем пятне света Илья разглядел две фигуры, находящиеся друг от друга на угрожающе близком расстоянии. Илья нарочно громко стукнул дверью. Послышался испуганный шепот, шорох платья. Подойдя, Илья увидел спокойное лицо дочери.

– Дадо? – не удивившись, спросила она.

Яшка стоял рядом с ней, скрестив руки на груди. Лишь подойдя вплотную, Илья разглядел на его лице некоторое замешательство. Да... Быстро они, однако, спелись.

– Дашка, выйди! – приказал он дочери. Та молча, вытянув руку, пошла к двери. Яшка, помедлив, тронулся было за ней, но Илья остановил его:

– Подожди, парень.

Яшка застыл у стола, уставившись в пол. Когда за Дашкой закрылась дверь, на кухне наступила тишина. Илья подошел к столу, снял пальцами нагар со свечи. Пламя сразу выпрямилось, ярко осветив насупленную Яшкину физиономию со сдвинутыми бровями. Глядя на огонь, Илья сказал:

– Вот что, чяво... Не морочь девке голову, я добром прошу... пока. Лучше бы мне тебя возле нее больше не видеть. Или по-другому заговорим.

Тишина. Свеча вдруг накренилась в стакане, уронив на стол несколько прозрачных капель воска. Яшка вздрогнул, поднял голову.

– Зря ты так, Илья Григорьич, – негромко произнес он. – Я до твоей дочери пальцем не дотронулся. Разбей меня бог, если вру. Я с ней не в потешки играю. Если надо, и посвататься могу.

– Это что еще за «если надо»? – проворчал растерявшийся Илья. Такого он никак не ждал и с минуту молчал, обдумывая ответ. Наконец хмуро сказал:

– Ты словами-то не бросайся. Цыган ведь, знаешь, что говоришь. Меня-то ты не обдуришь, а вот девочке голову забивать не надо. Сам видишь, какая она у меня. Бога побойся.

– Не веришь, Илья Григорьич?! – вдруг вскипятился Яшка. – Думаешь, вру? Считаешь, раз она слепая, так не нужна никому? Хоронить ее заживо можно, да? Думаешь, никому она не понадобится? Да я Дашку... Да вот хоть завтра сватов пришлю. Пришлю, и все! Имею я право, имею или нет?! Завтра! Отдашь?

– А что тебе отец скажет? – поинтересовался Илья, немного сбитый с

толку Яшкиным напором.

– А что? – искренне удивился Яшка. – Разве он не друг тебе?

Илья невесело усмехнулся. Знал бы Митро...

– Ладно, чяво. Со сватами не гони. Дело твое молодое, еще семь раз перегорит.

– Да чтоб мне... – снова страстно начал Яшка, но Илья оборвал его:

– Молчи. Еще раз говорю – подожди сватать. Жена – не подкова, посреди дороги не сменишь. Подумай вперед, нужна тебе такая баба или нет... и что ты с ней делать будешь. Не клянись, обмозгуй все, я тебя за язык не тяну.

– Но и Дашку тогда от меня не гоняй, – упрямо сказал Яшка. – Я ее ничем не обижу.

Илья посмотрел в узкие глаза парня.

– Ну... гляди у меня. Если что – я тебя на краю света найду.

Яшка просиял улыбкой и пулей вылетел за дверь. Илья посмотрел ему вслед и невольно улыбнулся, в который раз подумав: до чего же на отца похож, проклятый... Тот тоже если в голову чего заберет – оглоблей это из него не выбьешь. Как знать, может, и не останется Дашка вековушей...

Из-за стены слышались веселые голоса, звон гитар, пение, но Илье не хотелось идти к гостям. Он посидел немного на застеленных ковром нарах, глядя на сочащуюся каплями воска свечу, затем прилег. И заснул под доносящееся из зала «Черт с тобой, черт с тобой...».

Проснулся он три часа спустя от шума в сенях: гости уезжали. Была уже глубокая ночь, за окном снова барабанил дождь, свеча давно догорела и погасла. Илья сел, потянулся, поскреб голову. Дождавшись, пока в сенях смолкнет голос Иринки, допевающей отъезжую, встал и пошел к двери. В глубине души он рассчитывал, что Настя уже легла спать.

Зря надеялся: из-под двери комнаты пробивалась полоска света. Более того – оттуда слышались звуки скрипки, из чего Илья заключил, что Гришка тоже не спит. С минуту Илья медлил, раздумывая – не смыться ли еще куда-нибудь? – но дверь вдруг открылась, и мимо, не заметив отца в темноте, прошли Дашка и Гришка. Дашка, к удивлению Ильи, о чем-то оживленно говорила брату, тот кивал. Подождав, пока дети свернут на лестницу, Илья вошел в комнату.

Настя сидела у окна, вынимая из волос шпильки. Рядом на столе горела свеча, освещая черное оконное стекло, в которое Настя смотрелась как в зеркало.

– Илья? – спросила она не поворачиваясь.

– Угу. – Он сел на пол у стены.

– Где тебя носило? Мы ждали-ждали... Шеловнин приезжал с друзьями, все тебя с Варькой помнят, так хотели послушать... До полвторого сидели, все думали – ты вернешься.

– До большой чести, значит, дожил, – фыркнул Илья. – Такие знатные господа часами дожидаются.

– Что ж тут плохого? – пожала плечами Настя. – Я тебя семнадцать лет слушаю – и то иногда мороз продирает, а уж гаджэ...

– Скажи лучше, чего детям не спится.

– Ой, а Дашка тебе не говорила? – Настя быстро обернулась, и Илья увидел улыбку на ее лице. – Они с Гришкой новый романс учат – «Расставаясь, она говорила», он только-только в моду входит. Гришка на скрипке старается, а Дашка – партию первую...

– А вторую кто? – спросил Илья, чувствуя невольную обиду на дочь: Дашка не обмолвилась ему об этом ни словом.

– Там второй не надо, одним голосом хорошо. Митро говорит, что их уже можно на следующей неделе в ресторане с этим выпускать. Вот я не я буду, если Дашка первой певицей не станет! А без Гришки уже сейчас в хоре не обходятся!

В голосе Насти слышалась такая гордость, что Илья проглотил чуть было не сорвавшуюся с языка очередную насмешку. Что ж... Хочет жена, чтоб из детей хористы получились, – пусть. Тоже хлеба кусок. Илья уже давно смирился с тем, что кофаря из Гришки не выйдет. А для Дашки это и вовсе лучшая дорога. Подумав о дочери, Илья вдруг вспомнил о сегодняшнем разговоре с сыном Митро.

– Ты знаешь, что Дашка вытворяет? Захожу сегодня на кухню, смотрю... мать-заступница и все угодники...

Выслушав рассказ мужа, Настя кивнула:

– Да, я знаю. У них с Яшкой это давно, еще с весны. Он, кажется, сватать ее собирается.

– Ах, вот что! – свирепо сказал Илья. – Опять все все знают, только отец родной ни сном ни духом... Не отдам!

– Почему?

– Не отдам, и все!

Насупившись, Илья поднялся, прошелся по комнате, остановился у стены. Про себя он знал, что отдаст, конечно, отдаст. И не только за сына Митро – за черта отдал бы, если бы Дашка сама того захотела. Но вот только в голове никак не укладывалось, что его девочка, которую он рассчитывал всю жизнь продержать при себе, вдруг выйдет замуж. А ведь он, отец, уже давно смирился с тем, что никому она не понадобится, что

останется с ними... И вдруг какой-то Яшка, пусть даже и сын Митро... А, не дай бог, обижать ее будет? А шляться начнет от слепой жены? И бросит в конце концов с выводком ребятни? Он, Илья, конечно, Яшку тогда на лоскутья порвет, но Дашке-то от этого лучше не станет. Будет плакать да мучиться всю жизнь, как... как вот Настька, с неожиданной горечью подумал он. Тоже на свою голову с кобелем связалась. Да еще знала бы, чем он сейчас занимается... Глядя в темную стену, Илья подумал о том, что, если его дела с Маргиткой вылезут наружу, Настька точно от него уйдет. И не помогут ни годы, прожитые вместе, ни взрослые дети, ни прошлая любовь.

Внезапно Илья почувствовал, что жена стоит у него за спиной.

– Настя, что ты? – ему вдруг стало страшно. И бросило в холодный пот, когда Настя тихо, осторожно произнесла, чуть касаясь его плеча:

– Илья, я поговорить с тобой хотела.

– О чем? – хрипло спросил он, понимая – надо бы повернуться к ней. Но ноги словно прилипли к полу.

– Дело вот в чем, дочка Митро... Маргитка...

Все, подумал Илья, упрямо глядя в стену. Все. На что надеялся, старый мерин? Что не узнает никто, не пронюхает? Наверняка цыганки, ведьмы, проследили как-нибудь за девчонкой, когда она, одурев от радости, неслась к нему на кладбище. И, конечно, тут же доложили Насте. Мысли поскакали в разные стороны, как перепуганные лошади. Что делать теперь, господи? Отпираться? Клясться всеми святыми, что чертовы бабы врут, валить все на девчонку? Тьфу, позор какой!.. Да еще перед кем – перед Настькой, которая его как облупленного знает, которой он и врать-то не мог никогда...

– Что – Маргитка? – еле выдавил Илья и сам не узнал своего голоса.

– Гришка просил меня... Он хочет Маргитку за себя взять, хотел, чтоб я с тобой поговорила. Да что с тобой?

– Ничего, – едва сумел ответить он.

Так вот что... Гришка... Поганец!

– Что с тобой, Илья? – уже чуть испуганно повторила Настя, глядя в изменившееся лицо мужа.

Чувствуя, как понемногу отпускает сжавшая горло судорога, Илья подумал: слава богу, что от свечи света почти нету, а то руки дрожат, как будто кур воровал. Испуг прошел, и вместо него накатила беспричинная душная злость – на себя, на Настю, на этого сопляка Гришку, на вертихвостку Маргитку, которая уже успела и парню голову задурить между делом. Дэвла, поубивать бы их всех и... и уехать в табор! К своим! К Варьке! Надоело все к чертям!

– Сватать, значит, хочет? Ну так вот что я тебе скажу. В своей семье пока я хозяин! Насчет Дашки с Яшкой – поглядим, еще неизвестно, захочет Митро слепую невестку или нет. А Маргитку я в дом не возьму, хоть сдохните!

– Почему? – шепотом спросила Настя. Илья видел, что она и в самом деле сильно удивлена, но это лишь подхлестнуло его.

– Почему?! А тебе тут про нее ничего не рассказывали? Девке семнадцать всего, а она целыми днями одна по Москве хвост задравши бегает! Ни отец, ни мать ничего поделать с ней не могут! И не ты ли мне рассказывала, что она Митро в грош не ставит? Отца не слушает, так неужели мужа будет? Ты подумай немного головой своей бабьей. Совсем рехнулась – за сына потаскуху сватать? Послушай, что про нее говорят! Погляди на нее! Хочешь, чтобы Гришка через неделю и свою жизнь, и нас с тобой проклял?

– Но ведь Гришка... – начала было Настя. Но Илья перебил ее:

– И не смей со мной больше об этом! Все! Хватит!

Настя что-то еще сказала, но Илья, не слушая ее, вышел за дверь, хлопнув ею так, что звон разнесся по всему дому, сбежал вниз по лестнице и вылетел из темных сеней на улицу. Ночная Живодерка была пуста, ветер шелестел мокрыми листьями, дождь тут же намочил рубаху, и стало холодно. Илья передернул плечами. Зная, что Настя сейчас стоит у окна и смотрит на него, торопливо пересек темный двор, вышел за калитку и зашагал прочь – сам не зная куда.

ГЛАВА 11

Стук в дверь раздался во втором часу ночи.

– Эй, сестрица... Илюха... Вставайте!

– Что такое, бог ты мой... – простонал Илья, отрывая голову от подушки. – Кузьма, сдурел ты, что ли? Только-только легли...

– Вставайте, рая{Господа.} приехали!

– Тьфу, хол-лера... Настька, слышишь? Поднимайся!

Жена уже и без этого встала с постели. Илья с некоторой завистью наблюдал за тем, как она ловко и быстро, словно ее и не разбудили среди ночи, приводит в порядок волосы, натягивает платье, плещет в лицо из ковша в углу. Не цыганка, а солдат. По боевой трубе раз-два – и готова.

– Илья, что же ты? – спросила она через плечо, надевая перед зеркалом серьги. – Идешь?

Илья сел на постели, почесался, с тоской думая о том, что после проведенного в ресторане вечера не проспал и часа. Настя, уже готовая, стояла у двери и прислушивалась к шуму снаружи.

– Кого же это принесло?

– Твоего Толчанинова небось... Или Майданова. – Илья зевнул. – И что тебе в этом за радость, не пойму.

Настя молча улыбнулась. Взглянув на мужа, взяла гребенку, несколько раз провела по его всклокоченным волосам.

– Чисто леший, право слово. Идем, Илья. Наши уже внизу все.

Настя оказалась права: нижняя зала была полна цыганами. Гитаристы настраивали инструменты, Митро, дающий «главную ноту» остальным, помахал спускающемуся с лестницы Илье рукой и кивнул на диван. Там в окружении молодых цыганок сидели гости. Оглядев смеющихся, еще заспанных девчонок, Илья убедился, что Маргитки среди них нет.

– Кто приехал? – спросил он у Кузьмы.

– Это к Маргитке. И где там она, козявка? Первая ведь услышала, что подъезжают, весь дом всполошила... Прическу, что ли, наворачивает?

К Маргитке? В сердце тут же царапнулось что-то нехорошее. Илья внимательнее присмотрелся к приехавшим и с досадой убедился, что одним из гостей был собственной персоной Сенька Паровоз. Сейчас он уже не выглядел приказчиком из сухаревской лавки. Первый вор Москвы сидел в вальяжной позе, закинув ногу на ногу, мягкая шляпа лежала рядом с ним на столе, из-под расстегнутого пиджака был виден атласный жилет с

золотой цепочкой от часов. Стоящая рядом Иринка что-то весело спрашивала у него, Сенька отвечал, показывая в улыбке крупные белые зубы. Двое других гостей явно были «из чистых»: приличные чесучовые костюмы, пенсне, аккуратно подстриженные усы, а у одного из них Илья даже с изумлением заметил в нагрудном кармане записную книжку с вложенным в нее карандашом. Господи всемилостивый, как это Сеньку в такую компанию занесло?

– Дмитрий Трофимыч, где дочь-то? – весело спросил Сенька у подошедшего с гитарой Митро. – Вы замуж не спровадили мою красавицу?

– Как можно, Семен Перфильич? – усмехнулся Митро. – Обожди, сей минут будет. Как твою милость увидала – сейчас начесываться кинулась. Скажи лучше, кто это с тобой? Владислава Чеславыча знаю, а вот с молодым барином не имею чести...

– А, эти... – Семен быстро оглянулся на своих спутников, задумался на минуту и вдруг, не сдержавшись, совсем по-мальчишески прыснул в кулак. – Это знаешь кто, Дмитрий Трофимыч? Господа сочинители! Мне их дядя Хиляй из «Ведомостей» сосватал, третий день за мной ходют как нанятые!

– Зачем?! – изумился Митро.

– Изучают! – расхохотался Сенька. – Я на Сухаревку – они за мной, я на Хитров – они туда же! И не боятся ведь, черти, только бледные уж оченно ходили там... Книжку про меня хотят писать, вишь, до чего дожил! Еще и в дело со мной просются! Чую, что и на каторгу их с собой брать придется!

– А что, к тому идет? – серьезно спросил Митро.

Посерьезнел и Семен.

– Да знаешь ведь, в нашем деле всяко бывает. Все под богом ходим.

Митро понимающе кивнул и снова занялся гитарой. Сенька с нетерпением уставился на лестницу. Один из гостей что-то торопливо строчил в записной книжке. Илья тоже взял гитару, пробежался пальцами по ладам, делая вид, что проверяет настройку, а сам исподтишка рассматривал ночного гостя и прикидывал – узнал ли его Сенька. С виду, кажется, нет...

За два месяца, проведенные в Москве, Илья уже не раз слышал о Сеньке Паровозе. И дело было отнюдь не в ухаживаниях последнего за Маргиткой. Слава Сеньки как первого налетчика гремела на всю Москву. Несмотря на молодость (ему было двадцать пять лет), Семен уже успел стать главной головной болью московского сыска.

Дитя Хитрова рынка, сын уличной красавицы и вора-домушника,

Сенька с ранних лет оказался предоставлен самому себе. С оравой таких же оборванных огольцов он носился по Хитровке и прилегающим переулкам – там вырвут сумку у обывательницы, там налетят на почтенного господина и в минуту обчистят карманы, там собьют лоток с головы торговца и расхватают пироги и сайки... Мать, умирая, передала мальца «с рук на руки» своему тогдашнему обожателю – громиле Степке Пяткину. Пяткин на могиле возлюбленной поклялся сделать из «шкета» человека. Степкина шайка воров-домушников наводила тогда ужас на весь город, и атаман пристроил мальчишку стоять на стреме. Впрочем, на этой бездоходной должности Сенька не задержался и вскоре участвовал в налетах на квартиры москвичей на равных с другими ворами. Ему было тогда одиннадцать лет. А в пятнадцать, когда Степку Пяткина зарезали в трактире «Пересыльный», Сенька занял место атамана. Ни один из взрослых воров не воспрепятствовал этому: за молодым домушником прочно держалась слава лихого парня, отчаянной смелости вора и надежного товарища, который не сдаст своего даже под страхом смерти. Именно Сеньке пришла в голову мысль ограбить квартиру обер-полицмейстера Москвы Власовского. Он же и попытался привести свою идею в исполнение, но делу помешало досадное недоразумение: Сенька ошибся окнами и влез к соседу Власовского генералу Мордвинову. У того оказалась дома кухарка, поднявшая крик на весь переулок. На вопли сбежались дворники, жандармы и пожарные. Но все это ополчение не помешало Сеньке смыться по крыше и стать, несмотря на провал операции, главным героем Хитровки. Он возглавил шайку домушников, готовых идти за него в огонь и в воду, – и Москва задрожала.

В скором времени Сеньке показалось, что квартирные кражи – слишком мелкое занятие для делового человека, и он решил переквалифицироваться на грабежи магазинов. Любого другого на этом опасном повороте карьеры неизбежно ждал бы арест и пересыльный дом, но Сеньке невероятно везло. Полиция всего города гонялась за ним по Москве, устраивались облавы и проверки, ловились Сенькины подельники и любовницы, «накрывались» квартиры, где воры «тырбанили слам», но Паровоз уходил, как вода сквозь пальцы, тем самым умножая свою славу среди московского жулья. О нем сочинялись легенды, пелись песни в тюрьмах и ночлежках, рассказывались захватывающие истории. А манера Сеньки совершать грабежи восхищала даже все перевидевших обитателей Хитрова рынка. Обычно происходило это так. Средь бела дня к большому магазину на Кузнецком мосту или на Тверской подъезжал извозчик. Из пролетки не спеша выбирался Сенька, одетый настоящим барином –

костюм-тройка, мягкая шляпа, плащ или летнее пальто через руку, – за ним шли двое-трое его громил. Компания входила в магазин, останавливалась у главного прилавка, Сенька неторопливо вынимал «смит-и-вессон» и, выставляя его на всеобщее обозрение, деловито заявлял:

– Так, господа покупатели, прошу внимания. Я – Семен Паровоз, это – мои мальчики, мы здеся сейчас грабеж чинить будем. Нервных просят удалиться, жертвы нам без надобности. Барышнев просим не верещать и в обмороки не хлопаться: я чувствительная натура, расстроиться могу. Ежели агенты имеются – так машинка моя заряженная.

В считаные минуты магазин пустел – публика удалялась на удивление быстро и организованно, и в обморок действительно никто не падал. Полицейские агенты, если таковые и имелись среди посетителей, ни разу себя не проявили: «машинку» свою Сенька в самом деле заряжал. Перепуганный старший приказчик или сам хозяин без лишних слов открывал кассу и ссыпал всю выручку в объемистые саквояжи Сенькиных помощников. Сенька вежливо раскланивался, делал несколько замечаний насчет погоды, желал успешной торговли, обнадеживал: «Может, еще как-нибудь зайдем» и спокойно, никем не преследуемый, уезжал на извозчике. И лишь после этого начинались положенные вопли, крики, обмороки и вызов полиции. А вечером того же дня приказчики ограбленного магазина в кругу восхищенных слушателей взахлеб рассказывали о «представлении» Сеньки, и по Москве пускалась новая легенда.

Ходили слухи о том, что Сенька заговоренный: недаром его не могла поймать московская полиция, недаром пули агентов при облавах свистели мимо, даже не задевая скачущей с крыши на крышу мишени. Сам Сенька всячески поддерживал такие слухи, важно говоря: «Мне тюрьма на роду не написана. Ежели и сяду, так по своей воле, как отдохнуть от вас, дураков, пожелаю». И продолжал внаглую громить магазины и богатые лавки.

У женщин Паровоз пользовался бешеным успехом. Любая из мессалин Хитровки сама готова была заплатить любые деньги, лишь бы «дролечка» Семен переночевал в ее комнатенке. Хитрованками Сенька не брезговал, но менял их как перчатки, заводя новую «любовь» чуть ли не каждую неделю. При этом была у него на содержании актриса оперетты, худая еврейка с лихорадочно горящими глазами, которой Сенька снимал квартиру в Столешниковом переулке. Экзальтированная певица изводила Сеньку своей ревностью и истериками целый сезон, пока он не приметил в «Эрмитаже» примадонну венгерского хора мадемуазель Терезу. За Терезой последовала персидская танцовщица Зулейка, за Зулейкой – эфиопская царевна Рузанда, подвизавшаяся на подмостках кафешантана в Петровском парке. Устав в

конце концов от всей этой экзотики, Сенька взял себе толстую и белую Агриппину из публичного дома на Грачевке и жил с ней почти по-семейному, изредка отвлекаясь по старой памяти на хитрованских девиц, до тех пор, пока не зашел в ресторан Осетрова и не увидел там Маргитку.

На сей раз Сеньку, по его же собственному выражению, «забрало до косточек». Целый месяц он каждый вечер появлялся у Осетрова, сорил деньгами, оставлял в хоре солидные суммы и дарил хихикающей девчонке бриллиантовые серьги и кольца с изумрудами. Митро, глядя на Сенькины ухаживания, важно заявлял, что меньше чем за тридцать тысяч он дочь не отдаст. Сказано это было потому, что Митро прекрасно знал: скопить такие деньги первый вор Москвы не в состоянии. Сенька слишком любил шумные кутежи, большую карточную игру и публичные дома и запросто проматывал в два-три дня огромные суммы, «взятые» в очередном магазине. Однако к цыганам Семен по-прежнему приезжал запросто, дарил Маргитке золото, звал с собой в Крым. Та смеялась, не говорила ни «да», ни «нет» и, по мнению цыган, сама была немного влюблена.

Стоило Илье подумать про Маргитку – и девчонка тут же появилась на лестнице. И ведь слышала, чертова кукла, прекрасно слышала, как подъезжали господа, подняла весь дом, раньше других кинулась переодеваться и устраивать прическу – и все равно замедлила шаг и остановилась посреди лестницы как громом пораженная, раскинув руки:

– Да боже ты мой, радость-то какая! Семен Перфильич, солнце мое непотухающее, вот не ждала! Думала уж, позабыл ты свою Машку, Семен Перфильич, свет мой, позабросил...

В ее голосе зазвенели самые настоящие слезы, и Илья в который раз поразился: ну и актерка! Если бы не видел, как она тогда на Сухаревке посылала этого Сеньку ко всем чертям, – подумал бы, что она, по нему тоскуючи, ночей не спит.

Сенька вскочил как поджаренный.

– Машка! Тебя позабыть! А ну-ка, иди ко мне, иди сюда! – Он взлетел по лестнице, прыгая через три ступеньки. – Позволь-ка ручку...

– А целуй обе! – милостиво разрешила Маргитка, протягивая руки. Сенька поочередно приложил их к губам, а затем легко подхватил девчонку и понес вниз. Проходя мимо Митро, весело подмигнул:

– Не в обиде, Дмитрий Трофимыч?

– Да бог с тобой, Семен Перфильич... Была бы девка рада... – равнодушно буркнул Митро, но в глазах его скакали веселые чертики.

Внизу Маргитка вырвалась:

– А ну пусти... Эй, Яшка! Гришка! Петя! Давайте нашу переулошную,

Семена Перфильича любимую!

Не попросила – приказала, но молодые гитаристы с готовностью сорвались с места. Еще не успели вступить гитары, а Маргитка уже запела, уперев кулаки в бока и откидываясь назад, глядя прямо в лицо Паровоза зелеными недобрыми глазами:

Разгулялись-разыгрались в огороде свиньи,
Сенька спит себе на крыше, я – на пианине!
Трынди-брынди, ананас, красная калина,
Не поет давно у нас девочка Марина!

– Это еще что? – изумленно спросил Илья у Митро. Тот в ответ, пожав плечами, усмехнулся:

– Вот такое теперь поем, морэ... Ей-богу, иногда вспомнишь, как Настька со Стешкой на два голоса «Не шумите, ветры буйные» или «Не смущай» выводили, – просто сердце кровью обливается! А что поделать? Каков спрос, таков и товар...

Илья только махнул рукой. Автоматически продолжая наигрывать на гитаре нехитрую мелодию, глядел на то, как Маргитка бросается в пляску и, разошедшись, бьет дробушки по-русски, выставив вперед острые локти и блестя зубами.

Моя теща по хозяйству сильно беспокоится,
Цельный день козла доила – а козел не доится!

Паровоз смотрел на нее, улыбался все шире... и вдруг сорвался с места, как пружина, взвился в пляске, завертелся вокруг Маргитки, дробя каблуками пол. Цыгане хором подхватили припев незамысловатой песенки:

Трынди-брынди, ананас, красная калина,
Не поет давно у нас девочка Марина!

Под конец пляски Сенька схватил Маргитку на руки, вместе с ней повалился на диван, поцеловал под сумасшедший хохот девчонки, и у Ильи еще сильнее заскреблось под сердцем. Понимая, что думает глупости, что Маргитка старается для хора, делает деньги, что даром ей не нужен этот

Сенька, он все-таки не мог избавиться от непонятной досады. Чтобы не смотреть на обнимающуюся с Паровозом Маргитку, Илья отошел к окну, сел на подоконник. От нечего делать принялся разглядывать «господ сочинителей», не участвующих в веселье и о чем-то тихо разговаривающих за столом. Вернее, говорил один из них, тот, что помоложе, с буйной шевелюрой рыжеватых волос и голубыми навыкат, как у лягушонка, глазами. Записная книжка лежала, раскрытая и забытая, перед ним, а карандашом молодой человек размахивал, как дирижерской палочкой.

– А вы отговаривали меня сюда идти, Владислав Чеславыч! Я всегда считал, что цыгане – чудо нашей эпохи. И прелесть что за девушка эта Маша! Живая, удивительная, влюблена в нашего героя...

– И не удивительная, и не влюблена, – брюзгливо перебил его собеседник, человек лет сорока с острым лицом, сильно испещренным морщинами, и лысиной, проглядывающей в гриве темных, зачесанных назад волос. – Не быть тебе вторым Толстым, мой друг, слишком ты восторжен. Покажи этой Маше сотенный билет – и она тебе изобразит еще не такую вселенскую страсть.

– Вы циник, Заволоцкий, – со вздохом заметил молодой человек. – Но согласитесь хотя бы, что эти песни, эти пляски египетские – необыкновенны! Право, ничто не умеет так растеребить души, как цыганская песня. Вот вы упомянули Толстого, а Лев Николаевич и сам писал...

– Лев Николаевич, Алеша, тоже человек и может писать глупости, – раздраженно возразил Заволоцкий. – Я, слава богу, двадцать лет занимаюсь теорией музыки. И могу утверждать со всей определенностью, что никакой цыганской песни и никакого цыганского танца нет и не было. И не только в России, но и во всем мире.

– Не кощунствуйте, Заволоцкий! – сердито сказал сочинитель. – Всему есть предел. Обоснуйте хотя бы ваше чудовищное предположение.

– Извольте. – Заволоцкий, не поворачиваясь, указал в сторону сидящей на диване с Паровозом Маргитки. – Два часа назад, в ресторане, эта ваша египетская богиня пела «Успокой меня, неспокойного». Давай спросим кого угодно из хора. Да вот хоть этого... Любезный, подойди-ка! – обратился он к Илье, который с растущим интересом прислушивался к разговору. Тот быстро спрыгнул с подоконника:

– Что угодно вашей милости?

– Скажи-ка, друг, «Успокой меня, неспокойного» – цыганская песня?

– А как же?! – поразился Илья, не раз слышавший этот романс еще во времена своей молодости от хоровых цыганок. – Самая что ни на есть!

– Уверен ли ты в этом?

– Да ее еще моя прабабка пела! – не моргнув глазом заявил Илья.

– Ну вот тебе, Алеша, – пожал острыми плечами Заволоцкий. – А если ты помнишь университетский курс литературы, «Успокой меня, неспокойного» есть сочинение Дениса Давыдова. Бравый гусар сложил романс, показал цыганам, те его с удовольствием запели, и через полвека – пожалуйста, цыганская песня. Давеча захожу в нотный магазин на Кузнецком, прошу показать новинки, передо мной гордо выкладывают «Сборник цыганских песен». Беру, читаю – и что же? «Кашка манная», «Не стой передо мною», «Калинка», «Не целуй, брось» – все русские стихи, русские песни... Третьего дня слушал Вяльцеву. Объявляют цыганский вальс «Струны уныло звучат». Таскин берет вступление, Анастасия Дмитриевна – дыхание, зал замирает и... «Хотел бы в увлеченьи к груди твоей прильнуть и в этом упоеньи умчаться в дальний путь»! Мало того что текст сам по себе пошлейший, сочиненный приказчиком из Охотного ряда! Но чего же, скажи мне, в этих виршах цыганского?! Даже «Шэл мэ вэрсты», что с таким успехом поют в «Стрельне», даже это – и то просто переложение известной русской песни «Сто я верст, молодец, прошел»! Цыгане исполняют то, что от них хотят слышать, только и всего.

Видно было, что молодой человек несколько сбит с толку. Он растерянно рисовал кривые рожицы на полях записной книжки и тер кулаком лоб. Илья, тоже озадаченный, снова сел на подоконник и, радуясь тому, что о нем забыли, продолжал слушать спор.

– Н-ну, предположим... Допустим... – Алексей пририсовал одной из рожиц рожки и отложил карандаш. – А что вы еще говорили по поводу пляски, которой якобы тоже не существует? Как же это тогда у Лескова?..

– Да оставь ты в покое сочинителей, Алеша! Такие же Владимиры Ленские, как и ты... Марья Дмитриевна! Марья Дмитриевна, нельзя ли тебя на минуточку? – позвал Заволоцкий, и Илья, повернувшись, убедился, что «Марья Дмитриевна» – это не кто иная, как Маргитка, с комической важностью подошедшая к столу. Сенька хоть и остался сидеть на диване, тем не менее не спускал с нее глаз.

– Что изволите, Владислав Чеславыч? – с улыбкой спросила Маргитка, опираясь рукой о столешницу. Тот невольно улыбнулся ей в ответ.

– Видишь ли, Маша, у нас тут профессиональный спор. Не покажешь ли ты начало своей «венгерки» – то, как ты танцуешь в ресторане, медленную часть?

– Для вас всегда с удовольствием, – церемонно поклонилась Маргитка. – Эй, кто там есть? Илья Григорьич, подыграй-ка!

Она взглянула на Илью смеющимися глазами, повела плечами и, не дожидаясь аккомпанемента, пошла плясать.

Илья видел эту ее пляску много раз. И в ресторане, на сверкающем паркете, и на кладбище, когда она кружилась, босая, по траве, и дома, среди цыган. И всякий раз сладкий вздох замирал в горле, когда он смотрел на эти плавно поднимающиеся, как крылья, руки, тонкую талию, узкий мысок туфельки, скользящий под подолом. Он чуть было не выругался от возмущения, когда прямо посреди пляски Заволоцкий резко сказал: «Спасибо, довольно» – и Маргитка застыла с поднятыми руками.

– Ну, знаете ли, Владислав Чеславыч! – обиженно выпалила она. – Барышнями своими в балетном классе так командуйте, а я...

– Ну, что ты, Маша, – досадливо поморщился Заволоцкий, – у меня в мыслях не было тебя обидеть, и, я уверен, сегодня ты еще станцуешь мне все до конца... Но сейчас позволь вопрос. Была ли ты в этом сезоне в театре на балете?

– Была, как не быть... – растерянная Маргитка по-детски затеребила край платка. – На «Лебединое озеро» бегали на Пасху.

– Ну вот, что и требовалось доказать! – удовлетворенно воскликнул Заволоцкий, откидываясь на спинку стула. – Алеша, эти ее па-де-де, эти батманы тебе ничего не напоминают?

– Но не хотите же вы сказать... – медленно начал сочинитель.

– Именно! Именно что хочу! Обычное привнесение балетных па в русскую «Барыню». А зимой твоя Маша насмотрелась в Петровском парке «Черкесских плясок» и два месяца скакала в ресторане, как балаганный черт. Купечество в восторге – как же, цыганские страсти! А потом были выступления в «Эрмитаже» эфиопской царевны Рузанды, и пожалуйста – эти переплетенные руки и запрокидывания корпуса!

– То есть...

– Манера, мой милый! Манера исполнения, наложенная на танцевальные движения, только и всего. И, заметь, неважно, на какие движения – балетные, народные, псевдоэфиопские и бог знает какие еще! То же самое, что делают севильские гитаны и румынские лаутары. Я не удивлюсь, если в следующем сезоне наши цыганки запляшут «Танго смерти» – говорят, оно в большой моде в Париже...

Маргитка, видя, что на нее не обращают внимания, надменно задрала подбородок и отошла от стола.

– Змея, а не человек, – пожаловалась она Илье. – Сидит, смотрит, слушает – и все ему не так! И песни не те, и пляски не такие, и двадцать лет назад голоса были, а сейчас – смех один...

Тот только пожал плечами, не поняв из ученого разговора и половины.

– Раз не нравится – чего ходит?

Маргитка фыркнула, что-то ответила, но Илья уже не услышал ее. Потому что в двух шагах, у другого окна, негромко запела Настя.

Он совсем забыл, что жена тоже находится здесь, в этой комнате, в двух шагах от него. Настя стояла лицом к окну, глядя в темный сад, где шуршал дождь. Ее стройная фигура в черном платье казалась статуэткой. Свечи бросали мягкий свет на высокую прическу, играли искрами на браслетах. Настя пела вполголоса, явно для себя, но Илья расслышал слова. Давно она это не пела.

Как хочется хоть раз, последний раз поверить…
Не все ли мне равно, что сбудется потом?
Любовь нельзя понять, любовь нельзя измерить,
Ведь там, на дне души, как в омуте речном…

В зале один за другим смолкли разговоры. Илья давно привык к такой реакции на пение жены, но и у него уже побежали мурашки по спине. Дэвла... и откуда в ней это? Понимая, что надо бы подойти и подыграть ей, раз уж все слушают, он не мог сделать ни шагу и лишь стоял и смотрел на стройную и прямую спину Насти, на блеск свечей в ее волосах, на тонкие пальцы, лежащие на подоконнике. Она сама повернулась к мужу. Чуть улыбнувшись, взглядом попросила: помогай. Илья хорошо помнил этот романс и сразу же нашел вторую партию. Дальше они пели вместе.

Проглянет солнца луч сквозь запертые ставни,
И все еще слегка кружится голова,
И в памяти еще наш разговор недавний,
Под струнный перебор звучат твои слова…

Краем глаза Илья увидел светлую дорожку, бегущую по щеке Насти. Он поспешно отвернулся и заметил, что Сенька Паровоз сидит на самом краешке дивана, весь подавшись вперед, и с полуоткрытым ртом слушает романс. Вот-вот, дорогой, с неожиданной гордостью подумал Илья. Это тебе не «Трынди-брынди, ананас». Прибавил дрожи струнам, и голос Насти взлетел к потолку и забился там на такой горькой ноте, что Илья невольно умолк, закрыл глаза. Настька... Ох, Настька... В ноги бы тебе повалиться за

все, что было, и за то, что сейчас творится...

Не нужно ничего – ни слов, ни сожалений,
Былого никогда нам больше не вернуть.
Но хочется хоть раз на несколько мгновений
В речную глубину без страха заглянуть…

Пусть эта глубь – безмолвная,
пусть эта даль – туманная,
Сегодня нитью тонкою связала нас судьба.
Твои глаза бездонные, слова твои обманные
И эти песни звонкие свели меня с ума…

Романс кончился. Мягко вздохнув, смолкла гитара. Илья стоял с низко опущенной головой, не решаясь встретиться глазами с женой. Он сам не знал, чего боится, но чувствовал: один-единственный Настькин взгляд, и он невесть что сотворит.

В полной тишине с дивана поднялся Сенька Паровоз, быстро перешел комнату, не скрывая восторженного изумления на лице. Сейчас особенно было видно, как еще молод этот знаменитый на всю Москву налетчик. Подойдя к Насте, он уставился на нее в упор. Та, уже успев вытереть слезы, встретила его спокойным ясным взглядом.

– Откуда ты, мать? – с запинкой проговорил Сенька. – Я... тебя не видал тут ране.

– Разумеется, – улыбнулась Настя. – Я здесь в гостях. Зови меня, парень, Настасья Яковлевна.

Она протянула руку. Сенька осторожно взял ее в обе ладони, спросил:

– Можно?.. – И, дождавшись улыбки, неумело поцеловал. Затем, спохватившись, полез в карман, вытащил деньги не считая.

– Вот... Это – тебе. Все тебе. И это...

Смятые ассигнации усыпали подоконник, несколько бумажек упали на пол. Настя кивнула:

– Спасибо, молодец. – И, не поднимая упавших билетов, отошла. За ассигнациями Сенька нагнулся сам, собрал их все, передал Илье. Он взял не кланяясь, краем глаза увидел бледное, застывшее лицо Маргитки с закушенными губами. Забившись в угол дивана, она ненавидящим взглядом смотрела на Настю.

– Иезус Мария... Настасья Яковлевна? Илья! Вы? Это вы?!

Все в комнате обернулись на этот возглас. Заволоцкий, бледный, с дрожащими губами, утративший свой лениво-презрительный вид, неловко поднимался из-за стола. Выйдя, он устремился к Насте, но на полпути остановился, повернулся к своему спутнику и срывающимся голосом сказал:

– Вот, Алеша... Вот она.

– Та самая?.. – прошептал молодой человек, невольно оглядываясь на висящий над роялем портрет. А Заволоцкий уже переводил глаза с Ильи на Настю, растерянно улыбался и спрашивал:

– Но... как же так? Откуда? Из каких степей далеких?.. Господи, как я мог не разглядеть, не узнать так долго...

– А вот я вас сразу узнала, Владислав Чеславыч, – спокойно сказала Настя. – Хоть и изменились сильно. Кудри утратили...

– Да что кудри, что кудри, Настасья Яковлевна! – всплеснул руками Заволоцкий, и Илья, удивленно переводящий глаза с жены на барина, только сейчас сообразил, кто находится перед ним.

Мать честная, сто лет прошло... Отчетливо вспомнился ледяной январский вечер, темный зал, отблески свечей, юноша-студент, смущенно читающий свои стихи, глаза Насти, совсем девчонки, восхищенно сжавшей руки. Кажется, она тогда первой и закричала: «Надо из этих стихов романс сделать!» И получились «Твои глаза бездонные», и он же, Илья, пел это целый сезон.

– Но, как же вы, Настасья Яковлевна? Куда же вы исчезли? Илья, как ты мог ее увезти из хора? Как мог уехать сам?! Видит бог, такого тенора, как у тебя, я больше не слышал нигде и никогда. Слышишь, Алеша, – нигде и никогда! Клянусь великой тенью Чайковского!

– Не трожьте покойников, Владислав Чеславыч, – проворчал Илья. – Теноров на Москве без меня немерено. Рассказали б лучше, сами-то как?

– Да что я... – Заволоцкий отвечал Илье, но не отрываясь смотрел на Настю, и она улыбалась ему глазами. – Что я... В молодости все казалось ветерком, столько было надежд и чаяний, столько прожектов, и вот... Извольте видеть: учитель бальных танцев. Попутно сотрудничаю в «Московском листке» вот с этой юной надеждой отечественной журналистики.

– Да что ж тут плохого? – Настя опустилась на стул, жестом пригласила Заволоцкого сесть рядом. – Это ведь дело, барышень обучать. И в газету писать тоже нужно, если с умом. А стихов больше не сочиняете?

– Ушли вы – и ушло вдохновение, – серьезно произнес Заволоцкий. – Поверьте, как только вы скрылись из Москвы, не смог выжать из себя ни

строчки. Даже в университете в Татьянин день. Не так давно видел в магазине ноты нашего с вами романса, который вы только что пели. Разумеется, стоит имя другого автора, название – «Твои глаза зеленые», отчасти изменен текст... Купил как воспоминание о буйной юности. Пылится теперь на полке. А как Илья его пел, боже праведный!

– Он и сейчас не хуже поет, – сказала Настя, и Илью поразила нежность, скользнувшая в ее голосе. Он невольно взглянул на жену, поймал ее улыбку. Притворно нахмурившись, спросил:

– Нэ, со – мангэ тэбагав ваш лэскэ?{Ну, что – мне петь для него?}

– Сбага{Спой.}, Илья, – неожиданно ответил вместо Насти Заволоцкий, и Илья, смутившись, сообразил, что все студенты маслишинской развалюхи вполне сносно изъяснялись по-цыгански.

– Простите, Владислав Чеславыч... Не забыли романэс?{По-цыгански.}

– Кое-что помню. Я ведь часто бываю здесь и в других хорах, занимаюсь изучением цыганского искусства. Но что обо мне! Ты спой, пожалуйста. Мой друг такого, ручаюсь, никогда не слышал... да и не услышит более. Илья, ради бога, «Отойди, не гляди» вместе с Настасьей Яковлевной! Алеша, немедленно сюда!

Но тот уже и сам торопливо подошел, сел верхом на стул и по-детски опустил голову на кулаки. Настя положила руку на гриф гитары мужа. Илья вздохнул и взял аккорд. Перед тем как начать петь, покосился на диван и увидел, что ни Маргитки, ни Сеньки Паровоза нет в комнате.

На улице шел дождь. Невидимые капли стучали по листьям, тихое шуршание наполняло ночной воздух, трава блестела в свете окон. Стоя на крыльце, Маргитка куталась в шаль, с болезненной гримасой вслушивалась в поющие голоса.

– Поет, проклятый... С ней поет! С ней!

– А ты чего хотела? – Стоящий рядом Паровоз вытер мокрое от дождя лицо, усмехнулся. – Она ему жена, а ты кто?

Маргитка молча повернулась к нему. Сенька встретил ее прямым наглым взглядом:

– Думала – не узнаю?

– Да что ты знаешь? – попыталась усмехнуться Маргитка, но губы ее дрожали. Паровоз заметил это, нахмурился. Сказал уже без издевки, злым отрывистым голосом:

– Я ведь не слепой, промежду прочим. И на Калитниковском кладбище тож дела имею. Раз тебя увидел, раз – его. А потом и обоих. Никодим, старый черт, молчит, но вы ж в его хибаре не романцы складываете, поди.

Маргитка, стиснув зубы, упорно смотрела в темноту сада. Ее пальцы судорожно сжимали шаль у самого горла. Не глядя на Паровоза, она хрипло спросила:

– Тебе что до того?

– Спрашиваешь – что?! – Сенька взял ее за запястья, с силой развернул к себе. – А не боишься, что я твоему отцу скажу? Что цыгане твои узнают? Что жена его...

– Нет! – вырвалось у Маргитки. – Паровозик, брильянтовый! Не она только! Христа ради, только не Настька! Илья убьет меня, понимаешь? Убьет!

Семен молчал, улыбался, но лицо его было недобрым. Глядя в упор на парня, Маргитка сдавленно спросила:

– Что взамен хочешь, серебряный?

Семен, не переставая улыбаться, нагнулся к ней и прошептал несколько слов. Маргитка отпрянула как ошпаренная:

– На Хитровку?!

– Как знаешь. – Сенька потянулся всем телом, засвистел. – Ежели нет – прямо сей минут к твоему отцу иду. Иль к Настасье Яковлевне. Такую бабу грех дурить.

– Не ходи. – Маргитка снова стянула на груди шаль, прислонилась к мокрой стене дома. Сквозь зубы сказала: – Будь по-твоему. Мне терять нечего.

Паровоз молчал. Если бы Маргитка взглянула на него сейчас, она увидела бы, что первый вор Москвы изрядно растерян. Но Маргитка, не отрываясь, смотрела в темный сад. А в освещенном доме два голоса – сильный красивый тенор и серебряное меццо-сопрано – сплетаясь, тосковали:

Нам блаженства с тобой не дадут, не дадут,
А меня с красотой продадут, продадут…

Гости уехали под утро. Цыгане разошлись, в доме наступила тишина. Илья и Настя последними поднялись в свою комнату. В темноте Илья, как был одетый, повалился ничком на постель.

– Разделся бы хоть... – попросила Настя.

Он повернулся, приподнялся на локте. Из-под полуопущенных век проследил за тем, как жена зажигает свечу, как, устало вздохнув, садится перед зеркалом и медленно вынимает шпильки из прически. Черные пряди

освобожденных волос одна за другой падали на спину. В зеркале Илья поймал Настин взгляд. Опустив глаза, пробурчал:

– И как ты его узнала только? Старик стариком, лысина, как паркет, сверкает...

– Не знаю... Сразу вспомнила.

– Из-за него плакала-то?

– Что? – изумленно повернулась к нему Настя. Поймав напряженный взгляд мужа, взялась за голову, с улыбкой простонала: – Ох, Илья... И когда ты уймешься только? Я ведь уже старуха!

– Хороша старуха... Даже Паровоз этот – и тот ошалел. Все карманы вывернул перед тобой, чуть на колени не упал.

– Ну, Паровоз... Он – мальчик. Поди, и песен-то приличных не слыхал никогда.

– Плакала ты! – упрямо сказал Илья. Он сам не знал, зачем ему понадобился этот разговор, чувствовал, что ищет неприятностей на свою голову, но забыть о светлой дорожке, пробежавшей по Настиной щеке, уже не мог.

– Ну, что ж... плакала. – Настя опустила руки с последними шпильками, перебросила волосы на плечо. Тихо вздохнула. – Тебя слушала.

– Меня?! – растерялся Илья. – Меня?.. А я думал...

У него хватило ума не закончить фразы, но Настя не заметила его замешательства. По-прежнему сидя спиной к мужу, она смотрела в зеркало.

– Я ведь тебе всегда говорила: за твой голос весь хор отдать не жаль. Я еще девчонкой была – разум теряла от него. Сейчас-то ты редко поешь, уж не знаю почему... Но как заведешь что-нибудь, у меня вся душа дрожит. Жаль, что у тебя одни кони в голове.

Илья, не отвечая, поднялся, перешел комнату. Сел на пол рядом с женой.

– Настька... Ничего, если спрошу?

– О чем? – Она не удивилась.

– Скажи, а вот если бы... Вот если бы я петь совсем не умел? Был бы, как пенек, безголосый, даже «Обманула-провела» не вытянул бы? Ты бы тогда... Пошла бы ты со мной тогда?

Тишина. Настя молчала, а Илья не смел поднять глаз. Сидел на полу, смотрел на полукруг света, очерченный свечой. И уже не ждал ответа, когда услышал тихий не то смешок, не то всхлип.

– Конечно, пошла бы. Забыл, как я тебя любила?

– Любила все-таки? – попытался усмехнуться он. Остро, как никогда в жизни, болело сердце. И даже голос жены слышался будто издалека:

– Вот глупый... И любила, и люблю. Что это тебе в голову пришло?

Илья, не ответив, уткнулся в ее колени. Долго сидел так и, когда встревоженная Настя уже наклонилась к нему, вдруг резко вскочил и опрокинул ее на постель.

– Илья! Господи! Илья! Ты с ума сошел! Нет, видали вы, люди добрые, – устал он! – испуганно отбивалась Настя. – Да успокойся ты, жеребец, что ж тебя под утро разобрало? Дети вот-вот проснутся! Отстань, сдурел совсем! Опять к осени с пузом буду, цыгане со смеху умрут!

– Ты мне жена! – прорычал Илья, с размаху валясь рядом с ней. – Забыла?! Напомню сейчас! Будет пузо – будешь рожать! Это тебе не романсы распевать!

– Бог ты мой... – рассмеялась Настя.

Сбрасывая рубаху, Илья едва успел дунуть на свечу, и комната погрузилась во мрак.

ГЛАВА 12

– Дадо, бога ради! Дадо, вставай! Да проснись же!

– Что такое? – Илья сел на кровати.

Комнату заливало солнце, от ночного дождя не было и следа. Кинув взгляд на ходики, Илья убедился, что уже три часа дня. В дверях стояла перепуганная Дашка.

– Чяери, что случилось? – Илья сообразил, что, раз уж Дашка ворвалась в спальню родителей, происходит что-то из ряда вон.

– Отец, быстрей, они друг друга поубивают! – Эти слова Дашка прокричала уже с лестницы.

Перепугавшись, что она свалится со страха, Илья наспех оделся и побежал за дочерью.

Панорама открывалась такая: во дворе, перед крыльцом, поднимая брызги грязи и дождевой воды, катались, вцепившись друг в друга, Гришка и Федька Трофимов. Дашка кричала: «Спасите!», из окон высовывались головы цыган, а на прислоненной к стене дома лестнице, обхватив колени руками, сидела безмятежная, как статуя, Маргитка. С одного взгляда Илья понял, что весь сыр-бор из-за нее.

– Эй, пшала{Братья.}, Гришку бьют! – раздалось из-за дома.

Оглянувшись, Илья увидел, что через двор с грозными воплями и лопатой наперевес несется его Илюшка, а за ним, крича и толкаясь, вся ватага братьев вместе с пятилетним Ванькой, подтягивающим на бегу штаны. Не успел Илья остановить их, как сверху грянуло: «Гриха, я сейчас!», и из окна второго этажа во двор прыгнул Яшка. Он с ходу кинулся в куча-мала, и по двору покатился комок из сцепившихся мальчишек. Вдобавок из-за забора послышалось: «Федька, держись!», и Илья понял, что сейчас на поле битвы примчатся все одиннадцать Трофимовых с мамашей во главе. Встречаться в бою со Стешкой Илье вовсе не улыбалось, и он, набрав воздуху, рявкнул на весь двор:

– Эй, авэла, чяворалэ!{Хватит, парни.} Хватит!

Верещащий клубок тут же распался. Младших сыновей при виде сердитого отца как ветром сдуло, только Илюшкина лопата валялась в растоптанной луже. На крыльце всхлипывала Дашка. На земле остались сидеть Яшка, Гришка и размазывающий по физиономии кровь Федька.

– Очумели?! – заорал на них Илья. – По очереди вам штаны спустить? Девок перепугали до смерти!

– Извини, Илья Григорьич, – сдержанно ответил Яшка, вставая на ноги. – Не заметил тебя. – И тут же, едва переведя дыхание, гаркнул на Маргитку: – Из-за тебя опять, оторва?! Косы выдеру!

Он и в самом деле размахнулся дать сестре подзатыльник, но та, оскалившись, зашипела ему в лицо так, что Яшка отпрянул.

– Тьфу... кошка подзаборная. Пошла вон отсюда!

Маргитка презрительно фыркнула, слезла с лестницы и зашагала через двор к калитке. Девчонка уже прошла мимо Ильи, не взглянув на него, когда он не выдержал:

– Рада, чертова кукла?

Маргитка обернулась. Без улыбки, зло спросила:

– Что же мне – повеситься пойти? Извини, морэ, некогда.

Только сейчас Илья заметил, что девчонка одета по-уличному: серое платье, жакет, шляпа, сумочка.

– Куда тебя черти несут?

– Тебе что за дело? – отрезала она и быстро вышла за калитку.

Илья шагнул было следом, но, поймав недоумевающий взгляд Яшки, поспешно вернулся. Федька Трофимов тем временем успел смыться через забор в свои владения, и Гришка сидел на земле один. Вокруг него вертелась Дашка с мокрым полотенцем. Глядя на детей, Илья вдруг вспомнил, что сегодня вечером Дашка впервые собиралась выступить в ресторане с новым романсом и Гришка должен был аккомпанировать ей. Нашел время морду разбивать, чертов сын!

– Целый? – свирепо спросил Илья, подходя к ближе. – Или добавить тебе? Кто первый начал?

«Добавить» он пригрозил для порядка, Гришке и так досталось. Физиономия сына была разбита в кровь, левый глаз заплывал, на скуле красовалась огромная ссадина. Вытирая красную струйку в углу рта, он хмуро сказал:

– Я начал.

– Ей-богу, выпорю! – пообещал Илья, в глубине души чувствуя некоторое уважение к сыну: Федька Трофимов был на голову его выше и на два года старше.

– Из-за нее? – кивнул он на незакрытую калитку.

Гришка покраснел так, что это было заметно даже под слоем грязи. Хрипло проговорил:

– Кто ее потаскухой назовет – убью.

– Так ведь, чяво, может, и верно? – глядя в сторону, произнес Илья. – Вот куда она сейчас умотала? И где вчера была? Знаешь ты? Нет? То-то и

оно.

Гришка тяжело дышал, смотрел в землю. Помедлив, Илья продолжил:

– Мать говорила – ты ее сватать хочешь?

Гришка кивнул.

– Мне такая невестка не нужна. – Илья помолчал. – Хочешь – уговаривай ее, и убегайте вместе. Только мне после этого на глаза не показывайся.

На разбитой скуле Гришки шевельнулся желвак, и Илья понял, что разговор о бегстве у сына с девчонкой уже был. И понятно, куда она его послала...

– Слышишь ты меня?

– Слышу, – не поднимая глаз, буркнул Гришка.

Благодаря бога, что сын не смотрит на него, Илья встал и направился к дому. На душе было отвратительно.

В сенях его остановила расстроенная Дашка:

– Отец, как нам теперь вечером-то? Я думала, Гришка со мной по столикам ходить будет, а куда же ему после этого...

– А я что поделаю?

– Может... может, ты мне сыграешь? Это совсем просто, ты этот романс знаешь. Там всего семь аккордов! Пожалуйста!

Несколько секунд Илья смотрел в заплаканное лицо дочери. Затем, стараясь, чтобы в голосе не проскользнула радость, сказал:

– Убиться мне с вами. Идем попробуем.

* * *

Глядя прямо перед собой и прижимая к груди сумочку, Маргитка шла по Солянке. Она старалась идти быстро, но ноги сами собой замедляли шаг: это была последняя улица перед Хитровым рынком – самым гиблым местом Москвы. Обширную площадь Хитровки занимали ночлежки, кабаки и доходные дома, забитые оборванцами всех мастей. По залитым помоями переулкам болтались проститутки от семи до семидесяти лет, ползали нищие с полуголыми увечными детьми, орали торговки требухой и «рванинкой», собирающейся в трактирных отбросах. Ближе к вечеру появлялась хитровская аристократия – воры. Здесь обитали и «портяночники», не гнушавшиеся раздеть своего же брата нищего, и «фортачи», промышляющие по окнам, и «поездушники», на ходу

вырывающие сумки и саквояжи у благонамеренных граждан, и самый решительный элемент – «деловые ребята», у которых водились и ножи, и револьверы. Хитровку называли воровским царством, куда простой москвич не осмеливался зайти даже средь бела дня. Будочники, «державшие» Хитров рынок, были «своими в доску» и «деловых» без лишней надобности не беспокоили, а воры, в свою очередь, не трогали их. В трактирах Хитровки можно было отыскать и беглых каторжников, но делать этого никому не хотелось: даже полиция не рисковала соваться в «Пересыльный» или «Сибирь». Самым отчаянным местом считался трактир под неофициальным названием «Каторга», где продавали выпивку, держали притон, скупали краденое и прятали беглых. Именно там назначил Маргитке встречу Сенька Паровоз.

Извозчик довез Маргитку до начала Солянки, в Спасо-Глинищевский переулок, а дальше, сколько она ни сулила денег, ехать отказался. Когда же Маргитка попросила проводить ее до Хитрова рынка, старик чуть не свалился с козел, замахал руками и, перекрестившись на церквушку, торжественно заявил, что и пятки его «в этой выгребной яме» не будет.

«И вам, барышня, там делать нечего! Ей же богу, разденут и в чем мать родила по улице пустят! И хорошо, если разденут только, а то могут и... Не место вам там вовсе! Хочете – обратно без платы свезу?»

Больше всего Маргитке хотелось согласиться и поскорей прыгнуть назад, в старенькую пролетку. Но она хорошо помнила лицо Сеньки вчера, когда они стояли на крыльце дома. Паровоз не шутил. И поэтому Маргитка покачала головой, расплатилась с причитающим извозчиком и, прижимая к груди сумочку, отважно зашагала вниз по Солянке. Собираясь на Хитровку, девушка постаралась одеться похуже, а из сумочки благоразумно вынула все, кроме огромного столового ножа, похищенного у кухарки.

Солянка заканчивалась. Прилично одетых людей навстречу попадалось все меньше, зато на глазах множились нищие. Они с изумлением посматривали на брюнетку в потертом сером платье и обтрепанной шали, крепко прижимавшую к груди ридикюль странных очертаний (нож уже проткнул ткань в двух местах) и затравленно озиравшуюся по сторонам. Какая-то оборванка с завернутым в грязные тряпки младенцем подошла к Маргитке:

– Подайте на ребеночка, барышня благородная...

Маргитка шарахнулась в сторону, чуть не уронив сумку. Хотела было сказать, что у нее нет ни копейки, но язык словно примерз к зубам. Нищенка с минуту молча мерила ее блеклыми, пустыми глазами, затем презрительно буркнула:

– Шаманаются тут всякие... – и отошла.

Маргитка, отдышавшись, продолжила свой путь. Встреча с нищенкой неожиданно подбодрила ее. «Да ты цыганка, милая, или барыня кисельная?! – ругала она себя, приближаясь к дышащим туманом трущобам Хитровки. – Вон, нищей испугалась, а там, на Хитровом, – и воры, и убивцы, и ссыльнокаторжные... То ли еще будет! Ох, Илья, ох, паскудник этакий, все через тебя, сатана проклятая, все через тебя... Да шевели ты живей копытами, дурища!»

«Шевелить копытами» становилось все трудней: Хитровка обступила Маргитку облезлыми домами с сырыми стенами, туманом, клубящимся в бегущих вниз переулках, красными оконцами ночлежек, голодными кошками. Мимо уже дважды пробегала ватага полуодетых мальчишек, бросающих на Маргитку настороженные взгляды. На третий раз Маргитка не выдержала, остановилась, вынула из сумочки нож, вывернула и встряхнула пустой ридикюль: мол, ничего нет. Мальчишки остановились, сосредоточенно пронаблюдали за ее действиями. При виде ножа заухмылялись. Один из них, лет тринадцати, с наглым, изъеденным коростой лицом и желтыми глазами помойного кота, отделился от ватаги и вихляющей походкой пошел к Маргитке.

– А кудай-то их несет, такую ма-ла-ду-ую? – фальшиво запел он, и Маргитка, несмотря на испуг, поморщилась. – Не сопроводить ли, барышня? Ищете когой-то? Не за кавалером ли? – ломаясь, цедил подросток сквозь гнилые зубы. – Може, и я сгожусь?

Его товарищи грохнули похабным хохотом. Несколько оборванцев постарше, куда-то пробирающиеся вдоль стен, замедлили шаг, наблюдая за сценой. «Ну, все!» – подумала Маргитка. По спине побежал холод. Тем не менее она нашла в себе силы сказать:

– Осади назад, аметистовый.

– Вона – карахтерная! – заржал мальчишка, однако сбавить ход и не подумал. Когда он приблизился вплотную, Маргитку обдало густой волной вони, и она, закашлявшись, чихнула. Зрители снова загоготали; вокруг Маргитки и мальчишки собралось кольцо.

– Спирька, куда с рылом немытым? Оне ж благоро-о-одныя!

– Барышня, вы не глядите, что вонят! Он снутри забористый!

– Жеребец с тухлинкой! Встало – не ложится, хомута не боится!

– Спирька, сопроводи красавицу в номера! Они согласные!

Спирька, нахально щерясь, потянул руку к груди Маргитки. Она стояла не шевелясь, оцепенев от ужаса. При виде этой покрытой грязью, коростой и цыпками руки с черными, полуоблезшими ногтями ее затошнило. Но

мысль о том, что сейчас ее вырвет прямо на виду у хохочущей толпы оборванцев, внезапно придала Маргитке смелости. Она сжала потной рукой кухаркин нож и молча полоснула Спирьку по физиономии – крест-накрест. Тот успел отпрянуть в последний момент, лезвие едва задело щеку, но мальчишка заверещал так, будто его зарезали. По толпе нищих пронеслось гудение, и Маргитка поняла: ей конец. Она прижалась к стене, выставила нож перед собой и закрыла глаза.

Неожиданно дикий Спирькин визг смолк. Подождав с минуту и убедившись, что никто не собирается ее убивать, Маргитка осторожно приоткрыла один глаз. Спирька по-прежнему стоял перед ней и широко улыбался:

– Что ж ты сразу не сказалась, дура? Насилу признал! Ты – Машка-цыганка с Живодерки! Паровоза слюбовница!

– Да-а-а... – прошептала она.

– А кой черт тебя сюда понес? Да еще с саблей такой? – Спирька легко вынул хлебный нож из рук Маргитки, повертел его в пальцах, швырнул в сторону и ухмыльнулся еще шире. – Ох, знатная шашка! Ты б еще топор приволокла! За каким лядом приперлась?

– Меня Паровоз ждет в «Каторге»... – пролепетала лишенная оружия Маргитка.

Спирька перестал улыбаться, нахмурился:

– В «Каторге»?! Что, у Семена мозги скисли? И ты дотудова одна дошлепать думаешь? А ну пошли вон отседа! – вдруг истошно заорал он на окруживших их хитрованцев. – Не видите, што ль, зеленые ноги, – барышня по делу! Валите, говорю, не то рассерчаю!

Маргитка обеспокоенно подумала о том, что вряд ли маленький Спирька, даже «рассерчав», справится со взрослыми оборванцами, но те неожиданно послушались и, недовольно ворча, тронулись своей дорогой.

– Я – припадошный! – весело пояснил Спирька. – Ежели чего не по мне – ужас что могу сотворить! Давеча одному болдоху нос откусил. Вцепился – и висю себе, в двенадцать рук тянули, только с носом и оторвали.

– И не убил этот человек тебя? – для поддержания беседы спросила Маргитка. Зубы стучали на всю Хитровку, но Спирька не заметил этого.

– Собирался, конешно, да я-то убег! Да и носа ему не больно жалко было, через месяц сам бы отвалился... – Грязная рука с обломанными ногтями решительно схватила Маргитку за локоть. – Идем, что ли, залетная...

Маргитке безумно хотелось вырвать локоть, но она боялась рассердить

своего неожиданного провожатого и всю дорогу до трактира шла за весело болтающим Спирькой, стараясь дышать пореже. Вокруг, несмотря на дневное время, становилось все темнее, стены домов словно сходились, образуя узкий коридор, местами моргающий красными оконцами, все гуще делался смрадный туман, из которого появлялись и снова исчезали в серых клубах непонятные личности. Кое-кто, задержавшись, мерил глазами Маргитку, но Спирька объяснял: «Паровоза мадаму веду», приправлял сие пояснение отборной бранью, и трущобное существо безмолвно скользило дальше. Когда из дома рядом раздался пронзительный женский визг и мужское рычание, Маргитка невольно сжала Спирькино плечо. Тот стряхнул ее, проворчав:

– Да не хватайся ты, шалава... Чего спужалась? Кот маруху учит, всего и делов...

Словно в подтверждение его слов, из дома (испуганной Маргитке показалось, что прямо из стены) опрометью вылетела девчонка лет четырнадцати с огромным животом и окровавленным лицом, вслед за ней – парень с пудовыми кулаками. Оба помчались вниз по переулку, тут же скрылись в тумане, и до Маргитки доносились теперь только вопли:

– Ой, Сереженька, ой, миленький, ой, не в живот, выкину, выкину...

Маргитку начало колотить. Чтобы не разреветься при Спирьке, она начала мысленно читать все известные молитвы. Она уже разделалась с «Отче наш», «Богородица дева, радуйся» и «Достойно еси воистину» и собиралась переходить к апостолам, когда Спирька показал ей на две разбитые ступеньки:

– Вот тебе «Каторга». Заходи, гостем будешь.

– Нет, я с тобой, – торопливо сказала она.

Спирька заржал, потянул тяжелую разбухшую дверь и втолкнул Маргитку впереди себя.

Внутри самого знаменитого хитровского трактира царил полумрак, лишь слегка разгоняемый огоньками керосинок. Когда глаза Маргитки немного привыкли к этой мгле, она разглядела столы, покрытые обрывками скатертей, грязный, мокрый пол, усеянный битым стеклом, опрокинутые табуреты, какие-то узлы вдоль стен, стойку буфетчика с чадящей свечой, вставленной для устойчивости в бутыль с отбитым горлышком. За столами сидели оборванные люди. На вошедших никто не обратил внимания. Прямо под ногами у Маргитки заворочалась пьяная женщина. Маргитка попятилась. Спирька сплюнул, пнул пьяную босой ногой, процедил сквозь зубы: «Разлеглась, лахудра...», и заорал на весь трактир:

– Эй, беспашпортные, Паровоза видал кто?

– Чево вопишь, скаженный? – спросил из-за стойки буфетчик – низенький лысый человек с рябым лицом. Он один из всех присутствующих был чисто одет и спокойно перетирал полотенцем толстые стаканы из зеленого стекла. – Какого тебе Паровоза?

– Что – еще один завелся нам на радость? – рассердился Спирька. – Кликните его там, к нему мадама явилась. Да убери грабилки, коровья морда! Не твоя баба, не хватай!

То ли посетители трактира боялись Паровоза, то ли не хотели наблюдать очередной Спирькин припадок, но Маргитку никто не тронул. Пузатый буфетчик аккуратно положил полотенце на залитую вином стойку и исчез в едва заметной двери за тряпичной перегородкой. Спирька повертелся по трактиру, отыскал свободный табурет, смахнул с него тараканов, протер полой пиджака и предложил Маргитке:

– Посиди пока, мадама!

Садиться на липкую от пролитого вина табуретку Маргитке не хотелось. Ее спасло возвращение буфетчика, который невозмутимо направился к своим стаканам, а вслед за ним из низкой двери вышел Сенька Паровоз.

Было видно, что первого вора столицы подняли с постели: рубаха на нем оказалась расстегнута до живота, черные волосы, в которых запутался подушечный пух, всклокочены. Зевнув, Семен оглядел трактир, потер кулаком глаза, отодвинул локтем сунувшуюся было к нему с пьяным поцелуем полураздетую бабу.

– Да пошла ты, шалава... Спирька, ты звонил? Какого еще...

Он не договорил, встретившись взглядом с Маргиткой. Мгновение Семен молчал. Затем одним могучим прыжком пересек трактир, схватил Маргитку за плечи и застыл, уставившись на нее во все глаза. Медленно, словно через силу, выговорил:

– Ты? Здесь?

– Сам же звал. – Маргитка передернула плечами, сбрасывая руки Паровоза. При виде Сенькиной физиономии к ней частично вернулось самообладание. Она сумела даже надменно задрать подбородок. – Мог бы и получше местечко подыскать.

– Да я же... Вот шаленая девка... – растерянно сказал Семен. – Кто ж знал, что ты явишься?

– Уговор ведь был.

– Да как тебе в голову взбрело в «Каторгу» прийтить?! Как ты дошла-то? Живая? Целая?

– Я сопроводил, – встрял Спирька.

Паровоз смерил его тяжелым взглядом, полез в карман и вытащил монету. Спирька, сунув ее в рот, поклонился, невнятно прошепелявил:

– Оченно вами благодарны за милость...

Паровоз, не обратив на него внимания, взял Маргитку за руку и потащил за собой.

В верхней комнате трактира было довольно чисто. На открытом окне чуть шевелилась ситцевая занавеска, кровать с лоскутным одеялом стояла развороченная, подушка лежала на полу. На столе без скатерти валялись в беспорядке карты, рассыпанные папиросы, огрызки яблок, скорлупа орехов и «смит-и-вессон», который Паровоз поспешно сунул под матрас.

– Ну и отчаянная твоя башка цыганская! – восхищенно проговорил Сенька, становясь перед Маргиткой. – Додумалась – на Хитровку явиться! Да здесь и полиция-то шляться боится! Мои господа писатели вечор со мной только до Свиньинского дошли, а там – назад. Спужались, видишь! Нешто не понимаешь, что тут с тобой сотворить могли?

– Понимаю, – враждебно буркнула Маргитка. – Ты что, вчера шутил, аметистовый?

– Не шутил, но пьяный был, не думал, что говорю, – немного смущенно ответил Семен. Взглянув на Маргитку, снова широко, по-мальчишески улыбнулся. – Кабы знал – номер в «Астории» снял бы самый дорогущий, а тут... Ну, погоди, я за Ерофеичем пошлю. Вина хочешь? Конфетов каких, яблок – заказывай!

– Время – деньги, красавец, – сухо оборвала его Маргитка, садясь на разобранную постель. – Мне к вечеру домой успеть надо, в ресторан идти. Уговор наш помнишь? Побожись, что ни слова про нас с Ильей Настьке не скажешь. И не только ей – никому.

Паровоз молчал. С его лица сошла улыбка, взгляд стал жестким. Маргитка тревожно посмотрела на Семена, и в голову ей вдруг пришло, что здесь, в трактире «Каторга», Паровоз может сделать с ней все, что захочет, – и без всяких обещаний. «В окно кинусь», – отчаянно подумала она.

– Чтоб мне век свободы-матушки не дождаться... – хрипло поклялся Паровоз.

– Отвернись.

Семен не пошевелился. Маргитка пожала плечами, повернулась к нему спиной. На стул легло платье, за ним – рубашка. Забравшись под одеяло, Маргитка отрывисто сказала:

– Ну? Говорят тебе – времени мало...

Медленно, не сводя глаз с Маргитки, Паровоз стянул через голову

рубаху.

Через полчаса Маргитка стояла у стула и одевалась – быстро, как солдат, опаздывающий в караул. Сенька, лежа в постели, следил за ее движениями. Его смуглое лицо казалось еще темнее обычного.

– Куда спешишь? Провожу...

– Обойдусь. – Маргитка накинула поверх кое-как застегнутого платья шаль, шагнула было к порогу, но тут же вернулась.

– Дай денег.

Семен встал, поднял с пола скомканные штаны, полез в карман. Маргитка следила за вором воспаленными сухими глазами. Губы ее были плотно, до белизны сжаты. Семен вытащил несколько кредиток, положил на стол. Маргитка не глядя взяла одну. Коротко пояснила:

– Это на извозчика, – и тронулась к двери.

– Погодь! – Сенька догнал девушку, взял за плечо. Маргитка молча скинула его ладонь. – Да что ж ты, зараза!.. – взорвался наконец он. – Сама ведь пришла!

– Уговор не забудешь? – спросила Маргитка.

– Тьфу! Эк ты за своего любочку дрожишь! Не бойсь, Паровоз свое слово держит, балаболить не буду. – Семен вернулся к столу, встал у окна. Глядя на улицу, глухо спросил: – И что ты в нем сыскала-то, распроети твою мамашу? Он же тебе в отцы годится! Женатый! Детей орава! Да чем он меня-то лучше, Илья твой, чем?!

– Да всем, – спокойно ответила Маргитка, идя к двери. Уже на пороге остановилась, посоветовала: – Ты смотри не сказывай никому, почему я к тебе приходила.

– Это отчего ж?

– Не позорься.

Стукнула дверь. Минуту Паровоз стоял не двигаясь. Затем несколько раз молча, с силой ударил кулаками по столу. Стол затрещал, с него полетели на пол папиросы и игральные карты. Снова скрипнула дверь, в щели показалась изумленная физиономия буфетчика, но Семен не повернулся, и она исчезла.

Маргитка рассчитывала, что ее проводит Спирька, но, когда она спустилась в трактир, тот был уже вмертвую пьян и лежал под столом, пристроившись головой на перекладине. Рядом сидела грязная девчонка лет десяти и, вцепившись руками в редкие волосы, навзрыд причитала:

– Ой, и с какой-такой радости голубь мой запил-та-а-а-а?..

Увидев Маргитку, она тут же перестала выть, вытерла кулаком нос и деловито предложила:

– Сопроводить до Солянки, мадама благородная? Не боись, не обижу.

Вдвоем они вышли из трактира. Прямо на крыльце валялся пьяный оборванец огромных размеров и храпел, как першерон. Пока Маргитка раздумывала, как удобнее обойти эту тушу, девчонка вцепилась в него обеими руками и, дико завопив: «Да навязался на хребет, скотина!!!», свалила его с крыльца в лужу.

– Идем!

– Спирька тебе кто? – поинтересовалась Маргитка, когда они отошли от трактира. – Брат?

На испорченном прыщами и коростой лице девчонки появилось мечтательное выражение.

– Куды – брат... Любовь! До гробовой доски! На ночь я только с им ложуся!

До самой Солянки Маргитка не сказала ни слова. Менять полученную от Паровоза кредитку ей не хотелось, и она отдала провожатой свою шаль. Девчонка посмотрела изумленно и, не поблагодарив, кинулась в щель между домами, видно, боясь, что «благородная мадама» передумает. Маргитка быстро, почти бегом пошла вверх по Солянке.

Старик-извозчик дожидался в Спасо-Глинищевском. Маргитка взобралась в пролетку, обхватила плечи руками. Хрипло бросила:

– Вези.

– Куда везть-то? – сочувственно спросил извозчик. – Обратныть на Грузинскую?

Маргитка задрала голову, ища солнце. Было около пяти часов вечера.

– Нет. На Калитниковское кладбище отвези. Тут недалече.

До самого кладбища Маргитка сидела не шевелясь, глядя в одну точку, и вздрогнула от окрика извозчика:

– Приехали, барышня!

Подняв голову, она тупо, словно пробудившись ото сна, посмотрела в заросшее пегой бородой лицо старика. Чуть было не спросила: «Куда приехали?», но, оглядевшись, увидела ограду и церквушку кладбища. Садящееся солнце тянуло лучи сквозь листву старых лип, повсюду стайками толклись комары. Со стороны церкви доносился слабый колокольный звон.

Маргитка пошла на другой конец кладбища, туда, где дикие заросли лопухов и лебеды закрывали старые могилы, а кроны старых лип сходились над головой в плотный зеленый шатер. Проходя мимо часовни, она по привычке бросила взгляд на треснувшую плиту, хотя и знала, что сегодня Ильи здесь нет. В избушке Никодима тоже не было никого, и дверь

оказалась приперта заступом. Маргитка продралась сквозь полынные дебри, спугнула ежа, копошившегося в лопухах, пролезла сквозь пролом в кладбищенской стене и, цепляясь за торчащие из земли корни деревьев, начала спускаться в овраг.

В овраге, как всегда, не было ни души. В зарослях лозняка посвистывали пеночки, над коричневыми камышинами дрожали стрекозы, блестела зеленоватая вода кладбищенского пруда. Поглядывая на поросший розовым иван-чаем склон оврага, Маргитка принялась раздеваться.

Сначала она свирепо, докрасна, натерлась крупным серым песком. Ополоснулась из пригоршни, сорвала стебель иван-чая и, скрутив его жгутом, долго терлась и им. И лишь после этого, зайдя по грудь в теплую, как парное молоко, зеленую воду, наплавалась в пруду до головной боли.

В дом на Живодерке Маргитка прибежала уже в сумерках. Никаких объяснений по поводу своего полдневного отсутствия у нее заготовлено не было, но, войдя в калитку, она убедилась, что расспрашивать ее сегодня никто не станет. Все мужское население дома сидело во дворе. В доме слышались встревоженные женские голоса, мимо Маргитки, едва не сбив ее с ног, пронеслась Катька Трофимова. Маргитка поймала ее за рукав.

– Эй, что случилось?

– У матери твоей началось! – выпалила Катька.

– Господи, давно?

– Полчаса как! Я за повитухой! Тебя отец искал!

Маргитка побежала в дом. Там суетились цыганки, мелькали полотенца, кипятилась вода. Приставая то к одной, то к другой, Маргитка выяснила, что еще днем Илона была весела и здорова, готовилась ехать с хором в ресторан, смотреть на Дашкин «дибют», вместе с Настей в сотый раз расставляла в талии гроденаплевое платье и уже собиралась натянуть его на себя, но, подняв руки, вдруг охнула, опустилась на пол и заявила: «Вон мужиков из дома!»

В считаные минуты все мужчины были выгнаны во двор, вслед за ними отправились дети и молодые девчонки, и дом заполнился пожилыми цыганками. Маргитку, едва объяснив ей, что происходит, немедленно выставили тоже. Оказавшись снова во дворе, она нос к носу столкнулась с отцом, но тот, похоже, не заметил ее. Он стоял посреди двора в одном сапоге на босу ногу и вопил:

– Чертова баба, выбрала время! Сто раз ей говорил, рожай с утра, так нет! Как в ресторан идти – здравствуйте! И вот куда я теперь поеду?!

– Ничего, Трофимыч... – Кузьма сочувственно подал ему второй сапог. – Ей не в первый раз, управится.

– Знаю я, как она управляется! – Митро, прыгая на одной ноге, натягивал сапог. – Полон дом девок, восемь голов на мою шею! И что – сейчас опять то же самое? Хватит с меня! Никуда не поеду! Здесь буду сидеть и ждать, кто там вылезет! Если опять баба – убью обеих! Дешевле обойдется! Что я – Савва Мамонтов, приданое на них собирать?!

– Морэ, а как без тебя-то? – осторожно спросил сидящий на перекладине лестницы Илья. – Кто «В предчувствии разлуки» петь станет?

– Вот ты и споешь! – отрезал Митро. – И не маши руками, вытянешь. Эх, жалко, на Дашку твою не посмотрю... И Настька тоже ехать отказывается, говорит – с Илонкой останется, вроде у нее самой тоже так было. – Митро мучительно скреб обеими руками волосы. – И что, дэвла, за день такой – сто рублей убытка... И Яков Васильича, как на грех, нету... Да ты смотри у меня там! – Это уже адресовалось Кузьме. – Чтоб за вино не смел хвататься, когда господа предлагают, сколько раз говорить! Надерешься, потом тебя домой волочить – позора не оберешься.

– Отвяжись, – огрызнулся Кузьма.

– Ну и все тогда. Собирайтесь. Да, Смоляко... Гришку своего дома оставь, куда ему с такой мордой – как яйцо пасхальное... И когда только я от вас ото всех избавлюсь, господи прости?!

На последний вопрос Митро Илья отвечать не стал. Голова была забита сегодняшним Дашкиным выступлением, и то, что Настя не едет с ними, всерьез беспокоило Илью. Он отчаянно боялся провала дочери, хотя днем, аккомпанируя ей на гитаре, убедился, что поет Дашка верно и все ноты «дотягивает» как положено. Выбранный Дашкой романс, несмотря на то что он был новым и модным, Илье совсем не нравился. Дочери он не говорил ни слова, но с Настей спорил до хрипоты: «Совсем вы с ума сошли! Что она в этой песне понимать может? Его не всякая-то певица в годах споет! Вот все вы, хоровые, полоумные! Сто раз слышал – вылезает девчонка десяти лет, в позу встанет, шалью обмотается и – «Ста-а-арасть, как ночь, мне и им угрожает...» Тьфу!»

Настя смеялась, но переубеждать Дашку не собиралась. Да и сама дебютантка, кажется, ничуть не была обеспокоена. «Ничего, дадо, – успокаивала она отца. – Спою».

Илья огляделся, ища дочь. Дашки нигде не было видно, зато на глаза ему попалась Маргитка, сидящая на крыльце и глядящая в одну точку. К ней подошел нахмуренный Митро:

– Где тебя носило?

Маргитка не ответила, не повернула головы. Кажется, и не слышала отца. Когда Митро, разозлившись, заорал на весь двор: «Где шлялась, я

спрашиваю, паршивка?!», она вздрогнула. До Ильи донесся ее тихий голос:

– У тетки Симы в Спасо-Глинищевском была.

– Нашла, куда одна ходить, там ворье сплошное с Хитрова крутится! Доиграешься ты у меня до ремня! Марш в дом, переодевайся! Бога благодари, что не до тебя сегодня!

Маргитка встала, ушла, а Илья подумал, что и ноги ее у тетки Симы не было. И неизвестно, где ее черти таскали целый день. Ушла злющая, а пришла – и вовсе лица нет. И не подойдешь, не спросишь – цыган полон двор... Тьфу. Прав Митро – не день, а тридцать три несчастья.

И в ресторане, в крохотной «актерской» за общим залом, забыв о предстоящем выступлении дочери, Илья продолжал с тревогой следить за Маргиткой. Та была сильно бледна и как-то болезненно шумна сегодня, ее голос раздавался в комнате громче других. Маргитка то хохотала как сумасшедшая, то принималась бешено браниться, отталкивая других девчонок от зеркала и сбрасывая со «своего» стула чужие шали и ленты, то умолкала на полуслове, стиснув пальцами виски, и смотрела в распахнутое окно, за которым уже темнело. Во дворе ресторана цвел тополь, уборная была полна пуха, и Илья, глядя на то, как белые пушинки садятся на распущенные косы стоящей к нему спиной Маргитки, отчетливо чувствовал, что сходит с ума. Так бы и подошел, дернул бы за руку, спросил, что стряслось, прижал бы к себе эту чертову куклу... Несколько раз за вечер Маргитка поворачивалась к нему, но смотрела пустыми глазами, и Илье становилось страшно от серой бледности ее лица. Он даже не сразу услышал обращающуюся к нему Дашку, и той пришлось осторожно потрогать его за рукав:

– Отец, пожалуйста, отец... Дай ноту.

Он потер кулаком лоб, взял гитару, тронул струны, и Дашка принялась распеваться. Илья машинально аккомпанировал и одновременно спрашивал у Кузьмы:

– Кто в зале-то сегодня? Я проходил, видел – полна коробочка...

– Да, народу много. – Кузьма старательно полировал суконкой ботинок. – Толчанинов с друзьями сидят, уже знают, что Настькина дочь дебютствует. Заволоцкий пришел. Купец Вавилов со своей обоже. Актриса Несветова с поклонниками, студенты набились... Да, Маргитка! Эй! Твой каторжник тоже сидит!

Маргитка дернулась, словно на нее вылили кружку кипятка, обернулась к Кузьме, и Илья увидел одни глаза, зеленые перепуганные глаза на белом лице. «Вот оно что... С ним, курва, виделась сегодня...» Илья даже опустил гитару да так и стоял, не сводя глаз с давно отвернувшейся

Маргитки – до тех пор, пока его не тронули за плечо.

– Отец... – немного удивленно позвала Дашка, и Илья едва удержался, чтобы не выругаться. Как можно спокойнее спросил:

– Что тебе? Еще играть?

– Нет... У тебя бас подвирает.

Несколько гитаристов изумленно обернулись на них. Мысленно чертыхаясь, Илья перехватил гриф и начал восстанавливать настройку. Доигрался, старый пень, – не чует, что гитара врет. Вон как все встрепенулись. Ох ты, Богородица, – чем же это кончится-то?..

Зал привычно встретил цыганский хор аплодисментами. Илья с облегчением заметил, что открыты все окна: Осетрова не остановил даже тополиный пух, разлетающийся по паркету. Было душно, ночью ожидалась гроза, темно-синие тучи уже сходились над крышами. Зал был полон, горели свечи, язычки огня розово подсвечивали лица гостей. Капитан Толчанинов, привстав из-за стола, помахал Илье, шутливо поднял бокал. Илья поклонился в ответ, попробовал улыбнуться – не вышло. Глаза сами собой поворачивались к дальнему углу, где один за пустым столом, на котором стояла только бутылка мадеры, сидел Сенька Паровоз.

Сенька был мрачен, как плывущие за окном тучи. Пробегающий мимо половой что-то угодливо спросил у него, но Паровоз рыкнул сквозь зубы, и мальчишку как ветром сдуло. Когда вышел хор, Сенька уставился на Маргитку и, сколько Илья ни смотрел на него, не отводил глаз. Та, бледная, напряженная, сидела не поднимая ресниц. Когда подошла ее очередь плясать, вышла без улыбки, и гитаристы в заднем ряду начали перешептываться:

– Что-то неладно с нашей Машей...

– На солнце перегрелась, что ли?

– Да молчите вы, дурачье... За мать волнуется.

– Эй, чяери, может, посидишь?

Маргитка гневно обернулась на последний вопрос Кузьмы, прошила его василисковым взглядом и взмахнула унизанной браслетами рукой, подавая знак. Вступили гитары. Маргитка, откинув голову, пошла по паркету. Несколько раз мимо Ильи проплыло ее недвижное лицо с опущенными глазами и плотно сжатыми губами. Он даже обрадовался, когда пришло время участить ритм, и Маргитка, раскинув руки, все-таки улыбнулась «на публику». Она плясала спиной к хору, и Илья видел лишь ее качающиеся косы, ходящие ходуном плечи, прыгающие кольца серег. С нарастающей тревогой он видел, что пляшет девка хуже некуда, то и дело теряет ритм и даже руки поднимает как деревянная. Под конец Маргитка

сбилась в своей фирменной чечетке и, не встрянь вовремя Кузьма с «переходным» аккордом, провалила бы всю пляску. Однако в зале этого не заметили, и аплодисменты Маргитка все-таки сорвала. Поклонившись, она поспешно вернулась на свое место.

– Что случилось, девочка? – не выдержал Илья.

– Ничего, – не оборачиваясь, чуть слышно ответила она. И больше не пошла плясать.

Что с ней, мучился Илья, что? Почему она за весь вечер даже глаз на Паровоза не подняла? А тот, наоборот, на нее одну и смотрит, каторжная морда... Вот закатать бы в глаз гаду... Справился бы и не вспотел, хоть тот точно лет на десять моложе. Юшкой бы умылся, хитрованец чертов... Занятый кровожадными мыслями, Илья не сразу увидел знак Ваньки Конакова и очнулся лишь от отчаянного шипения Кузьмы прямо в ухо:

– Эй, Смоляко, примерз, что ли? Вам с Дашкой идтить! Просыпайся, морэ!

О, дэвлалэ... Никогда еще Илье так не хотелось бросить гитару на пол, плюнуть сверху, послать всех к чертовой матери и уйти. Но рядом, прямая, как столбик, стояла дочь в своем новом белом платье, теребила в пальцах кисти шали, и куда было деваться? Руки дрожат, проклятые... Только бы выход девочке не сорвать! Выпить бы, тем более что Митро нету... Жаль, поздно уже. Илья вышел вслед за дочерью вперед, незаметно развернул ее лицом к залу. Словно из-за стены слышал голос Ваньки Конакова, объявляющего, что сегодня для дорогих гостей поет новая прекрасная певица из табора Дарья Смолякова.

– На дар, дадо, саро мишто явэла{Не бойся, отец, все хорошо будет.}, – вполголоса сказала Дашка, и Илья виновато подумал, что говорить такие слова должен он. Но дальше думать было некогда, потому что Дашка мягким жестом попросила у зала тишины, и Илья взял первый вступительный аккорд.

Начала Дашка низко и тихо, словно раздумывая.

Расставаясь, она говорила:
«Не забудь ты меня на чужбине.
Одного лишь тебя я любила
И любовь сберегла, как святыню...»

Еще не было взято ни одной сильной ноты, а в зале уже встала тишина, в которой явственно слышались дальние грозовые раскаты. Все

взгляды обратились на тоненькую фигурку в белом платье, стоящую впереди хора. Лицо Дашки было, как всегда, безжизненным, немигающие глаза, казалось, смотрели поверх голов посетителей в чернеющее в открытом окне небо.

На втором куплете Илья уже начал тревожиться всерьез – Дашка и не думала «показывать голос». Успокаивало лишь то, что зал внимательно слушал. Даже за столиком купца Вавилова положили вилки. И только Сенька Паровоз, не отрываясь, смотрел куда-то за спину певицы, и Илья догадывался, что он глядит на Маргитку. Машинально Илья задел струны чуть сильнее, чем следовало, – и Дашка, словно только этого и дожидаясь, возвысила голос, и в зазвеневших нотах послышались и боль, и надежда, и смертная тоска:

Одному лишь тебе говорила
О любви бесконечные речи,
Одному лишь тебе дозволяла
Целовать свои смуглые плечи...

«Настька научила так петь...» – ошеломленно подумал Илья. Краем глаза он заметил, что у дверцы буфета столпились половые, что сам Осетров, поглаживая бороду, внимательно смотрит на Дашку. В окнах ресторана замелькали чьи-то лица. А Дашка, «застыв» голосом на высокой отчаянной ноте, вдруг устало улыбнулась залу, чуть опустила голову, и Илья чуть не перекрестился от изумления – удержала лишь гитара в руках, – до того Настькины были эта улыбка, этот жест. Бог милосердный, откуда? Ведь не дочь же она ей!

Для тебя одного не страшусь я
Покраснеть перед миром суровым,
Для тебя одного лишь солгу я
И душой, и улыбкой, и словом.

Голос, освобожденный голос, родившийся в выжженной солнцем степи, бился в потолок ресторана. Только сейчас Дашка показала, на что способна. Впечатление усиливалось тем, что исполнительница оставалась неподвижной и стояла прямая, тонкая, глядя немигающими глазами в грозовое небо за окном. Зал молчал. Илья видел взволнованные лица, слезы

в карих глазах актрисы Несветовой, стиснутые на камчатной скатерти кулаки капитана Толчанинова, по-детски полуоткрытый рот сочинителя Веретенникова. Где-то совсем рядом послышался сдавленный всхлип. Илья скосил глаза – и увидел залитое слезами, бледное лицо Маргитки, зажимающей рот скомканной шалью. «Бог ты мой, да что же с ней?!»

Дашка чуть заметно кивнула Илье. Он едва сообразил, что нужно убавить звук, и звенящий от отчаяния голос снова упал, зазвучал устало, почти равнодушно:

Для тебя одного лишь солгу я
И душой... и улыбкой... и словом.

Дашка закончила на чуть слышной горькой ноте. Закрыла глаза. Илья опустил гитару. Тишина. Голубой просверк молнии за окном. «Сейчас грохнет», – машинально подумал Илья. И «грохнуло» – аплодисменты, крики, скандирование из-за стола студентов: «Бра-а-аво!!!» – и ударивший гром утонул в этом взрыве голосов. Лицо Дашки стало испуганным, она отшатнулась, споткнулась, неловко ухватилась за рукав Ильи.

– Стой! – шепотом приказал он.

Но Дашка уже и сама взяла себя в руки, вздохнула, слабо улыбнулась и осторожно шагнула вперед – кланяться. Илья пошел за ней, и правильно сделал: в следующий миг Дашку чуть не сбил с ног кругленький, тяжело пыхтящий купец Вавилов, размахивающий, как штандартом, пачкой ассигнаций. За Вавиловым налетел Толчанинов с букетом лилий, его оттеснил Веретенников, орущий на весь ресторан бледному Заволоцкому: «И после этого вы мне будете говорить, что цыганская песня умерла?!» А затем все трое поспешили освободить дорогу порывисто подошедшей прямо к хору актрисе Несветовой. Та величавым жестом отстранила поклонников, обратила на миг к залу взволнованное по всем правилам лицо с блестящими от слез глазами и своим знаменитым хрипловатым контральто произнесла:

– Как странно, что ты понимаешь, о чем поешь. Ты еще слишком молода... Впрочем, это быстро пройдет. – Она тонко улыбнулась залу, пожала руку недоумевающе молчащей Дашке и эффектным движением сняла с пальцев все кольца. – Прими эту пыль из моих рук. И пой всегда так, как сегодня.

«Пыль» Дашка сунула отцу, и Илья поспешил поскорее спрятать мерцающую пригоршню в карман, опасаясь, как бы актриса не передумала.

А за Несветовой с воплями «Браво! Брависсимо! Бесподобно!» ворвалась толпа студентов, которые тут же подняли Дашку на руки. Но тут дебютантка перепугалась по-настоящему и закричала в голос. Илье пришлось бесцеремонно растолкать учащуюся братию, схватить всхлипывающую Дашку в охапку и унести из зала.

Но зато что началось в уборной! Первым на Илью налетел, крича и размахивая руками, Кузьма, за ним накинулся Ванька Конаков, следом навалилась всеми семью пудами Стешка, и Илья чудом удержался на ногах. Дашку окружили молодые цыганки, которые смеялись, целовали ее наперебой, и, к своему изумлению, Илья не заметил ни одной завистливо прикушенной губы, ни одного презрительного взгляда. Тут же откуда-то появилось шампанское. Едва успели выпить – распахнулась дверь, и в уборную повалили друзья во главе с Толчаниновым. Крошечная комната мгновенно наполнилась цветами, приторный запах лилий стоял в воздухе, тяжелые красные розы покрыли стол. В сотый раз отвечая на поздравления, Илья вдруг услышал, как возле двери паршивец Яшка важно спрашивает у кого-то:

– Господа, вам моя невеста нужна?

Разозлившись, Илья тронулся было к двери с намерением выяснить, кто там кому невеста, но вдруг застыл на полушаге. Только сейчас он заметил, что Маргитки нет в уборной – только ее шаль с кистями свешивалась со спинки стула. Илья взглянул на Дашку – та утонула в толпе поздравляющих. Отвернувшись, он быстро вышел.

Конечно, Маргитка была на заднем дворе. Конечно, с Паровозом. Вор облапил ее, словно девку с Грачевки, прижал к стене. До Ильи донесся сердитый шепот:

– Ошалел? Пусти... Чего тебе надо еще? Пошел вон, крик подыму, ей-богу!

Сенька что-то отвечал ей, но что, Илья не мог разобрать. Но и без этого потемнело в глазах. Он подошел к Паровозу и молча оттеснил его от Маргитки. Сенька проворчал: «Какого черта?..» – и оглянулся.

– А, ты... – без всякого удивления протянул он. – Что тебе, мора{Искаж. «морэ».}, заняться нечем?

– Оставь девочку, парень, – сдавленно проговорил Илья.

– А ежели не оставлю? – растягивая слова, спросил Сенька.

– Семен! Илья! Христа ради, люди кругом! – заволновалась Маргитка.

Повернувшись к ней, Илья зашипел по-цыгански:

– Ты что же, потаскуха, последнюю совесть потеряла? Как сука! Под забором! И с кем?! Да что он тебе пообещал, этот кобель? Ты же цыганка,

погляди на себя! Совсем истаскалась, шваль!

Первые мгновения Маргитка молча, изумленно слушала его. Ее глаза казались в темноте огромными и черными. Затем вдруг они сузились, верхняя губа по-собачьи вздернулась над некрасиво оскалившимися зубами, и, прежде чем Илья успел заметить эту перемену, Маргитка набрала воздуху и завизжала на весь переулок:

– Что?! Как ты сказал? Кто я, повтори, собачий сын! Повтори мне в лицо, что ты сказал! Я – сука? Я – потаскуха?! Да кто ты такой, чтобы мне это говорить? Да я тебе сейчас зоб вырву! Кто ты мне – отец? Брат? Или муж, может быть?! – Маргитка хрипло расхохоталась. – Муж ты мне? Да? Муж?! Да чтоб тебе сдохнуть, внуков не дождавшись! Чтоб мать твою из гроба выкинули! Чтоб тебе твоя Настька на навозной куче с золотарем изменила, гад вонючий!

Илья молчал, понимая, что девчонка зашлась и теперь ее не заткнешь. Оставалось лишь молиться, чтобы на задний двор не выглянул кто-нибудь из цыган. Сенька Паровоз стоял, прислонившись к стене, озадаченно слушал поток непонятных для него слов, посматривая то на Илью, то на Маргитку. А та вопила все громче, размахивая руками и скаля зубы. С заворчавшего неба упали первые капли, но Маргитка даже не заметила их.

– Ты мне жизнь разломал! Всю меня по ветру пустил! Ты из меня свою подстилку сделал, и я теперь – сука?! Да как у тебя язык не отсох, старый мерин? Как у тебя глотка не сгорела?! Да чтоб твои глаза полопались и вылезли, чтоб твоя печенка позеленела, чтоб кишки выпали наружу! Тер-петь те-бя не мо-гу!!! – В ярости она сорвала с себя монисто – блестящие монетки брызнули в стороны, посыпались в грязь, одна ударила Илью по лицу. Он невольно зажмурился, а когда открыл глаза, Маргитка уже взлетала на крыльцо. Еще миг – и тяжелая, разбухшая дверь захлопнулась за ней. В наступившей тишине ясно слышался звон гитар из ресторана.

– Ох, огонь-девка... – раздался мечтательный голос, и Илья вздрогнул, сообразив, что Паровоз так и не ушел. – Что, мора, – огреб по полной?

– Замолчи.

– Я-то замолчу. – Паровоз закурил папиросу, розовый свет на миг озарил его лицо, забился огоньком в темных, в упор глядящих на Илью глазах. – Вот что, Илья Григорьич... Отвязался б ты от нее.

– Что? – Илья не поверил своим ушам. Паровоз знает?..

– Отстань от девки, говорю. – Сенька затянулся, выбросил почти целую папиросу в грязь. – Тебе она без надобности, поиграешь – выкинешь. И молода она для тебя, как хошь. А я...

– А с тебя ей какой навар? – взял себя в руки Илья. – Не сегодня завтра

по Владимирке пойдешь.

– Это как кривая вывезет, – ухмыльнулся Паровоз. – Но помяни ты мое слово – через неделю в хоре с тридцатью тысячами буду. С Дмитрием Трофимычем у меня давний уговор. Плачу деньги – и забираю девку. В Крым с ей поеду.

– Может, и женишься? – зачем-то спросил Илья.

– Может, и женюсь, – жестко, без улыбки ответил Паровоз. – И запомни, этот разговор у меня с тобой последний. Я долго упрашивать не обученный. И чичас бы с тобой не балакал, да Настасью Яковлевну жалко. Подошвы ее ты не стоишь. Все, прощевай.

– Ну, напугал... – сказал Илья в спину уходящему Семену.

Тот не оглянулся и вскоре исчез в темноте, только чмокнула невидимая грязь, когда вор перепрыгивал через забор. Илья постоял немного на крыльце, слушая, как в черном небе рокочет гром. А когда налетевший ветер затрепал ветки кленов и хлынул ливень, вернулся в ресторан.

* * *

Домой приехали глубокой ночью, под проливным дождем. Бежать с Грузинской на Живодерку было близко, но гитаристы боялись за инструменты, да и певицы закричали, что выстудят голоса, и молодым цыганам пришлось под дождем мчаться на угол Садовой за извозчиками. Со всем этим провозились больше часа, но когда пролетки, дребезжа и чавкая колесами по мокрой земле, подкатили к Большому дому, там горели все окна. Цыгане, прикрывая головы гитарными футлярами и шалями, толпой помчались в дом. Вместе с ними, забыв, что он сегодня в хоре за старшего, умчался и Ванька Конаков, и Илье, на свою беду задержавшемуся, пришлось рассчитываться с извозчиками. В дом он вошел один, мокрый и злой. Первым, кто попался ему навстречу, был отчаянно зевающий Митро.

– Ну, как? – спросил Илья, хотя унылая физиономия Митро говорила сама за себя.

– А-а, черти вас всех раздери...

– Опять не слава богу?

– Ну да! Девятая уже! Совсем совесть потеряла, проклятая баба! Назло мне, что ли, она это делает? Режет, без ножа режет, оторва! Все по миру пойдем! Где я приданого на этот Смольный институт наберу?! Чертова

курица, семнадцать лет замужем, а рожать не выучилась!

– Да будет тебе... – проворчал Илья. – Какие твои годы? Даст бог, еще сына родишь, а может, и двух... Твой Яшка один семерых стоит. И девки твои – красавицы, их и без приданого в два счета цыгане расхватают.

– Твои бы слова да богу в уши... – отмахнулся Митро. – Ладно, как спели? Как Дашка? Наши кучей влетели, орут, галдят – Дашка, мол, весь ресторан до рыданий довела!

– Так и было. – Илья сунул руку в карман, вытащил пригоршню колец. – Вот, все до единого, спроси хоть наших.

– Верю, – зевнул Митро. – Кинь там в горшок, завтра сочтем. И иди спать, остальные вон расползлись уже.

Больше всего Илья надеялся, что Настька уже легла. Повалиться бы сейчас на кровать, уткнуться в подушку и заснуть... если выйдет. И не думать ни об этой потаскухе, ни о ее мазурике, ни о себе, старом дураке, ни о том, что кричала Маргитка, срывая с себя монисто и по-собачьи скалясь ему в лицо... Но, войдя в комнату, Илья понял, что о сне нечего и мечтать. На кровати сидела Дашка, Настя обнимала ее, рядом стоял и улыбался Гришка с подбитым глазом, а пристроившийся на полу в обнимку с гитарой Яшка радостно, взахлеб тараторил:

– Я поначалу-то сам испугался! Все, думаю, голос у ней пропал, или липитировала мало накануне, или под скрипку привыкла, а под гитару не пойдет... Какое! Как взяла на «для тебя одного» наверх – мать моя честная! У меня аж в поджилки вдарило, сроду такого не слыхивал! Господа ошалели просто, тетя Настя, клянусь! Табуном к ней кинулись, Илья Григорьич Дашку от греха подальше утащил, так они за ним следом! Полна комната цветов дорогущих, конфет надарили – Дашка всем девкам раздала. Брильянты горстями!

– Да не горстями, не выдумывай, – урезонила его Дашка. Затем вдруг повернула голову. Тихо позвала: – Дадо, ты?

– Я. – Илья вошел, встал у окна.

Он еще и не сказал ничего, а Настя сразу перестала улыбаться. Илья не заметил, сделала ли она какой-то знак молодым или они сами сообразили, что лучше разойтись, но через минуту в комнате уже никого не было. Не оглядываясь, Илья ждал. Вот сейчас спросит: «Что с тобой?»

– Что с тобой? Прямо лица нет...

– Устал я что-то, Настя, – ответил он, глядя в залитое дождем окно. Молился про себя – Господи, удержи, Настька ни при чем... Но жена подошла, тронула за плечо... и Господь не удержал.

– Ну, чего тебе надо?! Почему не спишь?! Какого черта полна комната

сопляков этих? Утро скоро, а им все неймется! И сколько разов тебе говорить – ложись, не жди меня! Дура ты, ей-богу, каких свет не родил!

Настя изумленно смотрела на него. Когда Илья, выругавшись и плюнув на пол, умолк, она отошла к кровати. Не поворачиваясь, сказала:

– Ну, дура так дура. Ты зато умный за двоих. Спать будешь ложиться или уходишь?

– Куда я пойду на ночь глядя? – огрызнулся он, но злость уже схлынула, и стало не по себе. С минуту Илья еще медлил, ожидая, что жена, может быть, заговорит с ним. Но Настя разделась, села на край постели, и стало ясно, что она вот-вот потушит лампу. Он дождался этого. И уже в темноте подошел, сел рядом, уткнулся в ее теплое плечо.

– Устал я, Настька... Прости меня.

Настя погладила его по голове. Погладила молча, но Илья заметил, как дрожит ее рука. Никогда еще он не чувствовал так остро свою вину перед ней.

– Ну, что ты молчишь? Ну, давай, ругай меня... Скажи: «Всю жизнь мне разломал...»

– Это чем ты себе голову забил? – помолчав, тихо спросила Настя. – Ну, что с тобой, Илья, господи? Не ладится что-нибудь? Дела не идут? Хоть бы мне сказал, не чужие ведь, слава богу...

Скажешь тут, как же... И захочешь – язык не повернется. Эх, морэ, плохи твои дела... Понимая, что надо бы встать, залезть под одеяло, утащить за собой Настьку, Илья не мог даже пошевелиться. И вздрогнул, когда Настя спокойным, будничным голосом спросила:

– Когда съежать думаешь?

– Куда съезжать? – От удивления Илья обрел дар речи.

– За табором следом. Они сейчас где-то под Ростовом быть должны, догоним… Завтра уж август, скоро захолодает. Всего месяца три докочевать осталось. Но уж лучше так, чем вовсе никак…

Илья молчал. Он бы много дал, чтобы заглянуть сейчас в Настькино лицо, понять – в самом деле она хочет ехать или же... Но голова, отяжелевшая, гудящая, не поднималась, хоть убей.

– Что тебе здесь не сидится? Поешь, с хором ездишь... Гости вон каждый день наезжают.

– Не ко мне же наезжают. К девкам – к Иринке, к Маргитке... Ну да, Толчанинов, Заволоцкий... Да ведь не я же им нужна. Им свои годы молодые вспомнить хочется, себя, красавцев без седины, меня, девчонку... Вспомнят, утешатся и дальше заживут. Прежними-то все равно не станем, ни они, ни я. Все водой утекло.

– Не говори так. Ты и сейчас лучше всех этих…

Настя молчала. Илья уже и не надеялся, что она вновь заговорит, когда услышал тихое:

– Спасибо тебе.

Он ничего не ответил. По-прежнему сидел, глядя в пол, силился проглотить ставший в горле ком.

– Здесь-то мы в гостях, Илья, а в таборе – дома. Я погостила, поглядела на своих всех, детей показала, чужих посмотрела – чего еще? Теперь я и в Смоленске зимой буду с вами в трактире выходить.

– А раньше боялась, – напомнил Илья.

– Да... Думала, меня пугаться будут. – Настя вымученно улыбнулась, прикоснувшись кончиками пальцев к шрамам на щеке. – А тут гляжу – ничего. И внимания никто особо не обращает. Поедем, как здесь дела закончим?

– Какие дела? – не понял Илья.

– Дашка вон, кажется, замуж собирается...

– Не отдам.

– Почему?

– А вот так и не отдам! – обозлился Илья. – Вон как она звездой сегодня светилась! На весь ресторан! А этот босяк Яшка кто?!

– Моего брата старший сын! – отрезала Настя. – Первый в хоре баритон, вторая гитара. На ногах стоит, весь Конный рынок его знает, а парню шестнадцати нет. Что тебе еще надо?

– Ну, не знаю, поглядим... – проворчал Илья. – Что-то он сватов засылать не торопится.

– Не торопится, потому что ты ему запретил. Дождешься, что Дашка с ним сбежит.

– Вот им обоим и тебе тоже! – Илья сложил сразу два кукиша, поднял глаза на жену, увидел, что она улыбается, и сердце немного отпустило.

Он встал, разделся, полез под одеяло. Минуту спустя Настя улеглась рядом, и Илья, закрыв глаза, прижался щекой к ее теплым волосам. Вполголоса пробормотал, сам не зная зачем:

– Сукин сын я у тебя.

– Ну, с ума сошел, ей-богу... Пьяный ты, что ли, Илья? Что с тобой сегодня? – Настя обняла его, снова погладила, как мальчишку, по голове. – Успокойся и спи, ради бога. Ты ведь и вправду устал, из-за Дашки беспокоился, что я – не вижу? Надо было мне с вами ехать, только вот Илона... Спи, спи, Илюша. Спи, завтра все пройдет.

Ничего она не знала... Приподнявшись, Илья хотел сказать жене еще

что-то, но усталость навалилась чугуном, голова упала на подушку. Уже засыпая, он чувствовал ладонь Насти на своем плече. Чувствовал и не в силах был отстраниться.

* * *

– О-о-о, паскудник проклятый, гад, мерзавец, ненавижу, ненавижу, убью!!!

Маргитка плакала навзрыд, уткнувшись головой в подушку и изо всех сил молотя по ней кулаками. Рядом сидела Дашка, еще не снявшая своего белого платья. Уже четверть часа она слушала этот поток проклятий, не пытаясь вмешаться. Когда же Маргитка яростно швырнула подушку в открытое окно и по-собачьи завыла на одной ноте: «У-ы-ы-ы-ы...», Дашка протянула руку и тронула подругу за плечо. Маргитка подскочила как ошпаренная и заголосила:

– Отстань от меня, дура! Не лезь, не трогай! Чтоб у тебя голова набок свернулась, чтоб ты сквозь землю провалилась, чтоб вы все, проклятые, попередохли! Чтоб я сама сдохла впереди вас, чтоб мне не видеть вас больше никогда! Ой, пхэнори, да что же я теперь делать-то буду-у-у-у?..

Закашлявшись, Маргитка вцепилась в растрепанные косы и закачалась из стороны в сторону.

– Кто тебя обидел? – спросила Дашка.

Маргитка молча, неистово затрясла головой.

– Мне ты можешь сказать?

Маргитка начала всхлипывать. Дашка погладила ее по руке.

– Ладно, как хочешь. Только не кричи больше, цыгане сбегутся. Водички принести?

– Подожди! – Маргитка вдруг мертвой хваткой вцепилась в ее локоть. – Я уймусь, только ты не уходи! Сядь сюда, со мной!

– Да я тут, тут... – Привставшая было, Дашка неловко села на смятое одеяло. – Сколько захочешь, столько и буду сидеть. Ты, если надо, плачь, только не на весь дом. Зачем другим знать?

– Твоя правда.

Маргитка старательно высморкалась в полотенце, высунулась в окно. Ветви старой ветлы лезли в комнату, по поникшим листьям барабанил дождь. Маргитка подставила ладони под холодные капли, протерла лицо, вернулась на постель.

– Скажи, Дашка, это... это плохо, стыдно? Что я одного цыгана больше жизни люблю?

– Что ж тут стыдного?

– А если голову совсем потеряла?

– Да это тоже не беда. – Дашка подняла ноги на кровать, обняла колени руками. – Он тебя обидел?

– Да! Ненавижу я его!

– А сказала – любишь. – Дашка задумалась. – Если любишь, то ненавидеть нельзя, наверное...

– Да? А если он... если он... – Маргитка задохнулась от возмущения. – А если он меня плохими словами назвал всякими, а? Тогда что?

– Ну, дурак, значит. – Дашка помолчала. – А что, простить совсем не можешь?

– Да ведь и я ему тоже наговорила... – вздохнула Маргитка, вытирая кулаком распухший нос.

Дашка улыбнулась.

– Что же, этот цыган из наших?

– Ну-у... – настороженно протянула Маргитка.

– Не скажешь?..

– Нет!

– Да что ты взбрыкиваешь? Как хочешь. Клещами я тяну из тебя?

Дашка встала, начала расстегивать платье. Маргитка подошла помочь ей. Лицо ее стало напряженным: она собиралась с мыслями.

– Слышишь, Дашка... Попросить тебя хочу.

– Говори, – отозвалась из-под платья Дашка.

– Сделай только так, как я велю. Сейчас мы с тобой спать ляжем, а утром я потихоньку из дома уйду. Ты подождешь, пока наши внизу соберутся, – только все-все, до единого! – и скажешь, как будто просто так... Вот что скажешь: «На Калитниковском сегодня солнышко, можно зябликов ловить». Запомнила? Кому надо – поймет. А если спросят, к чему ты об этом, говори: «Маргитка так сказала».

– А если дождь будет? – улыбнулась Дашка.

– Не будет никакого дождя! – Вскочив, Маргитка кинулась к окну. – Вон там просветы уже, небо чистое! Все запомнила, не спутаешь? Скажешь так?

– Да, не волнуйся. Все сделаю как надо. – Дашка наконец сняла платье и аккуратно повесила его на спинку стула. – А сейчас ложись. Не выспишься, да еще зареванной окажешься, тебя твой цыган завтра испугается.

– Да, да... – Маргитка нырнула под одеяло. Закинув руки за голову, вспомнила: – Как ты пела сегодня – восторг... Ни одна из наших кобыл так не сможет. Спой сейчас что-нибудь, а?

– Люди спят.

– Потихоньку! Вот эту, которую ты с Ильей... с твоим отцом пела. «Тумэ, ромалэ». Вот я дура, подушку выкинула, как же теперь...

Не договорив, Маргитка свернулась под одеялом уютным клубочком и закрыла глаза. Дашка на ощупь нашла подоконник, села на него, запела вполголоса. И не умолкала, борясь с душившей ее зевотой, до тех пор, пока с постели не донеслось ровное, умиротворенное сопение.

ГЛАВА 13

Нижнюю комнату Большого дома заливало солнце. Оно било в окна слепящими столбами, словно стремясь наверстать вчерашнее, и на полу лежали длинные пятна света, испещренные тенями ветвей. За раскрытыми окнами носились стрижи, в ветвях акации с писком дрались воробьи. Подоконники покрывал тополиный пух. Шел второй час дня, но уставшие ночью цыгане не спешили выходить из комнат. Заспанный Илья обнаружил внизу лишь Кузьму, сидящего по-турецки на полу и подшивающего обрывками кожи старый валенок. Кожа была тоже старая, протыкаться не хотела, то и дело рвалась. Кузьма злился, чертыхаясь, хлопал валенком об пол (тот в ответ мстительно выбрасывал клубы пыли) и начинал все сначала. Услышав скрип двери, он спрятал было валенок за диван, но, увидев входящего Илью, вытащил снова.

– Это тебе не спится? Я думал – Трофимыч...

Илья присел рядом.

– Чего ты валенок мучаешь? На что тебе он летом? Как хочешь, морэ, а без головы ты.

– Сам без головы, – невнятно отозвался Кузьма, зубами вытаскивая из валенка иглу. – О, зараза, чтоб тебе провалиться... На Сушке за эти штиблеты не меньше полтины дадут.

– Опять, значит, в запой? – помолчав, спросил Илья.

– Опять, – спокойно ответил Кузьма.

– Бросить не можешь?

– Нет.

– Может, не хочешь?

– Может.

– А что тебе Митро запоет?

Кузьма, отмахнувшись, снова занялся валенком.

– Сколько тебе лет, морэ? – поинтересовался Илья.

– Ой, старый стал, как твоя собака, – усмехнулся Кузьма. – Тридцать два в осенях стукнет. Или нет... Что я, господи... Тридцать три уже.

– Не мальчишка ведь. Бросил бы давно эти глупости, женился бы, детей накидал. Все-таки не свет клином на этой...

– Слушай, брильянтовый, надоел! – вскипел Кузьма. – Что, еще ты мне будешь кишки мотать?! Не ваше это дело, ясно? И ее не трожь! Я к тебе небось не лез, когда ты со своим бабьем разбирался!

Валенок полетел в стену, ухнул, выбросив рыжее облако пыли, свалился на пол. На минуту в комнате стало тихо, лишь воробьиный гомон звенел за окном. Затем Кузьма хмуро буркнул:

– Ладно, не серчай.

– Ничего.

Кузьма сходил за валенком и собрался было продолжить свое занятие, но дверь отворилась снова, и в залу вошли дочери Митро, Иринка и Оля, в домашних свободных юбках и кофтах, еще сонные, зевающие, с кое-как заплетенными косами. Увидев мужчин, девушки чинно поздоровались, присели на диван, тихонько, хихикая и прыская в кулаки, начали вспоминать вчерашнюю ночь. Вслед за ними явились молодые парни во главе с Яшкой, которые тут же окружили Илью: им требовался совет для очередной операции на Конном рынке. Обсуждая с Яшкой бабки и зубы стоящего на конюшне сивого мерина, которому было сто лет в обед, но которого Яшка намеревался во что бы то ни стало продать, Илье пришлось признать, что башка у парня работает неплохо.

– По-моему, парень, доходяга твоя обморочная. Я вчера глазом кинул... По пятну на лбу видать.

– Знамо дело, обморочная, Илья Григорьич. – Яшка скупо усмехнулся. – Я ему вчера на это пятно бородавку восковую пристроил и салом замазал. Если мужик сам не барышник – сроду не догадается!

– Удержится бородавка-то?

– Медведь не оторвет! Да еще, когда толкать будем, надо, чтобы он копыто под себя не подворачивал. Укладывается, худоконок чертов, и подворачивает! Любому лаптю видно, что через год кила будет! Как поступить-то, Илья Григорьич?

Отвечая на жадные вопросы парня, Илья то и дело поглядывал на дверь. Комната постепенно заполнялась цыганами, на кухне пыхтел самовар. Пришла Марья Васильевна, спустились Катька и Тина, заглянула Стешка с дочерьми, в окна просунулись разбойничьи рожи братьев Конаковых, прибежала Дашка в новом белом платье, и только Маргитки все не было и не было. Когда же в зале появилась Настя, Илья заставил себя повернуться к двери спиной. Хватит... И так уже Настька что-то чует, разговоры все эти про возвращение в табор неспроста.

Кухарка Никитишна внесла исходящий паром самовар, и молодые цыгане с писком и смехом бросились к столу. Появились баранки, пряники, пирог с грибами. Цыганки постарше, усевшись возле самовара, не спеша наливали себе чаю. Молодые расхватывали кружки и пристраивались кто на подоконнике, кто на стульях, кто прямо на полу. Илья с неприязнью

отметил, что Яшка со своим стаканом прямиком направился к Дашке на диван. Но там же сидела и Настя, которая ободряюще улыбалась парню.

– Как выспался, чяво?

– Жаль, что полдня продрыхли, тетя Настя! – с сожалением проговорил Яшка. – День пропал вчистую! Гриха, идем на Москву-реку, что ли? Хоть карасей потаскать, пока тепло. Все равно до ночи делать нечего.

– Маргитка сказала, что сегодня на Калитниковском солнце пригреет, и зябликов ловить можно будет, – произнесла Дашка, вертя в пальцах браслет.

Яшка удивленно взглянул на нее, но промолчал. Не веря своим ушам, обернулся и Илья.

– Что ты сказала, чяери? – переспросил он как можно спокойнее, с отчаянием чувствуя, как останавливается дыхание. Маргитка, чертова девка... Неужто потеряла последний ум, распустила язык со злости, и теперь вот Дашка... Господи, только этого ему не хватало!

– А что я сказала? – равнодушно отозвалась Дашка. – Это Маргитка... Вчера спать ложились – она сказала так, а к чему – не знаю.

Лицо ее, как обычно, не выражало ничего, и Илья незаметно перевел дух. Тьфу... есть все-таки кто-то там на небе. Не знает ничего Дашка. А если Маргитка и заговорила вчера про Калитниковское, это значит только, что сидит она там с рассвета и ждет его. До чего же хитрющая девка... Илья осторожно взглянул на Настю. Та о чем-то разговаривала с Гришкой и, похоже, не слышала слов дочери. Илья закрыл глаза. Ночь прошла, а вместе с ней прошла, утихла вчерашняя злость, забылись грязные слова, и даже Сеньку Паровоза уже не хотелось разрезать на куски. Черт с ним... Ошалел от девчонки, дурак, и понять не может, что он ей даром не нужен.

– Ну, идем, что ли, черти? – Яшка поднялся с дивана.

– Идем, раз так. Ванька, хватит жрать.

– Сичас, сичас...

Молодые цыгане один за другим потянулись из комнаты. Подождав, пока за последним из них закроется дверь, и помедлив несколько минут, Илья поднялся и вышел. Никто не обернулся ему вслед.

* * *

Маргитка ждала его на обычном месте – у полуразвалившейся могильной плиты, на поросших мхом камнях. В высокой траве дрожали

солнечные зайчики, по растрескавшимся камням бесшумно скользили ящерицы. Ветер, едва шевеливший листву и прячущиеся в траве незабудки, поднимал выбившиеся из кос Маргитки черные завитки, бросал их на плечи девушки, на лицо. Она терпеливо смахивала их, смотрела на пропадающую в траве тропинку. Илья старался подойти незаметно, но стоило его рубашке мелькнуть в кустах акации, как Маргитка быстро вскочила и бросилась к нему. Илья и слова не успел вымолвить – а она уже ревела дурным голосом у него на груди.

– Илья... Ох, Илья... Ох, боже мой...

– Ну, что ты, дурочка? – тихо сказал он.

Маргитка подняла заплаканное лицо:

– Илья! Ты меня любишь еще? Скажи – любишь?

Илья смутился: не нравились ему такие разговоры. Но куда было деваться?

– Конечно, люблю, девочка. Зачем спрашиваешь?

Глаза Маргитки сердитыми колючками уперлись в его лицо.

– А что ты мне вчера наговорил, проклятый? Какими словами называл, а?

– Мало тебе еще. – Илья притянул ее к себе, усадил рядом, на плиту. – Еще раз с Паровозом увижу – убью. Чего ему от тебя надо?

Он хотел пошутить, а Маргитка вдруг вздрогнула, опустила глаза, и даже рука ее, сжимавшая ладонь Ильи, вдруг задрожала так, что он испугался:

– Что с тобой?

Маргитка молчала, закусив губы. Илья смотрел на нее с тревогой. Разом вспомнился вчерашний грозовой вечер, бледность Маргитки, ее ошибки в пляске, застывший взгляд, мрачный Сенька за дальним столиком...

– Скажи, Илья... – вдруг медленно, не глядя на него, начала Маргитка. – Скажи мне... Ты меня вправду убить можешь?

– Одурела? – через силу улыбнулся он.

– Да кто тебя знает, черта бешеного... Сначала зарежешь, потом подумаешь – может, и не надо было.

– Ну, вот еще. – Илья чувствовал, что все эти речи не к добру, и начинал злиться. – Чего стряслось-то? Натворила чего?

Маргитка криво усмехнулась, и Илья испугался по-настоящему. Он еще не видел ее такой. Даже вчера она так не улыбалась.

– Чяери, что случилось? Говори, не трону я тебя! Дочерью клянусь, конями своими, чтоб они околели, – ничего не сделаю! Ну – говори!

Маргитка молча кивнула несколько раз. Тихо, словно уговаривая саму себя, прошептала:

– Ты не думай, я бы тебе в жизни не проболталась, только он, Сенька... Он же не отвяжется теперь. Я думала – один раз, а он...

– Что – один раз? – глухо переспросил Илья.

Маргитка, всхлипнув, закрыла лицо руками.

Через четверть часа солнце спряталось за деревьями, и между стволами поползли тени. Бледная Маргитка прижимала руки к щекам, в упор, умоляюще смотрела на Илью. Тот сидел, низко опустив голову. Сказать было нечего.

– Илья... – осмелилась Маргитка. – Ну, что ты молчишь? Ну, поколоти меня, если тебе лучше будет. Я – ничего...

– Глупая... – едва сумел выговорить он. – Да... зачем же ты это сделала? Для чего?

– Для тебя... – Маргитка, уткнувшись лицом в колени, тихо заплакала. – Он, Сенька... он пригрозил, что жене твоей расскажет и отцу моему... На отца мне плевать, ничего он со мной не сделает, а вот Настька, твоя Настька... Я же тебе тогда клялась, что она ничего не узнает! Что мне делать было, скажи, что?!

Дожил, подумал Илья, закрывая глаза. Докатился. Доигрался, старый черт. Сопливая девчонка тебя от жены бережет. От стыда свело скулы, а Маргитка, как назло, всхлипывала все громче и громче:

– Может, ты думаешь, что я сама хотела... что вру... Да клянусь тебе, я чуть не сдохла, пока до этой «Каторги» растреклятой добрела… Так страшно, такие там рожи ползают, так воняет, что хоть святых выноси! Не знаю, как живая и целая добралась. А Сенька... я же... да меня тошнило от него, наизнанку выворачивало... думала – никогда это не кон...

– Замолчи! – не стерпел Илья. Маргитка тут же стихла, уставилась на него круглыми от ужаса глазами, и Илья понял – она в самом деле боится его.

– Почему ты мне ничего не сказала?

– Зачем?..

– А затем! – заорал он на все кладбище. – Выдумала, безголовая! Да сказала бы мне, я бы от этого Паровоза кости на кости не оставил! Не поглядел бы, что он – первый вор! Ободранец хитрованский! Да разве тебе эти дела решать надо?!

– Не-е-ет! – залилась слезами Маргитка. – Ты бы его зарезал, а тебя за это – в каторгу-у-у... А если бы он тебя-я-я...

– Не твоя печаль! Что я – мальчишка бесштанный? Разобрались бы

как-нибудь без бабьей юбки! Тьфу, зараза, убью я тебя, ей-богу, убью!

– Ты обещал!!! – заголосила Маргитка, закрываясь обеими руками, и Илье вдруг стало смешно. Ну, чего она боится, дурочка маленькая...

– Поди сюда, – со вздохом проговорил он.

Миг – и Маргитка сжалась в дрожащий комок у него на груди, приникла лицом, ладонями, тут же вымочила слезами всю рубаху, зашептала сбивчиво, икая и вздрагивая:

– Илья, кромешник ты этакий... Черт таборный... Да я для тебя еще не то... Все, что хочешь, сделаю! К Настьке твоей в прислуги пойду, лишь бы при тебе... Я знаю, я на днях уже придумала, как нам быть... Бери меня за своего Гришку, я согласна, пусть сватов приводит. Стану ему жена, а тебе – невестка... Никто ничего не узнает, мы с тобой таиться будем, комар носа не подточит...

Илья молчал, гладя спутанные волосы прижавшейся к нему девочки. Ошеломленно думал о том, что в такую историю он не вляпывался с того дня, как к ним в дом подкинули Дашку. Да какое там... Сейчас хуже! Тогда просто грех случился на стороне, мало ли их было, а тут... Ну, что ты с ней поделаешь?!

– Нет, за Гришку ты не пойдешь.

– Почему? Так же лучше будет! – Маргитка смотрела удивленно, Илья видел – она не притворяется. И поди ей объясни, что так обойтись с собственным сыном даже у него, Ильи Смоляко, совести не хватит. А уж Настьку в это впрягать...

– Илья, тогда уедем! – Маргитка вдруг вскочила, встала перед ним, прижав руки к груди, – зареванная, с красными пятнами на лице, с прилипшими к щекам волосами. – Уедем, Илья! В твой табор! Клянусь, буду по базарам побираться, воровать, гадать, никогда не пожалею! Я же цыганка все-таки. Настька этому научилась, и я выучусь. Да выкинь ты ее из головы, она ведь старая, страшная! Дети взрослые, она с ними не пропадет. Не можешь же ты ее любить! А я молодая, я тебе еще десяток детей нарожаю, тебе со мной хорошо будет... Уедем, уйдем! Ты же жизнь моя, Илья! Вся жизнь моя!

Маргитка разрыдалась, повалившись на колени и схватившись за голову. Илья смотрел в землю. В голове стучало, билось в виски только одно: допрыгался.

Неизвестно, как бы он выворачивался на этот раз, если бы Маргитка вдруг не успокоилась. Шмыгнув носом, она старательно вытерла слезы, пригладила волосы. Скосив глаза на Илью, попыталась даже улыбнуться:

– Ладно... черт с тобой. Обещала, что не стану тебя неволить – значит,

не стану. Живи со своей ведьмой дальше. Только расскажи мне как-нибудь, за что ты ей лицо изрезал. Нешто шлялась от тебя?

– Маргитка!

– Ну, молчу, молчу... – Маргитка села рядом. – Живи с ней. Любишь-то ты меня, правда? Ну, и люби дальше. Меня отец еще не скоро замуж выдаст. Да я и не пойду, больно надо. Сразу с моста головой вниз...

– Не болтай чепухи. – Илья обнял ее за плечи. – И... вот что еще. Если Паровоз к тебе снова с этими разговорами подкатит, сразу меня зови. Сей же минут! Я сам с ним разбираться буду. Поняла?

Маргитка кивнула, утыкаясь носом ему в плечо. Илья поцеловал ее, взял холодную, мокрую от слез ладошку, задрожавшую в его руке. В самом деле, уехать им, что ли? Нельзя ведь так дальше. Никак нельзя. Хочешь не хочешь, а решать что-то надо. Но что тут можно сделать? И как разбирать наломанные им, Ильей, дрова, и куда он денется от Настьки? Семнадцать лет вместе – не шутка, да и в мыслях у него никогда не было уйти от нее, хоть и таскался по бабам в молодости... А кто не таскался? Да ведь девок много, а жена одна, и ведь золотая жена, у кого еще есть такая? Да, все верно, все правильно, но... Маргитка – как с ней? Как он теперь – без нее?

– Господь всемилостивый и милосердный, да не думай ты ни о чем! – вдруг рассвирепела Маргитка, с силой вырываясь у него из-под руки. – Я что, сюда пришла на твою морду грешную любоваться? Гляди, стемнеет скоро! Не думай ни о чем, не жалей! Ну, посмотри ты на меня, сатана проклятая, посмотри на меня...

Илья посмотрел. И, как всегда, ему хватило минуты. Розовеющее солнце падало за овраг, откуда-то издалека едва доносился колокольный звон, трещали в траве кузнечики, из-за могильных плит полз туман. Маргитка лежала, закрыв глаза и раскинув руки, в измятой траве. Илья давно перестал бояться, что кто-нибудь их увидит. Чего бояться? Пропади все пропадом.

Возвращались они, как обычно, порознь. Маргитка, проводив Илью с кладбища, побродила между могилами, зашла в сторожку, поговорила с Никодимом и домой вернулась уже потемну.

Из-под двери комнаты выбивалась полоска света, слышались смешки, сопение, тихий голос Дашки. Раздосадованная Маргитка с силой пнула дверь. Три десятка лиц повернулись к ней. Маленькая комнатка была забита детьми и молодыми цыганами – сидели на кровати, на подоконниках, на полу и даже в открытом шкафу. Сама Дашка, устроившись на единственном стуле, держала на коленях пятилетнего брата Ваньку, а у самых ее ног удобно устроился Яшка с неизменной гитарой.

Маргитка успела услышать конец фразы: «...и сказала тогда ведьма: не видать тебе больше твоей красавицы Ружи».

Умолкнув, Дашка тоже повернулась на звук открывшейся двери. Маргитка вошла, уткнула кулаки в бока, враждебно проговорила:

– Пораззявили рты, детки малые... А ну вон все отсюда! Джяньте! {Идите!} Джяньте! Живо у меня!

Среди детей пронесся испуганный ропот, кое-кто уже начал подниматься: Маргитки побаивались.

– Сидите, чяворалэ, – негромко приказал Яшка. – Ты что же, холера, здесь командуешь? Не к тебе пришли! Дождешься у меня сейчас, косы на руку накручу и отвожу по полу! Где шлялась целый день, паскуда? Явилась на ночь глядя и гавкаешь?

Яшка, сам того не зная, начал опасный разговор, и Маргитка не стала ругаться с ним. Отмахнувшись, она прошла между сидящими на полу цыганятами к кровати, согнала с нее двух девчушек и улеглась за спиной у Дашки, закинув руки за голову. Ребята, видя, что крика не будет, расселись по своим местам, и Дашка снова повела свою сказку:

– И велела ведьма цыгану: «Ступай к своей жене и ночуй у нее три ночи. А потом езжай к старой мельнице и жди меня там. Сделаешь так – и тебе, и твоим братьям воля будет. А жены твоей Ружи не видать тебе больше. Если же нет – верну тебя в тюрьму». Что было делать цыгану? И жена хорошая, и на волю хочется...

Маргитка не слушала сказку. Слова Дашки убаюкивали, успокаивали, не мешая думать о том, что было сегодня. Сквозь опущенные ресницы она следила за огромными мохнатыми тенями на потолке, которые отбрасывали летящие на огонь свечи бабочки. Язычок огня дрожал от сквозняка, за окном громко стрекотали кузнечики, щелкал соловей. День ушел.

«...Ничего не сказала мужу Ружа. Только посмотрела ему в глаза, села к костру и запела песню: «Ай, были бы у меня крылья-крылышки...»

В полной тишине лился низкий голос Дашки. Приоткрыв глаза, Маргитка заметила, что все боятся даже вздохнуть, слушая ее. Опять песня, которой никто не знает. Откуда она их берет только? Ну, Илья ведь таборный, верно, он ее и учит. Илья... Что делать теперь? Не пойдет он с ней, без света видно. Настьки боится, родни ее – убьют ведь. Если только бежать прочь из города, куда-нибудь к черту на кулички, к родственникам, есть же там у отца в Самаре да Ярославле тетки какие-то?.. Или же правда – в табор? Она пойдет. Куда угодно, хоть в табор, хоть в тюрьму, хоть на улицу... лишь бы видеть эти глаза, черные, с голубой разбойничьей искрой, слышать его слова, от которых заходится сердце, знать – не врет...

«Девочка, чяери... Звездочка ясная, весна, цветочек мой, тебя люблю, одну тебя... Все сделаю, Маргитка, уедем...» Неожиданно сжалось сердце, в глаза ударили слезы. Маргитка зажмурилась еще крепче, закусила губы. Нет, нет. Не будет она плакать. И кричать, как сегодня. И просить у него не станет ничего, и жаловаться на Паровоза. Не нужно этого. Видно, что у Ильи и без того голова трещит. Злой стал, любым пустяком его завести можно, срывается то и дело, орет. И раньше не шелковый был, а сейчас... Не хватало еще только того, что она, похоже... Нет. Спаси-сохрани, богородица, наверняка еще нет. Авось пронесет.

– Эй, ну, как ты?

Вздрогнув, Маргитка открыла глаза. В комнате уже не было цыган, за окном совсем стемнело, свеча переместилась с пола на подоконник, а рядом на кровати сидела и улыбалась Дашка.

– Я все, как нужно, сделала? Видела своего цыгана?

– Видела. Спасибо тебе.

– А почему плачешь?

– Господи, да откуда ты знаешь-то? – проворчала Маргитка, вытирая глаза. – Ничего я не плачу. Так... себя жалею, дура.

– Можно спрошу?

– Ну?

– Ты этого цыгана любишь ведь? И он тебя? – Услышав утвердительное мычание, Дашка задумалась. – А отчего же он тебя не сватает?

– А-а-а затем... что отец не отдаст за него. Для меня ведь богатого ищут. Понятно?

– Убежали бы. Цыгане ведь.

– Не могу я с ним бежать, – начала злиться Маргитка.

– Боишься?

Она яростно повернулась, сжимая кулаки, но лицо Дашки было спокойным, серьезным. И сама не зная почему, Маргитка призналась:

– Я ничего не боюсь. Только он женатый.

Тишина. Маргитка покосилась на Дашку. Та, казалось, не удивилась. Помолчав, спросила:

– Что, и дети есть?

– Полный мешок! – в порыве бесшабашной откровенности выпалила Маргитка. – И не смей мне говорить, что я шлюха, мужика из семьи тяну! Поглядела бы ты на его жену! Свет божий такого чучела не видал!

Дашка молчала, постукивая пальцами по колену, и Маргитка машинально отметила, что она делает это совсем как Илья. Ха... знала бы

она, кто этот мужик с женой-чучелом и детьми...

– И сколько же вы прятаться думаете? – наконец поинтересовалась Дашка.

– Не знаю, – честно ответила Маргитка. – Сколько он захочет – столько и буду. Мне, кроме него, все равно никто не нужен. И хватит про это, давай спать.

Она решительно повернулась к стене и замолчала. Дашка задула свечу. Отдернув занавеску, села на подоконник, обняла колени руками. Из-за крестов церкви поднималась луна, откуда-то с Грузинской доносилось дребезжание одинокой пролетки. Наступила ночь.

ГЛАВА 14

Загородный ресторан «Яр» на Петербургском шоссе сиял всеми окнами. Был безлунный темный вечер, шел дождь, по дорожкам парка летели сорванные ветром сухие ветви и листья. Из ресторана, словно споря с непогодой, доносились веселые звуки гитар, цыганское пение и аплодисменты. Несколько десятков экипажей стояло вдоль шоссе, мокро блестели верхи пролеток, красными огоньками горели самокрутки извозчиков. Данка, прячась в тени одного из экипажей, смотрела на освещенные окна «Яра». По ее лицу бежали капли дождя, ветер трепал выбившиеся из прически пряди, мантилья на плечах намокла и отяжелела, а Данка все не могла заставить себя войти в ресторан, в котором пела почти десять лет.

Она точно знала: Казимир там. И даже догадывалась, с кем. Новости по Москве разносятся быстро, но все же нелегко узнавать от собственной горничной о том, что отец твоих детей появляется на людях с какой-то купеческой вдовой, которая к тому же моложе ее, Данки. И, чем черт не шутит, может, даже и красивее... Собираясь в «Яр», где часто проводил вечера Навроцкий, Данка перевела уйму румян и белил, перебрала все платья, попробовала по-новому уложить волосы, глядя на картинку во французском журнале, но руки дрожали, прическа рассыпалась, ближе к ночи снова появилась ноющая боль в груди, давно мучившая ее, и в конце концов брызнули слезы. Данка взвыла по-цыгански, швырнула журналом в стену, умылась, уложила волосы привычным узлом и позвала горничную Машу, которая затянула ее в старое, но любимое платье из черного шелка.

– Не ехали бы, барыня... – грустно говорила Маша, воюя со шнурками корсета. – Все едино без толку, его, может, и нету тамотка, а вы по дождю понесетеся... Куда лучше дома ждать. Мишеньке с Наташей сказку сами расскажете, а то им мои не нравятся...

– Нет... Нет. Не беспокойся, я быстро вернусь. Может, его и в самом деле там нет.

Хор в ресторане запел плясовую, и Данка невольно повела плечами.

– «Ах, дождь будет, да мороз будет...» – негромко, чтобы подбодрить себя, подхватила она, но голос дрогнул и сорвался. Несколько извозчиков изумленно обернулись на нее. Данка ответила им сердитым взглядом, опустила вуаль, крепче стянула облепившую плечи мантилью и быстро зашагала к сияющему подъезду «Яра». Она сильно промокла, но холода не

чувствовала и лишь время от времени вздрагивала от нервного возбуждения.

За стеклянными дверями высилась внушительная фигура швейцара. Увидев быстро идущую по освещенной дорожке женщину, он выплыл на крыльцо.

– Извиняемся, барыня, – все занято.

– Не узнал, Северьяныч? – спросила Данка, одной рукой откидывая вуаль, а другой вкладывая в ладонь швейцара заготовленный рубль.

– Охти... Дарья Степановна? – радостно загудел тот. – Сколько лет-то, а? Вас и не признать!

– Что, Северьяныч, постарела? – через силу улыбнулась она.

– Господь с вами! По мне, так еще лучше стали! То вороненком скакали, не в обиду будь сказано, а теперь в тело вошли, обфигурились... Одно слово – форменный шарман!

– Ну, спасибо, утешил... Мой Навроцкий здесь?

– Пришли, как же, ужин заказали... – Швейцар вдруг нахмурился. – А вы что же – дебоширить приехали? Так мне и рубля вашего не надо, не пущу! Мне, чай, место дорого. И заведение здесь не такое, сами знаете...

– Не бойся. Шума не будет, – успокоила швейцара Данка. Тот колебался, и она мрачно предупредила: – Не впустишь – подниму камень и все стекла перебью!

– С вас станется, – проворчал Северьяныч. Подумал и посторонился. – Смотрите – обещали...

– Не волнуйся! – последние слова Данка выкрикнула уже из-за дверей.

Большой зал был полон народу. Белели накрахмаленные скатерти, в натертом паркете отражались блики свечей, искрился хрусталь, сияли бриллианты дам, хлопали пробки шампанского, бесшумно носились официанты. Цыганский хор, сидящий полукругом, негромко тянул «Не вечернюю». Данка знала, что через столько лет ее здесь вряд ли кто узнает, но на всякий случай опустила вуаль и уверенной походкой зашагала вдоль столов.

Ей повезло: искать Навроцкого долго не пришлось. Он сидел за столиком почти прямо перед хором, негромко разговаривая о чем-то со своей спутницей, которую Данка видела со спины. Данка знала, что Казимир будет не один, но боль в сердце сразу усилилась, и женщина невольно поморщилась. Подавив желание зажать саднящую грудь рукой, она начала торопливо пробираться между столиками.

Казимир увидел ее сразу, и Данка не смогла сдержать усмешку, заметив, как дернулось от страха его лицо. Он неловко приподнялся из-за

стола, что-то сказал, но хор цыган грянул «Тройку», и слова Навроцкого утонули в двух десятках сильных голосов. Нервная дрожь, охватившая Данку, сделалась сильней, ей стало жарко, и она сбросила мантилью прямо на пол. Из-за соседних столиков посмотрели удивленно, но Данка и глазом не повела.

– Добрый вечер, Казимир! – весело поздоровалась она, подойдя к столику и опершись на него обеими руками. В ушах шумело, собственный голос слышался будто со стороны, и чтобы скрыть, как трясутся руки, Данка изо всех сил стиснула край скатерти.

– К... к... к-кто вы такая? – От растерянности в голосе Навроцкого усилился польский акцент. В глазах Казимира было такое смятение, какого Данка не видала никогда. – Кто вы, пани? Я... Я вас не знаю!

– Казимир, ты что, с ума сошел? – участливо поинтересовалась она, обходя стол. В конце концов, не на него посмотреть она пришла. – Что же ты нас не представишь друг другу? Это же неприлично, друг мой!

Данка села на свободный стул, откинула вуаль и жадно уставилась в лицо женщины напротив. Через несколько мгновений напряженного всматривания брови Данки поползли вверх. Она громко, на весь ресторан, воскликнула:

– Святы господи! Ой! – всплеснула руками и, откинувшись на спинку стула, залилась безудержным хохотом.

Купчиха Заворотникова лишь потрясенно открывала и закрывала рот. С ее прыщавого лица смотрели на смеющуюся Данку круглые, голубые, с редкими ресницами глаза. Соломенные кудельки у висков чуть подрагивали, короткие красные пальцы испуганно сжимали и отпускали край крахмальной салфетки.

– Святы господи... Дэвла баро, дадорэ ми-рэ-э-э{Господи великий, отцы мои.}... – заливалась Данка, вытирая вуалью выступившие слезы. – Казимир, воля твоя, ты рехнулся! А я-то, дура... я-то с ума схожу, ночей не сплю, думаю – кто такая? Вдова? Меня моложе? А это же... Казимир, яхонтовый ты мой, да ты на что польстился? Вот на эти лупетки? На эту сковородку с глазами?! Господи-и-и...

– Подите прочь! – бледнея от гнева, закричал Навроцкий. – Я вас не знаю! Душа моя, это же какая-то сумасшедшая...

– Что?! Казимир! Это мне прочь идти? Меня ты не знаешь? – сквозь приступ хриплого хохота спрашивала Данка. – Это я сумасшедшая? А была коханая{Любимая (*польск.*)}, была бесценная... Да ты что, пьяным напился, что ли, сокол мой? Проснись, пробудись! Посмотри на это чучело гороховое! Да я в сто лет лучше буду!

Из-за других столиков глядели во все глаза; кое-кто даже развернул свой стул, чтобы лучше видеть безудержно смеющуюся женщину с полураспустившейся прической, в насквозь мокром платье, с которого на паркет уже натекла лужа, неподвижно застывшего кавалера с бледным и злым лицом и купеческую вдову с отвисшей нижней губой. Двое официантов энергично пробирались между столиками к месту происшествия.

– Пошла во-о-он!!! – вдруг истошно заголосила Заворотникова. Ее круглое лицо покраснело, пальцы рванули салфетку.

Смех Данки прекратился, как отхваченный ножом.

– Что?.. – вскочила она с места, уткнула кулаки в бока, тряхнула головой. Из прически на паркет посыпались шпильки, и копна освобожденных вьющихся волос, метнувшись по спине Данки, упала ниже колен. За соседним столиком кто-то восхищенно присвистнул. Данка наклонилась над скатертью, приблизила к купеческой вдове темное, мокрое от слез лицо, и Заворотникова захлебнулась на полуслове.

– Ах ты, моя бедная... – нараспев, чуть ли не ласково проговорила Данка. – Ах ты, моя разнесчастная... Я-то, глупая, кислоты в лавке взяла, хотела тебя красоты лишить. А тут, гляжу, и лишать-то нечего... Но в больничке ты у меня, убогонькая, все едино належишься! Я тебе покажу, шалава, как от двоих детей мужа забирать! Прощайся с личиком, родная!

Данка схватила бутылку вина, ударила ею о край стола, красные брызги веером разлетелись по скатерти и паркету.

– Кро-о-овь! – истерически заверещала какая-то дама.

Несколько мужчин бросились к Данке, но та, оскалив зубы, грозно завопила:

– Прочь, проклятые, жилы порву! – Толкнула в грудь подоспевшего официанта и взмахнула осколком горлышка.

За столиками послышались крики, завизжали женщины, вдова Заворотникова, пронзительно голося, повалилась под стол, со съехавшей скатерти посыпались вилки, ножи и бокалы, кто-то затушил ботинком упавшую свечу, кто-то уже во все горло звал полицию... Но тут пришел в себя Навроцкий, схватил рычащую, бешено выдирающуюся и плюющуюся Данку за локти и поволок из зала. В дверях она лишилась сознания, и Навроцкому пришлось подхватить ее на руки. К счастью, в суматохе их никто не преследовал.

На темной улице, под дождем, причитающий и поминутно оглядывающийся на стеклянные двери швейцар Северьяныч помог погрузить Данку в экипаж. Навроцкий сел рядом. Голубой свет фонаря

упал на его неподвижное лицо.

– На Воздвиженку! – отрывисто велел он, и пролетка, мокро чавкнув по грязи колесами, покатилась в темноту парка.

ГЛАВА 15

– Слыхали про Данку?!

Вопль Федьки Трофимова, с грохотом ворвавшегося в Большой дом, перекрыл все голоса. Собравшиеся в нижней зале цыгане тут же прекратили обсуждать насущные вопросы, петь, звенеть стаканами и орать – стало непривычно тихо. Любопытные взгляды, скользнув по запыхавшемуся Федьке, один за другим обращались на сидящего возле печи Кузьму. Тот, черный и злой с похмелья, поднял голову, коротко посмотрел на мальчишку воспаленными глазами и отвернулся. Озабоченно взглянувший на него Митро встал с подоконника.

– Ты что же это, сукин сын? – процедил он едва слышно, но Федька попятился. – Ты чего тут языком метешь, как пес хвостом?! Да я тебе...

Опешивший Федька уже открыл было дверь, чтобы, не дожидаясь неприятностей, выскочить на улицу, но Илья тронул Митро за плечо.

– Подожди, Арапо. Не пугай парня. Пусть уж скажет, что услышал. – И шепотом добавил: – Так лучше... Все равно узнает.

– Ладно. Говори, – помедлив, сердито согласился Митро.

– Дмитрий Трофимыч, я же ничего... мне какое дело... только на Конной сказали цыгане, Петька Дерунов с Рогожской сказал... – испуганно зачастил Федька, – сказал, что Данка... что Дарья Степановна уехала!

– Куда?! – одновременно вырвалось у Ильи и Митро.

– В Петербург, третьего дня! Оставила дом и вместе с детьми уехала!

– Откуда у ней дети? – тихо спросил Илья. Он хорошо помнил, что во время их встречи Данка о детях не упоминала.

– От Навроцкого, двое, – еще тише ответил Митро и снова сумрачно посмотрел на Федьку. – Дальше что, чяво?

– Все... – растерялся тот.

– А какого лешего тогда народ баламутишь? – зарычал Митро. – Уехала и уехала, туда ей и дорога, нам что за дело? Шляетесь по рынку, сплетни собираете, вместо того чтоб делом заниматься! По шеям бы вам навешать! Пошел вон отсюда!

Федьку как ветром сдуло. С минуту в комнате висела тишина: цыгане ждали, что скажет Митро. Но тот, словно не замечая обращенных на него взглядов, подошел к Якову Васильеву и вполголоса заговорил с ним. Второй предмет общего внимания – Кузьма – по-прежнему сидел на полу с опущенной головой, будто он и вовсе не слышал Федьку.

– Ну вот, всегда знала, что эта потаскуха доиграется, – удовлетворенно сказала Стешка, ставя на стол пустую кружку. – Потаскается и пробросается.

– Да ну что ты... – укоризненно произнесла Настя.

– А что я? Вру разве? Вот как за большими деньгами-то кидаться! Теперь саму и выкинули!

– Ну, эта не пропадет, – заметил, похабно ухмыльнувшись, Ванька Конаков. – В Петербурге тоже господ немерено, сыщет кого получше.

– Да кому она там нужна, в Питере-то? В хор поступит? Так своих полно...

– Зачем в хор-то, милая моя? Можно и еще как-нибудь...

– Стеша!

– А что «Стеша»? Так и будет, клянусь! Если баба подолом начала мести – это до конца дней при ней останется! Вот ей-богу, я еще как в первый раз ее увидала – сразу поняла...

В разговор один за другим вступали и остальные. Наперебой вспоминали Данку, Навроцкого, махали руками, прикидывали, сколько могло остаться у Данки денег и хватит ли этого на жизнь в Петербурге, пророчествовали ей неизбежную погибель и жалели несчастных сироток. Вскоре в зале стекла звенели от стука кулаков по столу, дребезжания стаканов и воплей цыганок.

– А ну, тихо у меня!!! – лопнуло терпение у Митро.

И в этот момент с пола встал Кузьма и, не поднимая глаз, пошел к выходу.

– Кузьма, стой! – Митро шагнул было за ним, но тяжелая дверь уже захлопнулась. Митро поколебался, но, взглянув на цыган, медленно вернулся обратно. Хмуро сказал Илье:

– Ну, все. Опять напьется. Дэвлалэ, ну надо же было этим сорокам разораться! Данка такая, Данка сякая – тьфу... И что за напасть на нашу голову! И Варьки еще нету, как на грех... Что я с ним без нее поделаю? Послушай, Смоляко... – Митро совсем понизил голос: – Ты знаешь, где Данка-то живет... жила?

– Ну?

– Прошу, сходи узнай, что там у нее случилось. Боюсь я, не выкинул бы Кузьма чего...

– Прямо сейчас и пойду, – кивнул Илья.

– Постой... – Какая-то мысль явно не давала Митро покоя. Помолчав, он сказал: – Я с тобой.

Вдвоем они вышли на серую, не просохшую после дождя Живодерку.

Было прохладно, клены роняли на тротуар капли воды, по жидкой грязи у заборов, брезгливо поджимая желтые лапы, бродили куры. Рыжий петух мадам Данаи сидел на калитке дома и, вытянув ощипанную шею, истерически кукарекал. Проголосив положенное, он мешком свалился с перекладины прямо под ноги Митро. Тот в сердцах выругался, пнул его сапогом, и петух кубарем, теряя перья, полетел в шиповник.

Шагая рядом с Митро по Садовой, Илья прикидывал, стоит или не стоит рассказывать о своем визите к Данке месяц назад. Поразмыслив, решил, что лучше не нужно, иначе он, Илья, рискует всерьез поссориться с Митро. Вся Живодерка знала, что Арапо Данку терпеть не может и называет ее исключительно шлюхой подколесной. Цыгане были полностью согласны с этим, и ни один из хора Якова Васильева не стал бы даже здороваться с ней на улице. Цыганки – те и вовсе, завидев Данку, переходили на другую сторону. Дуры, конечно... но ругаться с Митро все равно ни к чему.

Ворота Данкиного дома в Крестовоздвиженском переулке были заперты, но Митро это не остановило. Подойдя к ним вплотную, он забухал кулаком в калитку. Стучать пришлось долго. Когда запыхавшийся Митро уже повернулся к Илье со словами: «Постучи ты, что ли...», калитка приоткрылась. В щели показался недоверчивый глаз, и стариковский голос сипло спросил:

– Кто такие? Чего надоть?

– Цыгане мы, отец. – Митро потянул калитку на себя. – Отвори, потолковать нужно.

– Не об чем толковать, – заявил старик, силясь захлопнуть калитку, но Митро вставил в щель сапог.

– Да подожди ты, старый пень! Выйди!

– Обойдешьси. Барыня Дарья Степановна третьего дня съехали, дом продан, а боле ничего не ведаем.

– Почему съехала?

– Сами, поди, знаете.

– Знали бы – не пришли! – рассвирепел Митро. – Да отвори ты уже, вцепился, как в божью пятку! В долгу не останусь, не бойся!

Но старик уже и сам понял, что отвязаться от цыган будет трудно, и, кряхтя, открыл калитку. Красноватые слезящиеся глаза из-под сивых бровей подозрительно осмотрели обоих.

– Нешто вправду ничего не слыхали? Эх-х, грехи наши тяжкие... И ктой-то брешет, что все цыгане промеж себя родня? Тож, как собаки, живут... Ты же, сатана немытая, – дед недовольно взглянул на Илью, –

приходил к барыне, говорил с ими цельный час, барину расстройство личности соорудил – и ничего не знаешь?

Митро резко повернулся к Илье.

– Саво «расстройство личности»? Ту со, явдян адарик?!{Какое «расстройство личности»? Ты что, был здесь?!}

Захваченному врасплох Илье оставалось только кивнуть.

– Ирод! – с чувством сказал Митро и снова обратился к старику: – Так что же, отец, куда барыня уехала?

– В Санкт-Петербурх укатили. В большой печали уезжали и все плакали, как по мертвому. У меня, старого, и то сердце надрывалось, на них глядючи.

– Отец, – нерешительно вмешался Илья, – скажи, а где горничная, которая у Данки... у барыни в комнатах служила? Такая молоденькая, с косами. Машей звать. Здесь она или тоже...

– Здесь покамест. Внучка это моя. – Старик насупил брови, сунул руки в обширные карманы фартука и еще раз с большим подозрением осмотрел цыган. Илья явно не внушал ему доверия, и, помедлив, дед повернулся к Митро: – Так и быть, кликну ее. Только говорить при мне будете. И недолго.

– Это уж как велишь.

Старик сделал несколько шагов к дому и зычно закричал:

– Марья! Машка! Стрекоза! Подь сюда незамедлительно!

Вскоре из дома выбежала знакомая Илье горничная в сером платье. Она удивленно посмотрела на цыган, узнала Илью:

– Ой, здравствуйте вам... Чего, дедушка, кричите? Вам вредно...

– Слушай, красавица, это ты при госпоже служила? – обратился к ней Митро. – Скажи, отчего она уехала?

Маша вопросительно взглянула на деда.

– Говори, что слыхала, – важно разрешил тот. – Это барынина родня, будь она неладна на четыре корки.

– А что я слыхала? – растерянно сказала горничная. – Тут без слыха все понятственно... Должно быть, потому съехали, что барин переметнувшись.

– Чего?

– Переметнувшись, говорю. Другую себе нашли Казимир Збигневич, с купеческой вдовой Заворотниковой закрутивши. Барыня долго не знали, а уж как узнали... Смерть, как они ругались!

– Ты слышала?

– Что я, весь переулок из окон повысовывался – уж очень Дарья

Степановна голосили. Да бранились-то как! Я и словов таких ни от кого не слыхала. Уж как только барыня его не называли, чего только ему не желали! А потом еще не стерпели и ручку приложили. Барин весь зеленый выскочили, а из окна в него – и ваза летит, и статуй Амуров, и кружки, на Рождество даренные, и даже пуфик! И вот ведь досада какая, пуфиком-то барыня попали, мебель ценный – на части, а барину – ничего! Чугун, он чугун и есть...

Илья усмехнулся, несмотря на серьезность момента: представил, как Данка визжит по-таборному и мечет в окно все, что подвернулось под руку. Была цыганкой, цыганкой и осталась...

– Уж как потом барыня убивались, в сильнейшем расстройстве на полу ревели... Все говорили: «нищей, аспид, оставил» и «вся жисть пропала». И то сказать: дом заложен, денег нетути, долги выплатить нечем, и заколку изумрудную барин с собой прихватили... А третьего дня собрались Дарья Степановна и вместе с детками укатили. Мне перед отъездом два платья своих и брошку с глазурью подарили, наказали молиться за них...

Маша всхлипнула. Илья взглянул в ее круглое, курносое, непритворно опечаленное лицо и понял, что больше она ничего не знает. Митро полез в карман, вытащил рубль.

– Держи.

– Не надоть. – Маша отвела его руку, вздохнула. – Уж больно любила я барыню-то. Добрая были. Вот и платья мне подарили... Добрая, хоть и цыганка. Пошто ж вы-то ее бросили, нехристи?

* * *

Обратно возвращались под реденьким дождем, озабоченно поглядывая на темнеющее небо, ежились от ветра. Илья на ходу оправдывался:

– Ты пойми, я ведь не хотел так... Ну да, был у ней... Так ведь один раз только!

– Мне не мог сказать?

– Да вроде не к слову было... Столкнулись-то случайно, здесь, на Воздвиженке. Она меня чуть ли не силком к себе потащила. Ну, я и пошел, родня все-таки… Что будет-то теперь, Арапо, а?

– Не знаю. Не знаю! Поглядим. Эх, и как это я Кузьму-то одного выпустил! – с досадой вырвалось у Митро. – Ему ж теперь сам черт не брат, хорошо, если только напьется… Еще и Варьки нет! Где твоя сестрица

шляется, скажи мне?

– Сам не знаю, – честно ответил Илья, не видевший Варьки с весны. – Таборные дела, кочует... Может, обойдется как-нибудь?

– Дай бог...

Кузьма вернулся ночью. Весь Большой дом давно спал, на темной улице лил дождь. На кухне горела свеча, слабо освещая двор, и Илья, сидевший на подоконнике, первым увидел медленно поднимающуюся по ступеням крыльца фигуру. Он тут же спрыгнул с окна.

– Идет! Арапо, спишь, что ли?

– Нет. – Задремавший было Митро неловко вскочил с полатей. – Пьяный?

– Не видно...

– Живо садись!

Они кинулись за стол, на котором были рассыпаны карты, монеты, ассигнации. Илья схватил веер карт, сделал озабоченное лицо – и вовремя, потому что в сенях уже сбрасывали сапоги. Через минуту Кузьма босиком зашел на кухню. Желтый свет упал на его лицо, он сощурился. Поглядел на Митро, на Илью. Усмехнувшись, спросил:

– Что это ты, морэ, карты светишь?

Илья, смутившись, заметил, что держит карты картинками наружу. Было очевидно, что Кузьма трезв как стеклышко. Через стол Илья поймал обеспокоенный взгляд Митро. Кузьма, стоя у порога, молча разглядывал их. Затем для чего-то передвинул медную пряжку на поясе, опустил глаза и негромко сказал:

– Дмитрий Трофимыч...

– Ну, чего ты? – откладывая карты, встревоженно отозвался Митро.

– Дмитрий Трофимыч...

– Ну?

– Ухожу я.

Не веря своим ушам, Илья взглянул на него. Кузьма по-прежнему смотрел в пол. На его лице застыло незнакомое жесткое выражение.

Митро поднялся. Глядя в залитое дождем окно, отрывисто проговорил:

– Ты в своем уме или как? Иди проспись, дурак пьяный, у тебя с башкой неладно. Завтра поговорим.

– Я ничего не пил.

Митро искоса посмотрел на него.

– Куда собрался?

Кузьма не отвечал, Митро повысил голос:

– Куда ты поедешь, я спрашиваю?

– В Питер.

Раздался треск – это Илья в сердцах швырнул на стол колоду карт. Но прежде чем он успел открыть рот, раскричался Митро:

– Да ты ошалел, что ли? Валенок безголовый! Кому ты нужен в Питере? Что ты делать там будешь? Не дури, Кузьма! Иди спать!

– Дмитрий Трофимыч, я... – не поднимая глаз, начал Кузьма.

– Да надоел ты мне со своим «Трофимычем»! – заорал Митро. – Говори! Слушаю я тебя!

– Пойми, Митро, здесь мне тоже делать нечего, – медленно произнес Кузьма. – Я ведь тебе тут ни к чему. И хору тоже. Я вам и ране больше мешался, чем нужен был, а теперь ты вовсе с меня толку не получишь. – Кузьма умолк, перевел дыхание, мучительно поморщился. – Знаешь ведь... Знаешь, что без нее, без Данки, нет меня.

– Думаешь, что ты ей там больше сгодишься? – Митро старался говорить спокойно, но Илья видел по его лицу: едва держится.

– Не думаю. Но, видит бог, я без нее тут жить не буду. Плюнь, морэ, ничего не поделаешь.

– Да опомнись, дорогой мой, мужик ты или нет?! – снова взвился Митро. – Не стоит она этого, подстилка топтаная, не стоит, пойми ж ты, дурень! Не век же тебе сохнуть по ней, надо ведь и гордость поиметь, ты же цыган!

Кузьма молчал. До Ильи доносилось его хриплое дыхание. Когда Митро выдохся и, сплюнув, замолчал, Кузьма глухо спросил:

– Какая гордость, Арапо? Ты о чем? На меня-то посмотри... Думаешь, пить брошу? Данку из башки выкину? Да что там тогда останется, в башке-то? У меня эта жизнь уже в печенках сидит, осточертела хуже чесотки... Дай мне хоть подохнуть там... рядом с ней, с Данкой. Я...

Голос Кузьмы вдруг сорвался. С минуту Митро молча, в упор смотрел на него. Затем подошел, тронул за плечо. Кузьма судорожно вздохнул, сел на лавку, уронил голову на стол, прямо в ворох рассыпанных Ильей карт. Митро, глядя в стену, похлопал Кузьму по спине. Вполголоса сказал:

– Да что я тебя – привяжу? Делай как знаешь, чяворо. Может, так и правда лучше будет... Да что ты отворачиваешься, не чужие ведь... Плачь, дурак, не бойся.

Уходил Кузьма на рассвете. Провожали его только Илья и Митро: будить остальных Кузьма не велел. Утро было ясное, прохладное. Над Живодеркой занимался розовый свет, в бледном небе отчетливо обрисовывались кресты церквушки. Тающий серп месяца падал за Садовую, через улицу тянулись едва заметные тени заборов, деревьев. Где-

то на Малой Грузинской слышался одинокий голос ранней молочницы: «Малако, малако, утрешнее малако-о-о-о!»

– Арапо, ты Яков Васильичу скажи...

– Без тебя, сукин сын, знаю, что ему сказать. У тебя деньги есть?

– А как же...

– Уж не врал бы на прощанье-то. Держи вот это, на первое время хватит. Держи, не зли меня!

– Верну.

– Эх, Кузьма... – Митро обнял его за плечи. – Ладно, морэ, ступай. Если что – тебя тут всегда ждут.

– Спасибо, Арапо. Век не забуду, сколько ты со мной промучился. Прости уж, не со зла...

– Не за что.

Кузьма повернулся к Илье. Протянул руку.

– Будь здоров, Смоляко. Не поминай лихом. Может, свидимся еще.

– Даст бог. – Илья взглянул в его глаза, и по сердцу полоснуло холодом. С минуту он колебался; затем торопливо заговорил:

– Послушай, Кузьма, вот еще что... Я бывал у Данки-то в Крестовоздвиженском. Она мне родня все-таки... Она про тебя все время добром вспоминала. И это она прикидывалась, что тебя на улице не узнает... Вот.

Кузьма усмехнулся. Повторил:

– Будь здоров, Смоляко. – Повернулся и, не оглядываясь, пошел вниз по Живодерке.

Когда Кузьма скрылся за углом, Митро присел на ступеньки крыльца. Сорвал ветку сирени, протер влажными от ночного дождя листьями лицо. Тихо спросил:

– Зачем ты ему сказал-то это?

– Так... – Илья сел рядом. – Подумал: Данка одна сейчас, ждать ей нечего. Кто знает...

– Может, и так. – Митро посмотрел на пустую улицу. – А она правда его вспоминала?

Илья не ответил. Митро тоже промолчал. А небо все больше светлело, и над розовеющими куполами церкви поднималось солнце.

ГЛАВА 16

В середине августа резко похолодало. Над Москвой зависло свинцовое небо, в переулках свистел ветер, то и дело начинал накрапывать мелкий колючий дождик. Купеческие сады в Замоскворечье загорелись шиповником и гроздьями поспевшей калины, клены и липы на Тверской пестрели желтыми листьями, но птицы в густых кронах деревьев уже начинали смолкать. На прохожих появились осенние пальто и теплые салопы. Солнце, холодное и неприветливое, словно нехотя проглядывало временами в разрывах туч, роняло на мокрые мостовые несколько лучей и пряталось вновь.

В день Кирилла и Улиты большой ювелирный магазин на Кузнецком мосту, несмотря на ветреную погоду, был полон. Свет ламп отражался в паркете пола, на котором топтались десятки ног в лаковых ботинках, штиблетах, шевровых сапожках и изящных замшевых туфлях. Бесшумно, как призраки, носились приказчики. Стеклянные витрины, крытые изнутри черным бархатом, являли взглядам покупателей бриллиантовые кольца и колье, запонки на любой вкус, от дешевых сердоликовых и яшмовых до изысканных сапфировых, браслеты и серьги с изумрудами, гранатовые кулоны, малахитовые кубки и прочую роскошь. Пахло паркетной мастикой, тонкими духами. По блестящему полу, путаясь под ногами посетителей, важно расхаживала дымчатая кошка хозяина.

– Пшла вон, нечисть! – шикнул на нее Яшка. Кошка, оскорбленно задрав хвост трубой, не спеша отошла. – Развели зверинец, Порфирий, ей-богу, – сурово сказал Яшка сыну хозяина, стоявшему за прилавком. – Ну, Даша, что выбираешь?

Дашка неуверенно пожала плечами. Пальцы ее теребили изящную золотую цепочку с рубиновым сердечком. Рядом, в открытой витрине, лежали длинные серьги с изумрудными подвесками, кольцо с большим бриллиантом.

Ближе к дверям магазина стояли Гришка и Маргитка. Последняя завистливо поглядывала на цепочку в Дашкиных пальцах.

– Хочешь, я ее тебе куплю? – наклонившись, тихо спросил Гришка.

– Да пошел ты... – отмахнулась она. – Яшка ей жених, а ты мне кто?

Официальное сватовство Яшки состоялось в минувшее воскресенье. Сему событию предшествовали долгие и упорные бои в семье Дмитриевых. Уверенность Яшки в том, что отец с радостью согласится

засватать за него дочь Ильи Смолякова, разбилась при первом же разговоре с родителем. Митро и слышать не хотел о слепой невестке. Яшка огорчился, но не сдался и в течение двух недель методично жужжал в уши отцу о том, что он всем сердцем желает жениться на дочери Смоляко. Митро сначала отмахивался, потом сердился, а однажды, не выдержав, заорал:

– Ну что ты с ней делать будешь, дурак? Да, Илья нам родня! Да, семья известная! Девка хороша, согласен, ну и что? Как же ты с ней жить-то будешь, со слепой? Цыган смешить? Сговорились вы все, что ли, с ума меня свести?! Не дури, чяворо! Приспичило жениться – я тебе из Марьиной Рощи любую сосватаю, хоть завтра в церковь потащишь. А про эту и думать забудь!

– Не забуду. – Яшка, впервые в жизни осмелившийся возразить отцу, стоял с побелевшими скулами, но взгляда не отводил. – Я ей слово дал. Не сосватаете мне ее – убежим.

– Что?! – задохнулся Митро, хватаясь за ремень.

– Больше ничего, – заявил Яшка, резво прыгая на подоконник. – А эти, из Марьиной, дуры все до одной.

Митро замахнулся, но Яшка уже выскочил в палисадник. В тот же день он отыскал Маргитку, рассказал ей о случившемся и попросил совета: «Ты же меня в сто раз хитрее, придумай что-нибудь, я ведь Дашке слово дал!» Маргитка, польщенная тем, что брат, с которым они всю жизнь были на ножах, обратился к ней за помощью, пообещала «раскинуть мозгами». Выслушав ее рекомендации, Яшка круто изменил тактику и вечером повалился в ноги матери. Маргитка советовала брату еще и пустить слезу, но этого Яшка, хоть и старался изо всех сил, сделать так и не смог. Отчаянно жалея в душе, что не догадался натереть глаза луковицей, он, однако, сумел взвыть замогильным голосом:

– Ж-ж-жизни себя лишу, ей-богу! Я без Дашки не могу! Не согласится отец – в колодце утоплюсь!

Илона, не слыхавшая ничего подобного от сына за все его неполные шестнадцать лет, перепугалась страшно, кинулась отговаривать Яшку от смертного греха, заверила, что ей самой Дашка очень даже нравится, и пообещала поговорить с отцом.

– Господи, ну и позорище! – часом позже жаловался Яшка сестре. – Думал – со стыда сгорю, когда матери все это говорил. Она чуть не заплакала, бедная!

– Ничего, дорогой мой, теперь все получится! – ликовала Маргитка. – Вот душой своей клянусь, через неделю на вашей свадьбе гулять будем!

Хоть Дашка и дура, что за тебя соглашается. Я бы под топором не вышла!

– Раз так, чего же помогать взялась? – обозлился Яшка.

– Да я не для тебя стараюсь, – съязвила сестра. – Для нее, для Дашки. Ей хоть какой-то муж нужен, пусть и дурак распоследний безголо...

Но тут Яшка схватил со стола мухобойку, и Маргитке пришлось спасаться бегством.

Илона взялась за дело основательно и шесть дней без устали проедала супругу мозги, упрекая его в бесчувственности, в нелюбви к единственному сыну, в неумении понять всей выгоды такой женитьбы и, наконец, в черной неблагодарности:

– Между прочим, это его, Смоляко, сестра меня уговорила с тобой из табора сбежать! Так-то ты добро помнишь! Да ты до конца дней должен за Ильи и Варьки здоровье свечи ставить!

– Это в честь чего?! Из-за тебя, что ли, курицы?! – бушевал Митро. – Да пропадите вы все пропадом, делайте, что хотите! Бери за своего сына хоть девку уличную – ему с ней жить, а не мне. Все!

Дверь за ним с грохотом захлопнулась. Когда спустя полчаса обеспокоенная Илона пошла за мужем, она увидела на кухне замечательную картину: Митро сидел за столом, наливал себе водки из графина, откусывал пупырчатый соленый огурец и глубокомысленно бормотал:

– Да и леший с ними совсем, пусть женятся... Девка – красавица, певица хорошая... Рожать-то может, чего еще надо?

Так и вышло, что через три дня после этого разговора гордый, как петух, Яшка повел Дашку на Кузнецкий мост, чтобы с полным правом выбрать ей подарок. Для приличия позвали с собой Маргитку, а вслед за ней напросился и Гришка.

– Ну, так как же, Даша? – в который раз спрашивал Яшка. – Серьги хочешь или кулон? Или и то и другое возьму. Деньги есть, не бойся!

Маргитка молча схватилась за голову, постучала пальцем по лбу. Яшка, так же не говоря ни слова, показал ей кулак. Дашка беспомощно пожала плечами:

– Право, не знаю... Пхэнори, ну, расскажи мне еще раз, какие это серьги?

– Ух, красивые, сил нет! – В голосе Маргитки звучала мировая скорбь. – Я бы такие и на ночь не снимала! Длинные, капельками, блестят так, что глазам больно! Оправа колечками, тоненькая-тоненькая... Стоят ужас сколько!

– Нет, мне не нравится, – решила Дашка. – Хочу вон те сережки.

– С малахитом? – разочарованно спросил Яшка. – Да они же дешевые совсем... Надо мной цыгане смеяться будут!

– Зато мне идет, – уверенно сказала Дашка, на ощупь находя на витрине малахитовые серьги и поднося их к лицу. Зеленый матовый блеск камней в самом деле выгодно оттенял ее смуглую кожу и каштановые волосы. Яшка мучительно наморщил лоб, разрываясь между желанием угодить невесте и страхом осрамиться перед людьми.

– Ну, ладно, как хочешь, – наконец согласился он. – Но вон то кольцо с бриллиантами я тоже для тебя возьму. Не хочешь – не носи, пусть валяется.

– Яшенька, купи мне, – умильно попросила Маргитка. – У меня валяться не будет.

– Иди к лешему! Пусть тебе твой каторжник покупает.

– О, легок на помине... – вдруг тихо проговорил Гришка, глядя сквозь стекло витрины на улицу.

Яшка обернулся и увидел подъезжающую к магазину пролетку. Из экипажа выпрыгнул Сенька Паровоз, за ним – еще трое.

– Мать честная... – пробормотал сквозь зубы Яшка, бросая на прилавок бриллиантовое кольцо. – А ну-ка, девки, живо уходим отсюда! Сейчас такое начнется! Сенька работать, кажись, приехал.

Уйти они не успели: стеклянная дверь магазина уже тяжело захлопнулась за спинами спутников Паровоза. Сам Сенька уверенно прошел к кассе, вытащил из саквояжа свой знаменитый «смит-и-вессон» и положил его на витрину с бриллиантами прямо перед замершим хозяином.

– Так что, господа хорошие, начинаем грабеж, – объявил он изумленным покупателям. – Нервных просим к дверям удалиться, понапрасну не дергаться, в обмороченье не падать. Долго никого не задержим, сами торопимся. Пров Макарыч, открывай с божьей помощью.

Толстый хозяин, разом утративший всю свою важность, трясущимися руками снял с пояса связку ключей.

– Креста на тебе нет, Семен Перфильич, – сумел, однако, упрекнуть он. – Ты же со своими молодцами у меня на Благовещенье был...

– Да я ж обещал еще раз зайти! – рассмеялся Сенька. – Так-то ты дорогих гостей ждешь, борода многогрешная!

В толпе покупателей раздался сдавленный женский всхлип. Сенька недовольно обернулся и увидел стоящих у витрины цыган.

– А, ромалы, здорово! Яшка! И Дарья Ильинишна! Здравствуйте! О, и Машенька моя здесь...

– Ну, чего тебе? – испуганно пролепетала Маргитка, уклоняясь от рук Паровоза. – Поди прочь, похабник... Ты под марафетом, что ли?

– Вот еще! – отперся Семен, хотя его сильно блестящие глаза, бледное лицо и некоторая напряженность движений говорили о том, что Маргитка права. Яшка отодвинул сестру в сторону.

– Оставь ее, Семен Перфильич. Люди кругом.

– Вы здесь зачем?

– Я женюсь, – объявил Яшка, беря за руку Дашку. – Вот, привел подарок выбрать.

– Выбрали уже? – Семен мельком глянул в открытую витрину. – Можете взять. За мой счет.

Маргитка усиленно закивала Яшке, сделала страшные глаза, но тот покачал головой:

– Не пойдет так, Семен Перфильич. Я побираться не обучен.

– Иди ты! – удивился Паровоз. – Что – правда не возьмешь? Уважения мне оказать не хочешь, цыган?

Он, словно шутя, подкинул на ладони «смит-и-вессон» и поднял на Яшку лихорадочно блестящие глаза. Тот побледнел, но как можно спокойнее ответил:

– Дашка мне невеста, я ее краденым не обижу.

– Господи... – пробормотала Маргитка.

Семен повернулся к ней и медленно выговорил:

– Да шут с ними, чего испугалась? Я родню будущую не трону. А вот на тебя, моя красавица, я весь магазин повешу. Хочешь вот это? И это? И вот эти стеклышки?

Он не глядя брал из витрины драгоценности, выкладывал их перед Маргиткой. Алмазные блики дрожали на стене, браслеты с изумрудами, змейками скользя между пальцев Паровоза, с мягким стуком падали на бархат витрины, несколько колец скатилось на пол – никто их не поднял. Растерянная Маргитка молча переводила глаза с бледного, криво улыбающегося Сеньки на растущую перед ней гору украшений. Рука Дашки крепко сжала локоть подруги. Яшка молчал. Гришка стоял не двигаясь, глядя в пол. От дверей за происходящим испуганно и удивленно наблюдали посетители магазина. Подельники Паровоза тем временем продолжали свое дело, отлаженными движениями складывая в кожаные саквояжи содержимое витрин. Хозяин Пров Макарыч, держась за сердце, сидел на полу в проходе, один из приказчиков склонился над ним со стаканом воды.

Последним Семен вытащил большое бриллиантовое колье в форме раковины с тремя крупными рубинами в середине.

– Ну-ка, радость моя... – Он сам застегнул на шее Маргитки замочек

украшения, отошел на шаг, сощурив глаза. – Ну-у... первостатейная богиня! Так в нем и оставайся. Дома скажи отцу, что на днях отдаю ему деньги и забираю тебя.

– Нет... – одними губами прошептала Маргитка. Дашка еще крепче сжала ее руку, Гришка с Яшкой, не сговариваясь, шагнули вперед... но Маргитка вдруг всплеснула руками и взвизгнула: – Ой, сзади!

Впоследствии Маргитка клялась, что закричала от неожиданности и подумать не могла, чем все закончится. Сын хозяина, подкрадывающийся к Паровозу из-за портьеры с бронзовой статуэткой Аполлона Бельведерского на замахе, не успел ни отскочить, ни вскрикнуть. Семен быстро повернулся, грохнул выстрел, и молодой приказчик, сморщившись и обхватив руками живот, повалился на паркет. Статуэтка, глухо стукнув, упала рядом. Прижав руки ко рту, Маргитка круглыми от ужаса глазами смотрела на темную лужу крови, растекающуюся по полу. Семен тихо, грязно выругался и уронил на пол пистолет.

– От дурень, чтоб тебя... Не хотел же...

Слова его потонули в грянувших воплях, визге и причитаниях. Хозяин, отшвырнув в сторону стакан, кинулся к сыну, дружки Паровоза – к дверям. За грабителями понеслись, топоча и толкая друг друга, покупатели. Магазин превратился в столпотворение, а из близлежащего переулка уже неслись заливистые трели свистка.

– Бежим, – шепнула Дашка.

Яшка диким взглядом посмотрел на скорчившегося на полу приказчика, схватил за руку невесту и понесся к дверям. За ним кинулись Гришка и Маргитка.

Они остановились только в Столешниковом переулке, и Яшка, едва переведя дыхание, с размаху ударил сестру по лицу:

– Доигралась, стерва? Из-за тебя человека убили!

Маргитка, заплакав, села на мокрый тротуар. Бриллиантовое колье еще было на ней. Яшка сорвал его, бросил на мостовую:

– Только посмей поднять!

– Оставь ее, – вмешалась запыхавшаяся Дашка. – Она же не виновата, он бы все равно выстрелил...

– Всегда я... все я... Во всех грехах смертных – я одна... Нет хуже меня никого... – Маргитка плакала навзрыд. – Да что я – шлюха вавилонская, что ли? Что ты ко мне пристал? Я не хотела ничего такого! Он же под марафе-е-етом был, ничего не сообража-ал...

– Ну, ладно, не вой, – немного смущенно буркнул Яшка, протягивая сестре руку. – Вставай, пойдем домой понемножку.

– А... как же брильянты, Яшенька? – растерянно спросила Маргитка, поднимаясь на ноги. – Все-таки дорогая вещь... И на мне вон сколько еще понавешано... Ты не думай, я себе нипочем их не возьму теперь! Но только...

– Сымай. Завтра снесу в магазин. И бог тебя упаси проболтаться кому!

Икая и всхлипывая, Маргитка принялась снимать с себя украшения. Яшка, насупясь, наблюдал за ней. Затем сунул сверкающую пригоршню в карман и с досадой сказал Дашке:

– Вот черт, и сережки тебе не взяли...

– Брось, другие купим.

Вздохнув, Яшка задрал голову, посмотрел на небо. На нос ему упала холодная дождевая капля.

– Ну, пошли домой. Расскажем отцу, наверняка Маргитку прятать надо будет. Какой теперь Крым, едрена Матрена...

ГЛАВА 17

Прятать Маргитку не пришлось: после убийства в ювелирном магазине Паровоз как в воду канул. Кое-кто уже поговаривал, что Сенька «подорвал»{Сбежал.} из Москвы от греха подальше, но знающие люди уверенно возражали: «На Хитровке хоронится». Взбудораженные убийством полицейские две недели носились по всем закоулкам Москвы в поисках Паровоза, но найти его не сумели. Стало известно, что этим делом лично занялся обер-полицмейстер Москвы и Сенькины дела теперь хуже некуда. На всякий случай Митро с неделю продержал дочь у родни в Марьиной Роще, но Паровоз не давал о себе знать, и Маргитка снова появилась в хоре – к вящей радости поклонников и Гришки. Все «подаренные» Маргитке Паровозом украшения Яшка и Митро на другой же день отнесли в магазин, но принимал их старший приказчик: хозяин, убитый смертью сына, лежал в постели.

Погода в городе испортилась окончательно. Теперь уже было видно, что осень на подходе. Липы и ветлы на Живодерке совсем вызолотились, клен во дворе Большого дома стоял весь в красном, сухие листья вертелись в сыром воздухе, липли к мокрым тротуарам. Блеклое небо то и дело затягивалось тучами, лил дождь, в лужах посреди улицы свободно плавал утиный выводок. Цыгане, прыгая по грязи, ругались: «Хоть бы соломы насыпали, черти...» Кто должен сыпать эту солому – оставалось неизвестным. Городским властям не было никакого дела до запущенной цыганской улочки.

Скуку этих дождливых дней лишь слегка разогнало появление в Большом доме племянницы мадам Данаи. Анютка пришла в длинном черном платье со стоячим воротничком, в перчатках и ботинках на каблуках, с уложенными во «взрослую» прическу волосами. С порога она потребовала Дмитрия Трофимыча. Когда заспанный Митро спустился вниз, Анютка поздоровалась и изложила свою просьбу: она-де мечтает всем сердцем петь в цыганском хоре. Растерявшийся Митро все-таки сообразил спросить, знает ли об Анюткиных мечтаниях Яков Васильич, которого, как на грех, не было в городе. Анютка с достоинством ответила, что «они меня в хор ангажировали еще до Пасхи, да у меня времени не имелось». Митро, знающий о голосе девчонки, не сомневался, что так оно и было, однако предложил Анютке прослушивание. Та согласилась, встала посередине залы, подождала, пока с верхнего этажа, из кухни и со двора сбежится весь

дом, положила одну руку на рояль, вторую, усталым движением, – на грудь, слегка улыбнулась и чуть заметно через плечо кивнула взявшему гитару Митро. Начать ей не дал громовой хохот: цыгане поняли, что девчонка копирует манеру Насти. Сама Настя смеялась громче всех, упав на диван и вытирая слезы.

– Ну, молодец, девочка! Гитаристу киваешь, а что петь будешь – не говоришь. И романсы мои исполнять собираешься?

– Охти, самое главное забыла!.. – спохватилась Анютка. – Дмитрий Трофимыч, сделайте милость, «Звенит звонок»...

Цыгане снова покатились со смеху: эту уличную песенку распевали по всей Москве, но исполнять ее в хоре казалось сущим моветоном. Митро, сам едва сдерживающийся, чтобы не расхохотаться, быстро нашел нужные аккорды, взял вступительный, и Анютка запела:

Звенит звонок на счет сбираться,
Ланцов задумал убежать…

Уже с первых звуков в зале смолк смех. К концу первого куплета воцарилась полная тишина. А когда Анютка закончила, Настя встала с дивана и, подойдя к Митро, с улыбкой сказала:

– Ну, вот тебе и сопрано на верхи. А то все бранишься, что цыганки гудят, как трубы.

Митро, однако, заявил, что последнее слово будет за Яковом Васильевичем, когда тот вернется, но в хоре не сомневались: Анютка принята. Над Гришкой уже шутили в открытую, тот так же откровенно ругался в ответ, посылая насмешников ко всем чертям. Маргитка презрительно улыбалась, но, казалось, происходящее мало ее занимает, во всяком случае, прилюдно они с Анюткой не скандалили. Сама Анютка помалкивала, учила новые романсы и Гришку не трогала. «Осторожность усыпляет, – решили цыгане. – А только парень успокоится – она его и заглотит. Хитрая девка!»

В пятницу с самого утра шел ливень. Цыгане шатались по дому сонные и злые, не хотелось ничего делать, никуда идти. Не нужно было ехать и в ресторан: у Осетрова в главном зале обвалился кусок штукатурки, и нанятые на Тишинке мастера спешно приводили «заведение» в должный вид.

К вечеру все понемногу сползлись в нижнюю комнату, Илона принесла самовар, но даже выставленные на стол сушки и крендели не подняли

цыганам настроения. По окнам стучал дождь, капли бежали по стеклу, шелестели на крыше, нагоняя еще большую тоску. Маргитка села было за рояль, начала наигрывать польку, но тут же бросила. У молодых цыган на диване шла вялая игра в дурака, но играли лениво, без всякого азарта. Яшка сидел на полу, трогал гитарные струны, вполголоса напевал «Наглядитесь на меня», посматривал на сидящую возле рояля Дашку. Та, словно чувствуя его взгляд, чуть заметно улыбалась. С подоконника за этой идиллией с недовольством наблюдал Илья. Свадьба дочери должна была состояться через неделю, но до сих пор он не мог смириться с тем, что Дашка уходит из семьи.

Внезапно звуки струн смолкли. Яшка, опустив гитару, прислушался и уверенно сказал:

– Подъехал кто-то.

– Кого в такую погоду несет? – удивилась Илона, вставая из-за стола.

Она ушла в сени, долгое время оттуда слышался лишь приглушенный разговор, а затем Илона вернулась в залу в сопровождении невысокого широкоплечего человека лет пятидесяти, едва заметно прихрамывающего на левую ногу. Гость был в штатском, но выправка и разворот плеч выдавали в нем военного. На висках человека серебрилась седина. Цыгане молча, изумленно смотрели на него. Он так же, не произнося ни слова, глядел на них синими, чуть сощуренными глазами.

– Вот, Дмитрий Трофимыч, этот господин тебя спрашивает... – начала было Илона, но Митро не дал ей договорить и, отшвырнув гитару, как мальчишка, со всех ног кинулся к гостю.

– Дэвлалэ! Сергей Александрович! Князь! Золотой вы мой! Да откуда?! Каким ветром?! Дэвлалэ, лет-то сколько?!

– Митро! – Пришедший крепко обнялся с цыганом, и по его лицу было видно: он действительно рад. – Ты! Все такой же, чертушка, не изменился ничуть!

– И вы! И вы! Вот ей-богу, с первого взгляда вас узнал! Да бог ты мой, как мы все вас вспоминали!

– Недобрым словом, надо полагать? – грустно улыбнулся князь. Дружески похлопал по плечу смутившегося Митро, обвел глазами цыган. – Здравствуйте, ромалэ.

– Ой, князь Сбежнев! – вдруг завизжала Стешка, вскакивая со стула. И прорвало – со всей комнаты к дивану побежали те, кто семнадцать лет назад встречал в этом доме молодого князя, до смерти влюбленного в Настю Васильеву. Из кухни по-молодому резво примчалась Марья Васильевна и со слезами бросилась целовать Сбежнева. Прилетели сестры

Дмитриевы, их отогнал Ванька Конаков, с которым князь обнялся как с родным, его оттеснила Любка Трофимова, повисшая на шее у гостя, словно девочка. Молодые цыгане не вмешивались и лишь с удивлением наблюдали за радостной суматохой старших.

– А где Яков Васильич? Где Кузьма, Аленка? – спрашивал князь, переходя из одних объятий в другие, целуя цыганок, хлопая по плечам мужчин. Ему отвечали наперебой, всем хором. Окруженный толпой цыган, Сбежнев пошел к дивану. Кинул взгляд на подоконник – и остановился. С лица его мгновенно сошла улыбка.

– Илья?.. Илья Смоляков? Это ты?

– Да, я, ваше благородие, – отозвался Илья, единственный во всей зале не поменявший местоположения. – Будьте здоровы.

– И ты здравствуй. – Сбежнев не отводил глаз. – Так ты... вы... ты снова в Москве?

– Как видите.

– Ты один? – впрямую спросил князь.

Илья, опустив глаза, криво усмехнулся.

– Зачем же один, ваше благородие? С семьей.

– Настя?.. Она здесь?

Илья кивнул, не замечая пристального взгляда Митро. Но тут Маргитка, первая из молодых пришедшая в себя, метнулась на кухню и вышла оттуда важная, улыбающаяся, с подносом, на котором стоял бокал вина.

– «За дружеской беседою...» – зазвенел ее высокий, ломкий голос. Цыгане, спохватившись, подтянули:

Хор наш поет припев любимый,
Вина полились рекой!
К нам приехал наш любимый
Сергей Александрыч дорогой!

– Пей до дна, пей до дна! – закричали цыганки.

Сбежнев встал, не поморщившись, вытянул до последней капли довольно скверную мадеру и привычным жестом положил на поднос ассигнацию.

– Ни за что не возьму, Сергей Александрович! – решительно сказал Митро, беря с подноса кредитку и возвращая ее князю. – Не обижайте меня. Вы у нас – гость самый дорогой.

– Ну, прости, коль обидел, – рассмеялся, сверкнув зубами, Сбежнев, и его лицо сразу помолодело. Он снова сел на диван. Цыгане притащили стулья, подушки и разместились вокруг.

– Что ж вы тогда так исчезли неожиданно? – спрашивал Митро, единственный из всех усевшийся на диван рядом с князем. – Мы вас ждали, искали...

– Да ведь ты и сам все знаешь, я думаю, – снова улыбнулся Сбежнев. – Если Настя здесь – ты все знаешь...

– Ваша правда. – Митро покосился на насупленного Илью. – Но нам-то тогда что только в голову не влезло! Вот клянусь, попадись вы мне тогда – до смертного греха бы дело дошло! Убил бы не глядя, плевать, что каторга за такое!

– Вот уж не сомневаюсь, – усмехнулся князь.

Митро нахмурился:

– А вы чего же ждали? Вот-вот свадьба Настькина – а жених прочь из Москвы! Могли бы, между прочим, ко мне на конюшню зайти и по-честному обсказать... Я бы никому не обмолвился, а про вас хоть память бы хорошая осталась.

– Я собирался, – серьезно проговорил Сбежнев. – Но, видишь ли, я дал Насте слово чести, что никому ничего не скажу. Я хотел ее счастья... – Через головы цыган он опять взглянул на Илью. Тот отвел глаза. Сердце прыгало как свихнувшееся.

Настька... Настька... Где она? Побежал уж кто-то за ней наверх вроде бы... Выйдет ли к князю? Выйдет, конечно, проклятая... Отчего не выйти-то? Но ведь ему, Илье, нечего сейчас бояться. И она уже не девчонка, и у Сбежнева вся голова белая, у нее семеро детей, и у него небось немногим меньше, но только... только... Отчего ж так сердце-то болит? И что за нелегкая этого князя принесла через столько лет? Как нарочно, дух нечистый, выбрал время, когда они с Настькой в Москве. Знал? Наверное... А откуда? Нет, не знал, случайно вышло... Ну, и подстроил ты, Господи, угрюмо подумал Илья. Ведь через две недели уезжать за табором собирались... Что ж теперь-то? Что будет, боже великий? Настька... Где она? Почему не выходит?

– Морэ, не сходи с ума, – раздался тихий голос за спиной.

Илья вздрогнул, обернулся.

– Чего говоришь?

– Говорю – с ума не сходи. – Митро смотрел сердито и встревоженно. – Неужто за столько лет не успокоился? Погляди на себя, всех цыган перепугал.

– Напугаешь вас, чертей... – зло проворчал Илья. – Показалось тебе.

– Может, и показалось. – Митро не отводил настороженного взгляда. – Только, Христа ради, не надури мне тут опять.

– А не пошел бы ты, золотой мой!.. – вскинулся было Илья, но в это время в комнате наступила такая звенящая тишина, что он, еще не обернувшись, спиной, хребтом, всей кожей почувствовал: Настька... И понял, что так и есть, увидев, как неловко, держась рукой за спинку дивана, встал князь Сбежнев.

Настя стояла наверху лестницы, опираясь на перила, и, едва посмотрев на жену, Илья понял, отчего ее так долго не было. Наряжалась, чертова баба. Как девчонка-невеста... Откуда только вытащила это атласное платье, серьги с бриллиантами, персидскую, невероятных денег стоящую шаль, которую он же, Илья, ей и купил, отдав за яркую тряпку весь ярмарочный барыш (табор тогда над ними со смеху умирал). Волосы Насти были уложены в высокий валик по последней московской моде, и лишь у виска дрожала вьющаяся непокорная прядка. На груди, спускаясь с шеи до самого пояса, тускло блестела нить жемчуга. Илья наморщил лоб, вспоминая, откуда у Настьки это ожерелье, которого он никогда не видел.

Вспомнить он не успел, потому что Настя медленно, не сводя взгляда с князя, пошла вниз. Лицо ее выплыло из полутьмы, и Илья заметил, как страшно, до синевы на щеках, она бледна.

– Сергей Александрович... – тихим, каким-то детским шепотом выговорила она, протягивая руку. – Сергей Александрович...

Сбежнев вихрем взлетел по ступенькам, несмотря на хромоту. Они обнялись посреди лестницы, и Илья видел тонкие руки Насти, намертво сцепившиеся на шее князя, и ее побелевшее лицо с зажмуренными глазами. Господи, да что ж это?! Он шагнул вперед, но чья-то рука осторожно и твердо удержала его.

– Уймись, – прозвучал сзади спокойный голос Митро, и Илья, шумно вздохнув, отвернулся. Украдкой посмотрел на цыган, опасаясь увидеть в устремленных на Настю и князя взглядах насмешку, но все глаза были серьезны, а кое-кто из цыганок уже сморкался.

Сбежнев и Настя, держась за руки, спустились вниз. Настя села на диван, Сбежнев – верхом на стул рядом с ней.

– Настя, это судьба, – серьезно сказал он. – Я ведь совсем случайно проезжал мимо, по Большой Грузинской, и вдруг как-то разом накатило, вспомнилось... Дай, думаю, заеду по старой памяти к цыганам, авось за давностию событий Митро меня не зарежет. Вхожу – и сразу же вижу этого таборного дьявола, – князь мельком с улыбкой взглянул на Илью, – который

ничуть не изменился. И тут же сердце стукнуло – значит, и ты здесь! А я, признаться, думал, что на этом свете больше не увидимся.

Настя молча улыбнулась сквозь слезы. Князь бережно вытер одну из капель, замершую на ее щеке. Случайно он коснулся шрама, и пальцы его вздрогнули.

– Что это, Настя?

– А ведь вы первый из господ, Сергей Александрович, задали такой вопрос, – всхлипнув, проговорила Настя. – Остальные постеснялись. Это? Моя жизнь таборная.

Илья посмотрел на Сбежнева. И не удивился, когда князь поднял на него потемневшие глаза. Илья ответил прямым злым взглядом и чуть усмехнулся. В горле что-то холодело, как шипучая вода, а сердце колотилось часто-часто, словно стараясь догнать часы на стене. Он ждал: вот-вот князь спросит, как другие, как все, кто был сейчас здесь: «Это ты сделал?» И что отвечать? И отвечать ли вообще? Или подождать, пока Настька заспорит? Господи, и за что ему это? Ох, жаль, что князь, морды не набьешь...

Сбежнев, однако, ничего не сказал ему. Лишь спросил у Насти странным, сдавленным голосом:

– Ты... все же жила в таборе?

– И сейчас живу, Сергей Александрович, – грустно улыбнулась она. – И дети мои все в таборе родились.

– Дети? У тебя дети? – князь удивился так искренне, что стоящие вокруг цыгане негромко рассмеялись. – Бог мой, сколько же?

– Да, слава богу, много. – Настя обернулась, и, повинуясь ее взгляду, к дивану один за другим подбежали сыновья. Последним подошел Гришка, ведя за руку Дашку. Сбежнев смотрел на эту команду изумленным взглядом.

– Бог мой... Шестеро? Нет, семеро... Знаешь, старшие очень похожи на тебя.

– Да, все говорят.

– Красивая девочка… Ей ведь лет шестнадцать, верно? – Сбежнев пристально всмотрелся в неподвижное лицо Дашки. – Но что с ней?

– Я слепая, ваша милость, – ровно ответила Дашка.

– А поет как, Сергей Александрович, слышали бы вы... – торопливо сказала Настя. – Лучше, чем я в молодые годы пела, право.

– Никогда не поверю, – твердо возразил князь.

– А вы послушайте – и поверите сразу. Да вот вина не хотите ли? – Настя встала, сама разлила вино.

– Выпьем, Сергей Александрович, – просто предложила она, беря бокал. – За молодость нашу веселую выпьем. Девчонкой была – думала, навсегда она, а сейчас оглянулась – и нет ничего.

– Да ты и не изменилась почти...

– Вот и неправда ваша. Но все равно спасибо. Илья, что же ты-то?..

Пить ему совершенно не хотелось. Но еще больше не хотелось выглядеть дураком, и Илья подошел к дивану. Бокалы, соприкоснувшись гранями, дрогнули звоном. Илья выпил залпом, не почувствовав вкуса вина. Настя чуть пригубила и, поставив бокал на стол, с улыбкой смотрела, как пьет – медленно, до дна – князь Сбежнев.

– Как вы живете, Сергей Александрович? – спросила она, беря с дивана гитару и легонько касаясь струн. – Тоже ведь, поди, дети взрослые?

– Знаешь, нет. – Князь, допив мадеру, отставил бокал. – Я ведь, по чести сказать...

Он не закончил фразы, но Настя догадалась сама и всплеснула руками, уронив на колени гитару:

– Вы что же – не женились?!

– Не женился, Настя, – виновато кивнул Сбежнев. – Понимаешь, сначала было не до того... Дела, имение, управляющие-воры... Потом все не было нужных средств... А когда они появились наконец – оказалось, что время мое ушло. Я не сторонник неравных браков.

– Каких неравных?! Сергей Александрович! Да за вас бы любая, любая пошла! Не глядя побежала бы!

– Девочка моя милая... – рассмеялся князь. – Да ведь бессребрениц в Москве всегда было возмутительно мало. А с твоим отъездом не осталось вовсе.

Настя тоже засмеялась, тихо и весело.

– А помнишь, Настя, тот вечер у Воронина? Ты пела «Соловья», и так неожиданно для нас всех появился старый граф... И тогда Марья Васильевна... Они же так любили друг друга, а вот пришлось же расстаться из-за... из-за пустяка, по сути. Предрассудки, боязнь света, граф и цыганка... Какая же это все чепуха!

– Вы не поверите, я тот вечер тоже часто вспоминала. – Настя наигрывала на струнах веселую польку, но смотрела грустно. – Кто же подумать мог, что и мы с вами вот так же сидеть будем, как старый граф и Марья Васильевна, и прежние годы вспоминать? Вы... – Она вдруг опустила гитару и взглянула прямо в лицо Сбежнева. – Вы хоть сейчас-то простили меня, Сергей Александрович?

– Мне не за что тебя прощать. Напротив, я и тогда, и сейчас дивился

твоей смелости. Немногие и светские барышни сумели бы поступить так, как ты... – Князь посмотрел на Настю и вдруг улыбнулся. – А это ты сумела сохранить?

– Это? – Настя коснулась пальцами длинной нити жемчуга, свисающей до талии. – Еще бы мне было не сберечь. Ведь это единственный подарок, который мне от вас остался. Помните, я вам тогда сказала – жемчуг к слезам?

– И что – сбылось? – серьезно спросил Сбежнев.

Настя не ответила, снова улыбнулась, опустив ресницы. Илья, стоящий рядом, знал: больше ничего не скажет. Отчетливо понимая, что ни Настьке, ни князю он тут не нужен, чувствуя, что надо бы уйти или, на худой конец, встать чуть поодаль, с цыганами, он не мог этого сделать.

Так вот откуда у нее неизвестные ему бусы... Подарок сбежневский сберегла. Столько лет, чертова баба, берегла, и не потеряла, не подарила, не продала, как все остальное, как даже то, что он, Илья, покупал ей... Сохранила и нацепила сразу же – вот, мол, смотри, князюшка милый, как я тебя помню, как любила... А князюшка и рад стараться. И ежу понятно, что из-за нее, Настьки, он и не женился. И врет, что случайно мимо проезжал, наверняка рассказали друзья, тот же Толчанинов или Строганов, что Настька в Москве, вот и понесся, как за святым спасением... Тьфу. Совсем совести у господ не стало, к чужим женам лезут в открытую. Что же Сбежнев так глядит на Настьку? Неужто забыл, что законный муж здесь, рядом, и долго терпеть не станет? И плевать на Митро, и на других цыган – если этот князь еще хоть раз на его жену вот так посмотрит, он...

Настя поудобнее устроила на колене гитару.

– Что же мне спеть вам, Сергей Александрович?

– На твой выбор. Я ведь так давно тебя не слышал... Хотя, впрочем, нет. Спой, если не в тягость, «Снова слышу».

Аккомпанемент романса был трудным, Илья знал наверняка, что сама Настька его не вспомнит. И точно – через минуту она обернулась к нему, взглядом прося помощи. Всего-то и нужно было подойти и взять на гитаре с десяток аккордов, но Илья, словно не поняв безмолвной просьбы жены, медленно отошел в сторону. Стараясь не встречаться глазами с цыганами, уставился в окно, за которым в темноте сада шуршал дождь. Хмуро подумал: и чего, в самом деле, беситься? Ну, приехал князь, ну, морочит Настьке голову словами всякими... Да ведь она не дура-девчонка, на слова не купится, не побежит за ним, подол задравши. Так, посидит, молодость вспомнит – всего и дел. Илья потер кулаком лоб, вздохнул... и резко обернулся, услышав высокую ноту скрипки.

Гришка стоял за спиной матери, и лицо его было совсем взрослым, серьезным. Глядя куда-то поверх голов цыган, он касался смычком струн, и казалось, что грустная мелодия сама собой рождается прямо из воздуха. Вскоре к скрипке присоединились мягкие гитарные переборы, и Илья понял: Настька вспомнила-таки аккомпанемент. Короткий аккорд, пауза – и голос:

Снова слышу голос твой, слышу – и бледнею.
Расставался, как с душой, с красотой твоею.
Если б муки эти знал, чуял спозаранку —
Не любил бы, не ласкал смуглую цыганку.

Краем глаза Илья заметил какое-то движение у двери. Он повернул голову и увидел Маргитку, заглядывающую в комнату из сеней. Встретившись глазами с Ильей, девушка поманила его и тут же скрылась. Какое-то время он медлил, затем осмотрелся и, убедившись, что внимание цыган поглощено Настей и князем, не спеша вышел из комнаты.

В сенях было темным-темно.

– Чяери, где ты?

– Здесь, на сундуке.

– Что случилось? Зачем? Народу полон дом. – Илья на ощупь нашел руку Маргитки, притянул ее к себе. – Ты дрожишь вся, что с тобой?

Маргитка вырвала руку. Отрывисто спросила:

– Ну, что, – видал?

– Что? – растерялся он.

– Настьку! Крокодилицу свою! И этого гаджа! Видал? Понравилось?! Вот и попробуй мне теперь голову дурить, как она тебе верной семнадцать лет была. Ни за что не поверю!

– Не верь, коль не хочешь, – мрачно сказал Илья. – Не твое это дело.

– Ах, не мое?! – взвилась она. – Илья, да ты ослеп, что ли? Ты посмотри на свою Настьку – она же засветилась прямо, как князя увидала! Всякий стыд потеряла, на лестнице на шею ему кинулась, а сама старуха давно!

– Чяери...

– Ну, давай, давай, дожидайся! – продолжала бушевать Маргитка. – Жди, пока она тебя на всю Москву опозорит! Дэвлалэ, где ж ты свой ум похоронил, морэ?! Да ты подумай, что делать-то будешь, если Настька твоя с князем пойдет?

– Да ничего не буду делать, – через силу ухмыльнулся Илья. – С тобой в Сибирь уеду.

Он сказал это в шутку и никак не ждал, что Маргитка вдруг всплеснет руками и кинется ему на шею:

– Господи, Илья... Милый мой, золотой... Ты сам сказал, ты сам, не я... Илья, ждать нельзя, надо ехать нам...

– Ку... куда?

– Ты же сам сказал – в Сибирь! Или в Крым! Или в Бессарабию, в степи табунные! А хочешь – веди меня в свой табор! Илья, едем, прошу тебя, прямо сейчас едем! Никто и не хватится! За Настьку не бойся, она одна не останется, князь подберет, она еще счастливой будет, а мы... Илья, не могу я больше так, пора ехать, я же... мне...

«А может, и правда?» – отчаянно подумал Илья, прижимая Маргитку к себе и зарываясь лицом в ее волосы. Может, и давно надо было сделать это, а не тянуть мерина за хвост невесть зачем. Он, Илья, разве нужен Настьке? Нет. Пропадет она без него? Никогда. Несчастной будет? Да князь не даст... А дети? Дети взрослые давно. Так чего же он, дурак, дожидается? И боится чего?

– Едем, Илья? – плача у него на плече, спросила Маргитка.

– Да, чяери! – вырвалось вдруг у него. – Едем…

– Сейчас, прямо сейчас! Илья, брильянтовый, никак ждать нельзя! Я тебе просто говорить не хотела, а я ведь уже третий месяц как... – Она запнулась.

– Что «третий месяц»? – не понял он.

– Я, Илья...

Внезапно рядом прозвучал отчетливый вздох. Маргитка с тихим «ах» отпрянула от Ильи, закрыв лицо руками. Он отодвинул ее. Медленно повернулся. Увидел открытую дверь, полосу света, падающую из зала в сени. И стоящую в этой полосе Дашку.

Маргитка не выдержала первая. Тихо взвизгнув, она оттолкнула Илью, спрыгнула с сундука и бросилась в темноту. Хлопнули одна за другой несколько дверей, последняя – уже наверху, и опять наступила тишина. Из зала доносились звуки скрипки и гитары, Настин голос. Илья был не в силах ни пошевелиться, ни отвести взгляда от лица дочери.

Дашка медленно пошла через сени. Пошарив ладонями по двери, она отворила ее, на миг впустив в сени сырость и шум дождя, и выскользнула во двор. Дверь за ней захлопнулась.

Илья сам не знал, сколько времени он просидел на сундуке, сгорбившись и уткнувшись лбом в кулаки. Сначала он пытался соображать,

что теперь будет и что ему делать, но потом бросил: делать было нечего. «Что ж ты, Господи... Зачем же ты Дашку... лучше бы уж Настьку прислал...»

Господь, как всегда, не ответил. Глядя в темноту и слушая звуки веселого вальса, доносившиеся теперь из залы, Илья подумал о том, что Дашка никому ничего не скажет. Даже словом не обмолвится – уж ему ли не знать своей дочери? Тем более что и не видела, слава богу, ничего, только слышала... Хотя ведь и этого хватит! Жить-то теперь как? Через неделю ее замуж выдавать, за руку выводить к жениху... Как? После такого-то? Господи, сукин ты сын, да почему же Дашка? Почему она? Что ему делать теперь?

Внезапно Илья вспомнил о том, что дочь ушла туда, на темную улицу, и бродит под ледяным дождем уже невесть сколько времени. С минуту он собирался с духом. Затем вздохнул, поднялся и, провожаемый вальсом из залы, шагнул за порог.

Дашка не ушла далеко. Илья увидел ее стоящую в круге тусклого света под единственным на всю Живодерку фонарем. Илья подошел, ступая по лужам, остановился рядом. Дашка, казалось, не услышала его шагов. Глаза ее смотрели в темноту, губы что-то шептали. По лицу, по слипшимся волосам, по облепившей плечи шали стекала вода. Илья осторожно коснулся плеча дочери.

– Пойдем домой, Дашка. Пожалуйста, пойдем.

Дашка не ответила, не обернулась. Лицо ее болезненно сморщилось, когда Илья взял ее на руки. Прижав дочь к себе, он почувствовал, что и шаль, и платье ее мокры насквозь, а сама Дашка дрожит с головы до ног. Илья торопливо понес ее к дому.

ГЛАВА 18

На следующий вечер Дашка свалилась с лихорадкой. Весь день она проходила бледная, не разжимала губ, зябко куталась в огромную, как попона, шаль, на участливые вопросы цыган отвечала лишь движением головы, а вечером, сидя вместе со всеми в нижней комнате, неожиданно и без единого слова лишилась сознания. Цыгане, не так часто наблюдающие обмороки у своих девчонок, всполошились. Женщины забегали между кухней и залой с горячей водой, полотенцами и травяными отварами. Яшка, никого не спросясь, понесся в Живодерский переулок за ведуньей бабкой Ульяной, и та, едва взглянув на Дашку, сразу сказала: «Лихоманка, чявалэ. Заразная. Таборные у вас гостили четвертого дня? Вот от них и подхватила».

Перепуганная Настя приняла меры. Дашку поместили в одну из маленьких комнатушек наверху, выдворив из нее трех сестер Дмитриевых, которые, впрочем, не возражали: Дашку любили все. Во избежание заразы к больной допускались только мать и бабка-ведунья, про которую Митро уверенно заявил: «Зараза к заразе не пристанет». Яшка долго не желал мириться с таким положением вещей, рвался к Дашке, на весь дом скандалил с Настей, требуя, чтобы его впустили к законной невесте, и обещая в противном случае «вынести к чертям собачьим дверь». Неизвестно, что помогло больше, упрямство Насти или появление на сцене Митро с чересседельником, но в конце концов Яшке пришлось отступиться. Он удовлетворился тем, что занял прочный пост на полу у Дашкиной двери и не покидал его до самого утра. Лишь на следующий день ненадолго спустился вниз – осунувшийся, бледный и злой. Не глядя на притихших цыган, он подошел к ведру, черпнул из него ковшом и жадно принялся тянуть воду, роняя на пол капли. Цыгане переглянулись.

– Ну, что, чяворо? – осторожно спросил Митро.

– Плохо, – невнятно отозвался Яшка из-за ковша. – Бред у нее пошел. Сначала ничего было, тихо, стонала только, а потом как закричит! Сперва отца звала, потом эту дуру почему-то, – короткий кивок в сторону Маргитки, – а потом меня тетя Настя от двери прогнала, ничего больше не слышал. А бабка Ульяна оттуда вышла и говорит... – Яшка умолк и снова приник к ковшу.

– Что говорит, холера тебя возьми?! – взорвался Илья.

– Говорит... что, может быть... что, может, за попом слать придется.

Отчаянно, хрипло вскрикнула Маргитка, роняя голову на стол. Илья закрыл глаза. Цыгане тихо, испуганно зашептались. Яшка с сердцем швырнул в угол ковш и быстро вышел.

Спустя час в залу спустилась Настя. Ее лицо было бледным, застывшим, и никто из цыган не решился задать ей вопрос. Лишь Яков Васильев вполголоса окликнул ее:

– Ну, как, дочка?

– Плохо... Бредит... – шепотом ответила Настя. Ее сухие глаза в упор посмотрели на мужа.

Илья коротко взглянул исподлобья, опустил голову, уставился на свои сапоги. Настя давно ушла, а он все не мог поднять глаз, чувствуя, как горит все лицо, уже зная: все... Вот тебе и не скажет никому. Вот и промолчит. В горячке все сказала, маленькая... Потому Настька и Яшку от двери гоняет. Что теперь будет?

Пошли один за другим тоскливые, одинаковые дни. Хуже Дашке не становилось, но и лучше тоже, ожидать можно было самого страшного и в любую минуту. По-прежнему Настя не выходила из комнаты дочери, а Яшку уже никто и не пытался оттащить от двери. Даже ночевать он пристроился рядом, принеся из кухни подушку и рваное одеяло. Илья, перебравшийся за печь на кухне, туда, где раньше жил Кузьма, давно уже перестал различать дни и ночи. В ресторан с хором он бросил ездить, и никто не осмеливался просить его об этом. Теперь за всю семью Смоляковых отдувался Гришка со своей скрипкой. Ночью Илья часами сидел в темноте, прижавшись лбом к оконному стеклу, по которому сбегали капли дождя, слушал шелест этих капель в саду, дремал, не отходя от окна, просыпался от сквозняка, вставал, делал, чтобы согреться, несколько шагов по темной кухне. Иногда останавливался перед иконой в углу. Спас, едва освещенный красной лампадкой, смотрел недовольно: наверное, помнил, как Илья называл его сукиным сыном. Илья заискивающе крестился, вспоминал единственные знакомые ему слова молитвы: «Отче наш, иже еси на небеси...» Смутно догадываясь, что богу этого будет маловато, говорил дальше от себя, как умел.

«Прости, Господи, прости цыгана безголового, не хотел обижать... но совести все-таки нету у тебя. За что Дашку-то? Девочка в чем виновата, Господи? Зачем же так-то, у нее ведь свадьба через неделю должна быть, она и так мало хорошего в жизни видела, слепая она, зачем вот это ей, Господи, зараза ты этакий? Оставь девочку в покое, оставь, – умолял Илья, с ненавистью глядя в мрачное лицо Спаса, отчаянно жалея в душе о том, что не достать боженьку с неба, не тряхнуть, не спросить глаза в глаза: –

Совсем ты рехнулся, что ли, старый черт? Не видишь, кто тут виноват, чьи это счета, кто по ним платить должен? Что хочешь, Господи... Что хочешь, бери, но не трогай Дашку...»

От бессилия Илья срывался на прямые угрозы и, приблизив лицо прямо к освещенному лампадкой лику, сквозь зубы обещал: «Ну, погоди, Господи... Попробуй только возьми к себе Дашку... Я ее отец, сей же час следом за ней отправлюсь, и вот тогда, Господи, вот тогда и поговорим, и плевать, что ты в своем доме будешь и что ты все на свете можешь. Я, Илья Смоляко, тоже не лыком шит. Еще и нож, и кнут в руках держатся». Спас смотрел недоверчиво, лампадка внезапно накренялась, роняя прозрачную каплю масла на пол. Глядя на дрожащее пятнышко, Илья приходил в себя, с ужасом понимал, что угрожает тому, от которого сейчас все зависит, неловко опускался на колени перед иконой, зажмурившись, снова просил: «Прости, Господи... Прости, не слушай, бес попутал... Не трогай Дашку, возьми меня, я пожил, погрешил, я куда угодно согласен, даже в ад на сковородку, но не трогай девочку, дай ей пожить, дай порадоваться...»

Бог молчал. За окном стучал дождь. Красный свет лампадки дрожал на стенах, в спящем доме стояла тишина. Илья поднимался, шатаясь от усталости, садился за стол, опускал гудящую голову на кулаки и засыпал на несколько часов тяжелым, не дающим отдыха сном.

В один из таких дней к нему пришла Маргитка – испуганная, бледная, с растрепанными волосами, кое-как прихваченными сверху красным лоскутом. Илья, сидящий у окна, мельком взглянув на нее, отвернулся. Маргитка налила в стакан водки, придвинула к нему. Он молча выпил ее.

– Что же будет, Илья?

Он не ответил на ее робкий вопрос. Мотнул всклокоченной головой в сторону двери.

– Иди, чяери.

– Куда я пойду? – хрипло спросила она, садясь напротив. – Куда? И чего теперь ты боишься? Твоя Настька все знает...

– Что с того? Кроме нее, никто...

– А мне с этого легче, что ли?! Илья! Да что ты молчишь? – вдруг напустилась она на него. – Что ты молчишь, черт проклятый?! Ты взгляни на себя, на кого ты похож! У тебя же скулы торчат, как у покойника! Иди поешь, поспи, напейся насмерть... Видеть я тебя такого не могу!

Он поморщился, мотнул головой, словно отгоняя комара, и Маргитка умолкла. Подошла к окну. Глядя на поникшие кусты сирени, скомкала в руках занавеску.

– Боишься, Илья? – стоя к нему спиной, спросила она.

– Боюсь.

– Настьки?

– Нет. Что Дашка...

– Не умрет она. Не бойся.

– Кто знает, чяери? Эта лихоманка проклятая... Если бы ты понимала...

– Я все понимаю.

– Ничего ты, глупая, не понимаешь.

Снова молчание. По-прежнему глядя на улицу, Маргитка сказала:

– Ко мне человек от Сеньки Паровоза прибегал с утра. Записку принес.

– Не поймали его еще, Паровоза твоего?

– Нет пока, но со дня на день словят... Он в Крым едет, зовет с собой, пишет – здесь сидеть не может, обложили... Пишет, что сегодня еще успеваем, что ждет...

– Поезжай.

– Что?..

Маргитка отошла от окна, приблизившись к сидящему Илье. Заглянув прямо в его лицо, убедилась: не пьян. Еще не веря, переспросила:

– Мне – уезжать? С Паровозом?

– Поезжай... если хочешь, конечно. – Илья упорно смотрел в пол.

– Илья, но я совсем не хочу... Илья, ты же... мы же с тобой... – Маргитка растерянно прижала ладони к щекам. – Ты же сказал – поедешь со мной в Сибирь... Ты не думай, я не извергиня какая-нибудь, мы подождем, пока Дашка поправится, даже на свадьбу ее останемся, а потом... Илья, не молчи! Илья, не пугай меня! Илья, скажи мне...

– Прости меня, девочка.

Беззвучно ахнув, Маргитка села на пол у ног Ильи. Он не поднимал глаз. Помолчав с минуту, глухо заговорил:

– Помнишь, ты меня все спрашивала, почему моя Настька такая? Борозды эти на лице у нее откуда? Я тебе отвечу. Это не я сделал. Я бы себе руку отрубил, если б сам... Знаешь, какой Настька была? Такой красоты свет не родил. Лучше всех была, светилась... А борозды... Это она меня спасала. Собой закрыла, понимаешь? Если бы не Настька тогда, я бы уже семнадцать лет в могиле лежал. Ни одна цыганка бы так не сделала, ни одна таборная! Варька не сделала бы, а она... Я ведь дурак был, молодой, с ума сходил по ней… В табор ее притащил, думал – обвыкнется, будем жить, как другие... А она жила и мучилась. Семнадцать лет! И ни слова мне не сказала! Не пожаловалась ни разу! Я, я сам ее спрашивал: «Хочешь в город?», а она смеялась только! Не хочу, привыкла… Почему она не ушла – сам не пойму до сих пор. Дети... А потом еще и Дашка...

– Что Дашка?

– Дашка ведь ей не дочь.

– Ты рехнулся? – завопила Маргитка. – Она ведь на нее похожа!

– Ничего не похожа. Ты посмотри получше: Настькины – манеры только, а все остальное – мое и той... Была одна гаджи у меня... что теперь говорить. И тогда Настька не ушла. Не знаю почему. Здесь, в Москве, она и с детьми не пропала бы. А сейчас уже что? Сейчас куда мне от нее?

– Илья...

– Молчи. Я не могу. Я от Настьки никуда не пойду. Если только сама выгонит, а я – нет... Не могу. И дети, и старый я уже, и она...

Маргитка вскочила, кинулась к нему, молча, с размаху ударила кулаком в лицо. Илья не почувствовал боли: в ее руке совсем не было силы. Повалившись на пол, Маргитка вцепилась в свои волосы, завыла сквозь стиснутые зубы:

– Пога-а-анец... Что ж ты.... что ж ты молчал, а?! Что ж ты раньше-то молчал? Да еще врал мне, скотина-а-а...

– Раньше я сам не знал, девочка... Прости меня...

– У-у-у, проклятый... – Маргитка сжимала голову руками, по ее лицу, искаженному, с налипшими волосами, бежали слезы. – Чтоб ты подох... Чтоб ты, паскудник, сквозь землю провалился... Чтоб ты в аду сгорел... Как же я жить буду? Как жить? Без тебя – как?!

– Девочка! – Илья вскочил, рывком поднял ее с пола, прижал к себе, и она прильнула к нему, содрогаясь от рыданий. Страшно хотелось завыть и самому, но Илья боялся, что тогда Маргитка точно сойдет с ума, и только шептал, неловко стискивая в руках ее худенькие плечи:

– Девочка... Маленькая... Звездочка моя, цветочек... Ну, прости меня... Я тебя люблю... Я тебя так люблю, что лучше бы мне на свет не родиться, лучше бы мне не видеть тебя никогда... Я без тебя... я не знаю как... я... Девочка! – Он сжал в ладонях ее залитое слезами лицо. – Одно слово скажи – брошу все! Все брошу! Клянусь! Поедем куда хочешь!

Маргитка оттолкнула его с такой силой, что Илья чуть не упал. Спиной, не отводя взгляда, начала отступать от него. Уже у двери она повернулась и, коротко всхлипнув, кинулась вон. Илья бросился было следом, но дверь захлопнулась, чуть не ударив его по лицу. С проклятием он сел на пол, сжал голову дрожащими руками. Было тихо. Дождь стучал по крыше. Из угла ехидно смотрел Спас.

Не разбирая дороги, Маргитка неслась по темным сеням, по лестнице, по верхнему этажу. Она вихрем промчалась мимо спускающейся по ступенькам Насти, рванула на себя дверь и вбежала в комнату, где под

стареньким лоскутным одеялом лежала Дашка. Маленькое окно было завешено, и в комнате стоял зеленоватый полумрак. Остро пах остывающий травяной отвар в кружке на столе. В углу, свернувшись клубком, дремала кошка, у двери стояло пустое ведро. Дашка, казалось, спала, и Маргитка невольно задержала дыхание, стараясь не плакать. Это удавалось плохо, и она, зажав рот ладонью, на цыпочках пошла к кровати. Рассохшиеся половицы предательски заскрипели, Дашка шевельнулась. Маргитка застыла.

– Пхэнори... – одними губами позвала она, но Дашка услышала, пошевелилась, и Маргитка чуть не разревелась снова, увидев ее прозрачную, страшно похудевшую руку с синими жилками на запястье.

– Маргитка... ты?

– Можно я подойду?

– Ты заразишься... – начала было Дашка, но Маргитка метнулась к постели, опустилась на колени, схватила тонкую руку.

– Ну, как ты? Как ты, пхэнори?

Дашка не ответила. Маргитка снова начала всхлипывать.

– Пхэнори, ты не помирай только... Не надо, ради бога... Это же из-за меня... Из-за меня все, слышишь? Отец твой не виноват, он не хотел, это я сама сделала, все – сама! Дашка, если ты помрешь, я тоже себя жизни решу! В тот же час на нож брошусь, слышишь? Дашка-а-а-а...

– Маргитка, не надо. Слышишь – не надо, – вдруг отчетливо произнесла Дашка. И рыдания тут же оборвались.

– Не буду, пхэнори... Не буду, миленькая... – с готовностью зашептала Маргитка, суетливо вытирая обоими кулаками распухший нос. Дашка пошарила руками по одеялу, попыталась приподняться, охнула.

– Ты лежи, пожалуйста, тебе нельзя... – пробормотала Маргитка. Дашка, повернувшись к ней, нашла ее руку.

– Маргитка, не надо. Ты только себя погубишь. Отец, он... Ему все равно никто, кроме матери, не нужен. Я наверное знаю. Ты ему не верь. Не надо. Он тебя в гроб сведет. Слышишь?

Заголосив, Маргитка прижалась лбом к горячей, сухой руке.

– Не буду, пхэнори! Не буду! Не поверю! Уйду сама – только не помирай! Сдохну, а уйду, клянусь! С Паровозом в Крым поеду!

Скрипнула дверь. В комнату вошла Настя с тазом воды в руках. Застигнутая врасплох Маргитка вскочила, ощетинилась. Настя посмотрела на нее спокойно и устало. Ставя таз в угол, вполголоса сказала:

– Ступай, девочка. Заразишься еще.

Маргитка опрометью выбежала из комнаты.

* * *

Трактир Медведева на углу Солянки и Подколокольного переулка в этот дождливый день был почти пустым. Плешивый хозяин в бабьей кацавейке поверх заплатанной рубахи читал «Московский листок», трое половых сгрудились у окна, вполголоса обсуждая какие-то свои дела, девчонка-служанка мыла стаканы в лохани, на буфете, свесив хвост, дремал жирный кот. Частыми посетителями этого грязноватого, темного тактира были извозчики с Таганки, нищие и проститутки с ближнего Хитрова рынка и обедневшие мастеровые. Но сегодня даже постоянные клиенты не пришли, лишь в дальнем углу дремала над миской мятой картошки оборванная старуха, да у окна сидел, положив перед собой на столешницу сжатые кулаки, Сенька Паровоз. Он сидел так уже четвертый час, почти не меняя положения, смотрел в плачущее дождем окно, иногда поглядывал на дверь. Хозяин косился на него, мялся, молчал, но, когда ходики отбили пять, не выдержал и выбрался из-за стойки. Семен, отодвинув пустой стакан, из-под которого тут же выбежал прусак, перевел на хозяина тяжелый взгляд:

– Чего тебе неймется?

– Сам знаешь, Семен Перфильич, – заискивающе заговорил тот. – Тебя ведь, не в обиду будь сказано, по всей Москве ищут. Христа ради, не светись у меня тут. Случись чего – убытку не оберешься...

– Ну, по миру я тебя пущу... – съязвил Сенька, гоняя прусака пальцем по столу. – Свихнулся ты, что ли, Кузьмич? Какой тебе убыток, ежели я погорю? У тебя и так через день на второй облавы. Не «Эрмитаж» небось содержишь, не фасонь.

Снаружи послышались приближающиеся мокрые шлепки: кто-то со всех ног бежал босиком по лужам. Семен упустил прусака, поднял голову. Хлопнула дверь, и в трактир влетел Спирька. Кинув быстрый взгляд по сторонам, он увидел Паровоза, и его чумазое лицо выразило крайнюю степень изумления:

– Семен Перфильич, здесь еще? А я-то думал, уже в Джанкой катите с Машкой...

– Не мети! – Сенька отвернулся к окну. Не глядя на Спирьку, спросил: – Да ты точно был у нее? Записку передал?

– Все в лучшем виде исполнил, утром еще! – побожился, стукнув себя грязным кулаком в грудь, Спирька.

– Что она тебе сказала?

– К черту послала.

Семен усмехнулся. Снова задумался, положив кулаки на стол. Спирька настороженно следил за ним. Наконец, набравшись смелости, подбежал и что-то шепнул на ухо. Паровоз отмахнулся от мальчишки как от мухи:

– Пшел ты...

– Семен Перфильич, погоришь! Паровоз, не гневи бога, фарт не вечно пляшет! За три часа не пришла – значит, уж и не явится! – зашипел Спирька. – Грех из-за бабы пропадать, я дело говорю, ты бы...

– Тырца в зубы изобразить? – лениво спросил Семен. – За мной не засохнет.

– Ну, как знаешь. – Спирька обиженно направился к двери, открыл ее... и тут же шагнул обратно. Паровоз взглянул в изменившееся лицо мальчишки. Медленно поднялся. Спросил неожиданно охрипшим голосом:

– Что там?

– Рви когти, Семен Перфильич, – сглотнув слюну, прошептал Спирька. – Городовой Федот Иваныч сюда идут.

– Охти! – всполошился хозяин за стойкой. Метнулся за кренящуюся, давно не беленную печь трактира с выбитыми кирпичами, отдернул рваную занавеску, за которой обнаружилась аккуратная дверка.

– Семен Перфильич, живо сюда! Прямой дорогой в Свиньин переулок вылезешь, на Хитров нырнешь. Давай поспешай, я ему зубы-то заговорю, не впервой. Ну, давай, давай, давай!

Семен медлил. Его черные глаза из-под тяжелых век без всякого выражения смотрели на бегущие по окну капли.

– Парово-о-оз! – взмолился и Спирька. – Что ж ты, дьявол, канитель тянешь?

– Завернись, – поморщившись, бросил Паровоз. Спирька по-бабьи всплеснул руками, но больше сказать ничего не успел, потому что дверь отворилась, и в трактир, загородив на миг весь проем, шагнул городовой с Хитровки. Это был знаменитый на всю Москву Федот Иваныч, огромный человек в потрепанной, давно потерявшей вид и цвет шинели, из полуоторванного кармана которой торчал рыбий хвост. Внимательный взгляд маленьких бесцветных глаз мгновенно обшарил весь трактир и остановился на Паровозе. Федот Иваныч отряхнулся от дождевых капель, подойдя к стойке буфета (старые половицы отчаянно скрипели при каждом его шаге), выпил налитую Кузьмичом стопку водки. Бросил через плечо густым басом:

– Здорово, Семен.

– Здравствуй, Иваныч, – отозвался тот.

– Как живешь-хлебуешь?

– Твоими молитвами.

– Эхма, грехи наши тяжкие... – Городовой поставил пустую стопку, обстоятельно вытер мокрые от дождя и водки усы. Не спеша произнес: – А ведь мне тебя взять велено, Семен.

– Ну так бери, – усмехнулся Паровоз. На его лице блуждала странная улыбка, глаза то шарили по трактиру, то устремлялись к окну. Спирька у двери напряженно следил за этим взглядом, надеясь уловить хоть какой-то знак, но Паровоз – нарочно ли, нечаянно ли – не замечал этого.

– Да ты уж лучше сам поди, – спокойно предложил городовой, подцепляя из миски на стойке соленый огурец. Паровоз обернулся, поглядел на него, посоветовал:

– Лист сыми, заглотишь. – И, подождав, пока Федот Иваныч снимет с огурца прилипший смородиновый лист, сказал: – Обожди, чаю хочу. Кузьмич, тащи чайник.

– И мне тож, – в спину хозяину велел городовой.

Вздыхающий Кузьмич принес два чайника, стаканы, Паровоз спросил еще и сахару. Около получаса городовой и вор молча пили чай каждый в своем углу, не глядя друг на друга. Спирька, сидящий у порога, словно обратился в изваяние и лишь время от времени громко икал. Кузьмич надел треснувшие очки, снова взял газету и, казалось, углубился в чтение. Скрипнула дверь, в трактир заглянули два оборванца, настороженно посмотрели на сгорбившегося за столом Паровоза, на огромную фигуру городового и молча быстро вышли вон.

Паровоз втянул в себя последний глоток чая, перевернул стакан, взъерошил обеими руками волосы. Посмотрел на ходики в углу. Встал, потянулся и обернулся к городовому.

– А черт с тобой, Иваныч, веди. Надоели вы мне все.

Федот Иваныч встал. Подойдя к вору, сочувственно проговорил:

– Да не убивайся ты за ей, Семен. Бабье – оно и есть бабье, ветер под хвостом свищет. Тем боле цыганка. Ничего, кроме золота, в уме не держится.

– Все-то ты знаешь, Иваныч. – Паровоз устало улыбнулся, потер глаза, и сразу стало заметно, что он не спал несколько ночей подряд. – Я так думаю, что ты нечистая сила.

– Ты бреши, да не забрехивайся... – полусердито проворчал городовой.

– А что? – Семен пошел к двери. – Ведь гляди, что выходит: в доме – домовой, в воде – водяной, а в городе кто? Городовой! Нечистая сила и есть.

– Все бы тебе шутить, чертушка. Ну, пошли, что ль?

– Пошли не то... – Семен оглянулся с порога, снова посмотрел на Спирьку, на Кузьмича, на проснувшуюся и тупо трясущую головой старую нищенку. – Ладно уж... схожу гляну, что это за город Нерчинск. Вязать-то будешь, Иваныч?

– Обойдешься... Трогай помаленьку.

Паровоз вышел первым, городовой – за ним. Дверь захлопнулась. Спирька и Кузьмич ошалело смотрели друг на друга. Слышно было, как за окном Паровоз затянул: «Гулял, гулял мальчонка, гулял я в городах...» Вскоре стихла и песня.

– Ну и дела! – Крякнув, Кузьмич вышел из-за стойки собрать со столов стаканы и чайники. – Вот тебе и фартовый... Вот тебе и пуля не берет.

– Пуля его правда не возьмет, – убежденно сказал Спирька, вставая и перебираясь за стол, где только что сидел Паровоз. – Вот душу положу, если Семен Перфильич при первом же случае не подорвет. Месяца не пройдет, опять в Москву прихряет и на Хитровке утвердится. Не для таковских каторга заведена.

– Ну, дай боже... Чай будешь?

– Можно. Да не тащи чайник-то, стакан налей.

Кузьмич уже выносил из-за стойки дымящийся стакан для Спирьки, когда дверь трактира с пронзительным визгом распахнулась и внутрь, растрепанная, запыхавшаяся, влетела Маргитка. Увидев приподнявшегося навстречу Спирьку, она хрипло спросила:

– Где?..

– Здрасти, откровение небесное... Ты бы еще к зиме схватилась! – возмущенно фыркнул мальчишка. – Тебе же человеческим языком было прописано: с полудня до четвертого часу. А сичас скольки? Дура цыганская! Из-за тебя Семен Перфильич погоревши! Забрали сокола твоего тока что!

– Куда забрали? – прошептала она.

– К генерал-губернатору на кофей! – съехидничал Спирька. – Куда нашего брата забирают, не знашь, что ли? А они тебя, промежду прочим, до последнего мига ожидамши тутова! Какого черта лысого... – Он осекся, потому что Маргитка как подкошенная рухнула на табуретку, уронила голову на руки и взвыла так, что из-за стойки испуганно выскочил Кузьмич.

– Девонька, ты что ж это? Да не сокрушайся ты так за ним, чертом... Что ж ты, как по мертвому-то, хосподи?

– Да совсем и недолго они в отсутствии будут! – вторил ему Спирька, азартно брызгая Маргитке в лицо остывшим чаем. – Ты что, Паровоза не

знаешь? Скоро возвернется к тебе, родимый!

– Скоро – это когда? – давясь рыданиями, спросила Маргитка.

– Да, думаю, в осенях уж получим в лучшем виде...

– В осенях?! – Маргитка хрипло рассмеялась сквозь слезы, отбросила с лица волосы, встала. Не переставая смеяться, сдавленно выговорила:

– Нет, чяворо... Мне до осени ждать недосуг.

Шатаясь, как пьяная, она пошла к двери.

Спирька, глядя ей вслед, озадаченно пробормотал:

– Ну, дела... Ума решилась. Эй! Машка! Постой! Подожди, я хоть извозчика тебе словлю!

Маргитка, не останавливаясь, покачала головой и вышла из трактира под дождь. На столе остался лежать ее скомканный платок. Схватив его, Спирька понесся следом за цыганкой на улицу, но у трактира уже никого не было.

* * *

До Живодерки Маргитка добиралась пешком. От растерянности и горя ей даже в голову не пришло взять извозчика. Путь был неблизкий, дождь то прекращался, то припускал с новой силой, и вскоре Маргитка оказалась мокра до нитки. Впрочем, она не замечала этого – как не замечала пройденных улиц, бегущих по лицу слез, удивленных взглядов прохожих. Очутившись в Грузинах, она даже не сразу поняла, что уже вернулась домой. На Живодерке не было ни души. С трудом передвигая ноги из-за отяжелевшей, прилипшей к ним юбки, Маргитка подошла к Большому дому, взялась за кольцо калитки. И вскрикнула от неожиданности, когда на ее руку вдруг опустилась чья-то ладонь.

– Ты?.. – пробормотала она, оборачиваясь и глядя на такого же мокрого, как она, Гришку. – Тебе чего?

– Я шел за тобой. – Парень взял Маргитку за плечи, повернул к себе, сжал в ладонях ее холодную руку. – Ты промокла... Извини, я все видел.

– Что – все? – равнодушно спросила она, глядя на вздувающиеся в луже под калиткой серые пузыри.

– Ну, тебя... в трактире. Я от самой Живодерки шел за тобой, ты какая-то странная сегодня. Это из-за Паровоза, да? Ты его любила? Ты с ним уехать хотела? Ты... была с ним?

Гришка покраснел, задавая последний вопрос, но Маргитка не

заметила этого.

– Да, – так же безразлично, не глядя на Гришку, сказала она. – Я с ним спала.

– Как же тебе теперь... – Гришка наморщил лоб, глубоко вздохнул и вдруг выпалил: – Слушай, едем со мной!

Маргитка вздрогнула, словно только сейчас сообразив, кто стоит перед ней. Подняв глаза, улыбнулась:

– Ехать? С тобой? Куда?

– Куда хочешь! Не подумай, мне все равно, что ты с кем-то там была. Мы с тобой к цыганам уйдем, где никто тебя не знает. Ты ко мне привыкнешь, и хорошо станем жить, правда! Я... я тебя всегда любить буду!

Маргитка молчала. Гришка напряженно ждал ответа. Она высвободила свои пальцы из его руки; приблизившись вплотную, пристально вгляделась в лицо парня. Вздохнув, спросила:

– Ну, зачем ты на него ни капли не похож? Почему, а? Все – она, и глаза, и брови...

– Кто – она? – ничего не поняв, переспросил Гришка. – Ты слышишь меня? Поедешь? Если хочешь, прямо сейчас...

Маргитка отвернулась от него. Снова странно улыбнулась и покачала головой:

– Да нет... не поеду. На что ты мне, птенчик такой? Вон кого уговаривай... – Она махнула рукой на дом. Гришка взглянул через ее плечо и увидел стоящую на крыльце Анютку. Та зевала, встряхивала в руках плюшевую кофту, но в сторону Гришки и Маргитки косилась исправно.

– Да с ума вы, что ли, посходили?! – взвился Гришка. – И ты туда же! Даром она мне не нужна, ясно вам всем?

– А ты мне даром не нужен. – Маргитка обошла парня, открыла калитку. Гришка все-таки догнал девушку, взял за плечо. Маргитка остановилась. Мягко сняла Гришкину руку, слегка сжала ее. Устало сказала:

– Не мучайся. Ничего не выйдет. Я такую гадость ему устроить не могу.

– Да кому – ему?! – завопил Гришка, но Маргитка уже шла, не оглядываясь и не обходя луж, к крыльцу. Мимо Анютки она прошагала, словно не заметив ее, потянула на себя дверь и исчезла в темных сенях.

Ближе к вечеру, когда дождь поутих и сквозь тучи пробились красные лучи заходящего солнца, по Большому дому пронеслась радостная весть: Настиной дочери лучше. Шатающийся после бессонной ночи Яшка

спустился в нижнюю залу и сообщил, что Дашка перестала «молоть ерунду», жар ее утих, и девочка спокойно заснула. Выпалив это на одном дыхании, Яшка повалился навзничь на диван, зевнул и успел напоследок выговорить заплетающимся языком:

– Илья Григорьич, тебя тетя Настя звала.

– Меня? Сейчас? – опешил Илья.

Но переспрашивал он напрасно: Яшка уже спал, уткнувшись лицом в диванную подушку. Илье оставалось только подняться и выйти. В сенях он собрался было перекреститься, но, вспомнив, сколько всего наговорил богу за эти дни, опустил руку и медленно пошел по скрипучим ступенькам наверх.

В маленькой комнате было темно. Занавешенное окно светилось тусклым квадратом, закатный свет полоской тянулся по потолку. Настя сидела возле постели спящей Дашки вполоборота к окну. Войдя, Илья тихо прикрыл за собой дверь, сел на пол у порога. Некоторое время они молчали. Илья сидел с закрытыми глазами, слушая, как шуршат за стеной мыши. Настя, глядя в окно, гладила ладонью бархат подушки у себя на коленях.

– Когда едете, Илья? – спросила она, не оборачиваясь.

– Едем?..

– В Сибирь.

– Настя... – начал было он. И осекся, остановленный ее усталым жестом.

– Я ведь знала, Илья. Чувствовала. Еще давно, летом. Только мне и в голову прийти не могло, с кем... Хотя несложно было и догадаться в тот момент, когда ты ее за Гришку брать отказывался. Слушай, я теперь даже спрашивать боюсь про совесть твою! Маргитка же родилась при тебе, она дочери твоей всего на год старше! Девочка совсем, глупая... Неужели потаскух на Москве тебе мало? А про то, что Митро тебя от смерти спасал, ты забыл? Что он родня нам?

Илья тяжело молчал. Что ей ответишь теперь? Не рассказывать же, как шла кругом голова от запаха молодого тела, как прятал лицо в ворохе теплых волос, какие шептал слова...

– Ладно, что об этом... – Настя коснулась пальцами лба, словно стряхивая что-то, и вымученно улыбнулась. – Первый раз, что ли? Ты и молодым-то не все ночи дома ночевал, а я тогда все-таки лучше была, моложе.

– Да я же... Настя!

– Молчи ты, ради бога! – со вздохом сказала она, снова отворачиваясь

к окну. – Мне ведь никакой радости нету с тобой спорить. Если подумать, тебя и винить не в чем. Что делать, раз такой уродился. Я еще замужем за тобой не была, а уже знала, какой ты кобель. Значит, сама и виновата. Думать надо было, с кем связывалась.

– Настя, подожди, послушай...

– Не буду я ничего слушать, – спокойно, но твердо оборвала она его. – Не буду, Илья. Незачем. Надоело. Я тебя неволить не хочу и сама больше терпеть не стану. Столько лет мы друг с другом промаялись, хватит. Уходи и не мучай меня больше.

– Куда я пойду? – изумленно спросил Илья. Он ожидал чего угодно: слез, воплей, проклятий, – но не этого.

– Тебе лучше знать. Собирались же вы с Маргиткой куда-то... – Голос Насти дрогнул, и Илья чуть не завыл от стыда. Опустив голову к самым коленям, он смотрел не отрываясь на то, как широкий красный луч ползет по полу к его сапогам.

– Мой тебе совет, Илья, – бери девочку скорее, и езжайте, куда хотели... пока Митро не догадался ни о чем. Сам знаешь, что тогда будет. За детей не бойся – взрослые они.

– Как «не бойся»? – повысил он голос. – Это мои дети! Дашку замуж отдавать кто будет? И кто мальчишек прокормит? Ты? Или князь твой?

– Эк куда тебя понесло... – задумчиво сказала Настя.

– И понесло, да! А ты чего хотела? Видал я, как он на тебя, словно кот на сметану, облизывался!.. – Илья чувствовал – пропадает, знал – не это сейчас надо говорить, но и постромки, и вожжи уже оборвались к чертям...

– Избавиться от меня решила? Княгиней на старости лет устроиться захотела?! Думаешь, ему дети твои нужны? Думаешь, Дашка нужна? Или ты сама?! Покрутит с тобой по старой памяти и выкинет за ненадобностью! Княгиня, леший бы тебя взял!

– Не кричи, Дашку разбудишь, – попросила Настя, и Илья умолк, тяжело дыша. Мысль была одна, отчетливая и ясная: доигрался. Поднявшись с пола, он подошел к жене. Растерянно повторил, глядя ей в затылок:

– Ну, куда я пойду, Настя? Что я – мальчишка сопливый? От тебя, от детей, от Дашки... Куда мне? Что цыгане скажут? И ты как собираешься жить?

– А о чем ты раньше думал? – почти сочувственно спросила она.

– Не знаю...

– А кому же знать, морэ? Мне? Или Маргитке? Хоть бы ты ее пожалел, девочка совсем голову потеряла... Не надо, Илья. Незачем. Послушай меня

хоть раз в жизни – уходи.

– Не могу я так.

– Придется. Я тоже не могу. Терпеть этого больше не могу. Годы мои не те, чтобы из-за собственного мужа с девчонкой-пигалицей воевать. Может, ты еще прикажешь ей косы выдрать или глаза выцарапать? – Настя вдруг усмехнулась. – Да я этим и в молодости-то не занималась... А, наверно, зря, сейчас бы уже руку набила. Все, иди. И чтобы мне тебя не видеть больше. Знаешь... все-таки я так, как тебя, никого не любила.

– Настя, ради бога! Не пойду я никуда! Послушай меня, я...

– Уходи-и... – простонала Настя, зажмуриваясь, и Илья, наконец решившийся поднять взгляд, увидел, что она плачет. И плачет уже давно, потому что платочек в ее пальцах превратился в крошечный мокрый комок. – Уходи, проклятый, к девке своей! Убирайся! Кобель ненасытный, всю жизнь, всю кровь выпил из меня! Видеть я тебя уже не могу, понимаешь ты это?! Понимаешь или нет, вурдалак? Понимаешь, изверг?! Пошел вон!

Дашка на кровати шевельнулась, прошептала что-то, и Настя умолкла, склонилась над ней. Илья, повернувшись, вышел за дверь. Медленно спустился по лестнице в сени. Долго стоял в темноте, прислонившись спиной к сырым бревнам. Из-за двери залы слышались звуки рояля, звонкий голосок Анютки напевал знакомый романс:

Все прекрасно, все понятно, все проверено…
Не вернуть того обратно, что потеряно.
А прорвется иногда из сердца крик —
Так это только, только миг.

Илья даже рассмеялся: до того к месту пришелся Анюткин романс, и до того все было плохо. И вздрогнул от неожиданности, когда сзади кто-то взял его за плечо. Он повернулся. На него обеспокоенно смотрел Митро.

– Морэ, что с тобой? Что ты как с поминок? С Дашкой что-то, спаси бог?

– Нет. Слушай, Арапо, Христа ради, отстань, – хрипло попросил Илья.

Меньше всего на свете ему сейчас хотелось с кем-либо разговаривать, а тем более с Митро. Тот, видимо, понял это и, уже поднимаясь по лестнице, негромко сказал:

– Знаешь, что Варька твоя с табором приехала? Встали за Рогожской, на второй версте. Сходил бы.

С минуту Илья стоял не двигаясь. Затем крепко, до боли, потер лицо ладонями, подумал о том, что выбирать ему не из чего, пнул ногой дверь и вышел на залитую закатным светом Живодерку.

ГЛАВА 19

В комнате Маргитки царил кавардак. Скрипучий комод был распахнут, и из него гроздьями свешивались платки и шали. На полу валялись черепки упавшего с окна цветочного горшка, и алые лепестки сломанной герани покрывали домотканый половик, словно брызги крови. По подоконнику были разбросаны мониста и серьги, у порога кучей валялись атласные и шелковые платья, в углу лежала скомканная ротонда из чернобурки. Посреди этого разгрома на полу, схватившись руками за щеки, сидела хозяйка комнаты.

Вот уже второй час Маргитка безуспешно пыталась собрать хоть какие-то вещи. С арестом Паровоза рухнула последняя надежда, бежать за помощью больше не к кому. Оставаться в доме нельзя, но и идти тоже некуда. Оставался слабый расчет на родственников в Самаре, но Маргитка точно знала, что через месяц, когда все станет заметно, ее тут же сдадут обратно отцу. Да что через месяц – сразу же, как только она там появится. Где это видано, чтобы молодая незамужняя цыганка одна разъезжала, где ей вздумается, без брата или отца, без матери или тетки? Значит, путь один – под заборами побираться, в полном отчаянии думала Маргитка. Вот только тряпки бы увязать с собой какие-нибудь. Хорошие тряпки, дорогие, продать их – может, и на жизнь на первое время хватит.

Скрипнула дверь, и в комнату быстро вошел Яшка. Маргитка ахнула. Господи всемилостивый, как же это она на щеколду-то закрыться забыла?

Яшка пинком захлопнул дверь, оглядел беспорядок в комнате, буркнул:

– Нашла время барахло перебирать... – И умолк на полуслове, увидев лицо сестры. – Ты что ревешь, кикимора? Что еще случилось?

Маргитка, стиснув зубы, замотала головой: ничего, мол. Но из глаз ее с новой силой брызнули слезы, и Яшка, подумав, сел рядом с сестрой на пол.

– Чего воешь, спрашиваю? Кто тебя?..

– Ни-ик-кто-о... Отстань...

– Говори, зараза! Убью! – рявкнул Яшка, и Маргитка с визгом отпрянула от брата: так он напомнил ей сейчас отца. Господи, что будет... Что же это будет, если у нее нет сил даже Яшку к черту послать?!

– Кто тебя обидел? Что натворила, оторва? Почему шмотья по полу валяются? Ты что – продать все разом решила? Да не вой ты, чертова кукла, говори по-человечески, хватит икать! – завопил Яшка, уже перепугавшись по-настоящему. Слезы Маргитки ему приходилось наблюдать не раз, но

такой истерики он не видел никогда. Вскочив, он огляделся, схватил с комода остывший чайник, сорвал крышку и плеснул темным, полным клейких чаинок содержимым в лицо сестры:

– Замолчишь или нет?!

Секунду в комнате стояла тишина... а затем Маргитка вдруг расхохоталась. Ее лицо, мокрое от слез и чая, все в коричневых потеках, с налипшими на брови и ресницы чаинками, с оскаленными зубами, было так страшно, что Яшка медленно опустился на пол рядом. Неумело погладил руку сестры, сглотнув слюну, шепотом спросил:

– Что такое, пхэноринько?

– Что такое? Ох, мама моя, господь всемилостивый... Что такое, спрашиваешь?! – Маргитка заливалась низким хриплым смехом, раскачиваясь из стороны в сторону, как татарин на молитве. – Да что ж... что ж это меня второй раз за день чаем поливают, а?! И кто – брат родной!

– Что ты несешь? Когда я тебя чаем поливал? – снова начал злиться Яшка. – Хватит ржать, как вот дам сейчас! Замолчи, говорят тебе! Хочешь, чтоб весь дом сбежался?

Он схватил ее за плечи, несколько раз с силой встряхнул. Сумасшедший смех смолк, Маргитка, икнув, замерла. Неловко поднесла руку к лицу, чтобы утереться, и тут же опустила ее. Яшка сам поднял с пола первый попавшийся платок и начал вытирать лицо сестры. Маргитка, словно не замечая этого, тупо смотрела в угол.

– Не надо весь дом... – шепотом сказала она. – Яшенька, я ухожу, уезжаю... Не надо, чтобы наши знали, помолчи, ради Христа...

Рука Яшки замерла.

– Куда ты собралась?

– Не знаю. Только это обязательно надо, а то меня отец убьет. Я ведь... – Маргитка положила руку на живот, жалко улыбнулась сквозь налипшие на лицо пряди волос. – Я ведь тяжелая, Яшенька.

Яшка, уронив платок, впился глазами в бледное лицо сестры. Недоверчиво спросил:

– Брешешь, дура?

– Какое... Третий месяц.

– От... кого?

С минуту Маргитка молчала. Затем опустила голову и чуть слышно сказала:

– От Паровоза.

– Д-д-дэвлалэ... – пробормотал Яшка, запуская руки в волосы. – Да... да когда же вы успели?

– Я к нему на Хитровку ходила.

– Ты? На Хитровку?! Вот где тебя черти по целым дням таскали... Ах ты, курва!

Яшка вскочил, одним рывком поставил на ноги и сестру, со всего размаху, не жалея, дал ей пощечину, другую, третью. Маргитка не сопротивлялась. Ее голова моталась из стороны в сторону от каждого удара, глаза были зажмурены. Выругавшись, Яшка оттолкнул ее. Маргитка ничком упала на пол.

– Шваль! Потаскуха! Дрянь подзаборная, да как тебе в голову пришло?! Об отце ты подумала? А о матери? А о семье? Кто теперь после тебя других наших девок замуж возьмет?! Да что он тебе за золотые горы пообещал?

– Ничего-о-о не обещал... Я его люби-и-ила...

– Кого – Сеньку?! Ошалела ты, что ли? Ну, иди к нему, пусть женится, коли так!

– Да его же в каторгу сегодня забрали-и-и... Яшка, Яшенька, не бей меня, я не могу больше, я выкину...

– Молчи, холера... – плюнул Яшка. – Ну-ка, живо собирайся, поедем на Таганку. Там одна чухонка вычистку за три рубля делает, никто не узнает. Поехали!

– Не поеду, – тихо, ненавидяще сказала Маргитка, садясь на полу. Ее лицо уже начало распухать от побоев, ресницы по-прежнему были в чаинках, но зеленые мокрые глаза посмотрели на Яшку так люто, что он отвернулся. – Не будет никакой вычистки. Я его любила – слышишь? И ребенка этого я рожу. Убей меня, а рожу!

– Чего?! Ах ты, дура... Господи, ну что за дура... Что я с тобой делать теперь буду, а?

Яшка схватился за голову, закрыл глаза. Маргитка на четвереньках подползла к нему, осторожно тронула за колено.

– Яшенька... Я ведь все равно уйду. Только я одна пропаду...

– Пропадешь, – подтвердил он, не поворачивая головы.

– Яшенька... Христом-богом... Увези ты меня отсюда. Поедем вместе, золотенький...

– Куда я поеду, с ума ты сорвалась? – завопил Яшка, вскакивая. – Ну, куда?!

– Куда хочешь... – Маргитка снова заплакала. – Яшенька, не бросай... Я не могу одна, я умру на улице...

– Дэвла, да что ж это... Да куда я пойду-то? От Дашки? Как я уеду, что я ей скажу? Я же обещал! У нас свадьба скоро! Я Илье и Насте слово дал!

Что они про меня подумают? Что Дашка подумает? А цыгане?! Все скажут – сбежал, испугался на слепой жениться. Как же мне-то...

– Яшенька-а! – Маргитка, заголосив, вцепилась в его сапог, прижалась к голенищу растрепанной головой. – Яшенька, поедем...

– Пропади ты пропадом, проклятая! – Яшка, нагнувшись, с силой оторвал от сапога руки сестры. – Собирайся!

– А ты куда?! – всполошилась Маргитка, видя, что брат идет к двери.

– Не бойся. Жди внизу, я приду. Только нашим на глаза не сунься.

Дверь за Яшкой захлопнулась. Маргитка торопливо расстелила на полу большую шаль и начала бросать туда, не глядя, не расправляя, платья и кофты. Она не плакала больше, лишь время от времени вытирала лицо рукавом. Связав узел, поставила его у двери, глубоко вздохнула, переводя дыхание, и выскользнула за дверь.

Комната отца и матери была последней по коридору. Маргитка осторожно просунула голову в незапертую дверь, осмотрелась, убедилась, что внутри пусто, с облегчением пробормотала: «Спасибо, Господи...» – и вошла.

Тяжелые портьеры из пыльного плюша были задернуты, и в комнате стоял полумрак. В углу поблескивали часы с боем, внутри их неторопливо ходил тяжелый маятник. На стуле лежало вечернее платье Илоны из гладкого черного шелка. Опасливо косясь на него, как на живое, Маргитка на цыпочках прокралась к буфету орехового дерева со множеством ящичков. Открыв один из них, пошарила в глубине, извлекла сверток из потертой ткани, развернула. На колени Маргитки упал маленький лаковый портрет в овальной рамке. Молодая цыганка в черной шали на одном плече, с гладко убранными назад волосами прямо и неласково взглянула на нее.

– Мама... мамочка... – Слезы покатились снова, но на этот раз Маргитка решительно вытерла их. Снова завернула портрет матери в лоскут, положила было на место, но тут же, повинуясь внезапному порыву, опять вытащила сверток, сунула за пазуху и метнулась за дверь.

Яшка осторожно приоткрыл дверь в комнату невесты. К своему большому сожалению, он увидел, что Настя никуда не ушла и сидит рядом с кроватью дочери, отвернувшись к окну и кутаясь, словно зимой, в тяжелую шаль.

– Тетя Настя, можно? – тихо спросил он.

– Не надо, чяворо, – не оборачиваясь, сказала она странным, сдавленным голосом. – Заразишься еще.

– Тетя Настя, я недолго! – взмолился Яшка. – Очень надо! Очень!

– Ну, если очень, то входи.

Она встала и, едва Яшка шагнул внутрь, быстро вышла из комнаты. Лучшего нельзя было и пожелать. Как только дверь за Настей закрылась, Яшка подбежал к кровати, опустился на колени возле изголовья.

– Даша... Девочка... Не спишь? Как ты?

– Я не сплю, – тихо сказала Дашка, и в голосе ее послышалась радость. – Хорошо, что пришел, я уже скучать начала. Знаешь, я завтра уже, наверно, на ноги встану. Мама говорит, что рано еще, а я уверена, что могу…

– Даша... – Яшка хотел продолжать и не мог. В горле встал комок, и он, силясь проглотить его, вдруг почувствовал руку Дашки на своих волосах.

– Что с тобой? – Она помолчала. – Я чую, ты ж не просто так пришел. Говори.

– Даша, я... Прости меня, ради бога. Я... мне... я уйти должен. Уехать. Прямо сейчас.

Дашка молчала. Яшка поднял голову. Лицо невесты было, как всегда, безмятежным, глаза смотрели в стену.

– Куда уехать? – наконец спросила она.

– Не знаю. С Маргиткой. Она, холера...

– Я знаю.

– Откуда?! – поразился он.

– Знаю, и все.

– Знаешь, что она понесла?

– Да.

– И от кого, знаешь?

– Д-да... – Голос Дашки чуть дрогнул, но Яшка не заметил этого, с сердцем ударив кулаком по полу.

– Чтоб он сгорел, жулик чертов! Всегда знал, что неприятностей с ним не оберемся!

– Жулик?..

– Ну да! А кто он, Паровоз-то? Спортил девку, собачий сын, и смылся на каторгу, выкрутился! Вот ей-богу, если б Сеньку не забрали, я из него ремней нарезал бы. Что – не веришь?!

– Верю. – Дашка снова погладила его по волосам. Яшка поймал ее руку, стиснув в ладонях холодные тонкие пальцы. Про себя он уже решил: скажет Дашка «останься» – и он останется, пускай потаскуха-сестрица выворачивается как сможет сама.

– Что же... Поезжай, – тихо произнесла Дашка.

– Дашка! Я вернусь – слышишь? Пристрою эту дуру куда-нибудь и приеду за тобой. Сразу же! Ты мне веришь, что я тебя не бросаю, что от

слова не отказываюсь? Веришь?

– Верю. Не бойся. – Дашка откинула одеяло, спустила ноги с постели и, пошарив руками в воздухе, села рядом с Яшкой на пол. – Я подожду, не беспокойся, – внезапно перешла она на шепот. – Я... знаешь что?

– Что? – так же шепотом спросил Яшка.

– Я... тебя люблю очень. Правда.

Яшка молча привлек ее к себе, осторожно поцеловал раз, другой, третий, даже не сообразив, что впервые целует свою невесту, провел рукой по ее волосам, по бледной щеке. Дашка прильнула к его плечу. Всхлипнула.

– Ничего... Ничего. Это я так. Иди, ступай. Я подожду, я, кроме тебя, никого не полюблю. – Она улыбнулась сквозь слезы, наугад перекрестила Яшку. – Джя дэвлэса{Иди с богом.}.

Яшка поцеловал ее мокрую от слез ладонь, встал и быстро, не оглядываясь, вышел. Как только за ним закрылась дверь, Дашка молча повалилась вниз лицом на смятое одеяло. В такой позе и нашла ее вернувшаяся Настя.

– Дарья! С ума сошла! Ты почему на полу сидишь? Лезь под одеяло сейчас же, совсем без головы девка! Да ты... Ты плачешь? – Настя села рядом с дочерью, встревоженно повернула ее к себе. – Что ты, маленькая? Что тебе этот черт Яшка наговорил? Да я его сейчас...

Дашка покачала головой. Чуть погодя едва смогла выговорить:

– Он у-хо-дит...

– Куда?!

– С Маргиткой.

Настя вздрогнула. Молча помогла Дашке взобраться на кровать, поправила дочери подушку, прикрыла одеялом. Медленно подошла к окну, посмотрела на красную от заката улицу.

Через несколько минут Настя увидела, как из дома выходят двое. Маргитка плакала, волоча за собой огромный пухлый узел. Яшка держал ее за руку и оглядывал улицу. Вскоре он махнул рукой, и от угла не спеша подкатила извозчичья пролетка. Яшка сказал извозчику несколько слов, тот кивнул. Маргитка быстро залезла в пролетку. Брат прыгнул следом, повернулся к дому, и на мгновение Яшкины глаза встретились со взглядом Насти. Но пролетка рванула с места, копыта лошадей застучали, удаляясь в сторону Большой Грузинской, и вечерняя Живодерка опустела вновь.

ГЛАВА 20

На второй версте Рогожской дороги под звездным небом бродили кони. Поле было покрыто туманом, из которого появлялись и вновь исчезали лошадиные морды и хвосты, слышался храп, негромкое ржание. Очертания шатров и телег едва проступали в белесой пелене. Над полем висел тонкий месяц. От недалекой реки тянуло сыростью, в воздухе звенели комары, в траве оглушительно стрекотали кузнечики. Угли возле шатров уже догорали. Время перевалило за полночь, табор спал, и лишь у крайнего шатра красные отсветы тлеющих головешек выхватывали из темноты две фигуры – мужскую и женскую.

– Вот так. – Илья, не отрываясь, смотрел на огонь, и в глазах уже рябило от этого. – Вот так...

Варька молчала, попыхивая длинной изогнутой трубкой. Некрасивое лицо сестры не выражало ничего. Взяв лежащую рядом палку, она поворошила угли, и в небо взметнулся сноп пляшущих искр.

– Не потухло бы совсем... Сколько, говоришь, это у вас было?..

– Три месяца.

– Да-а-а... Вот послал бог брата – на лето оставить нельзя! Ну, и чего ты ждал? Ты Настьки не знаешь?

– Так ведь, Варька, я же и раньше...

– Что «раньше»? Раньше другое дело было, хотя и тоже ничего хорошего... Сам, что ли, не понимаешь? – Варька, отложив трубку, нахмурилась. – Ну, что у тебя головы нет, я всегда знала. Но Маргитка-то чем думала? Цыганская девчонка, понимать должна была...

– Наверное, тоже ничем. – Илья вздохнул. – Знаешь, она совсем ничего не боялась. Это я боялся, а она... – Он поморщился, как от боли, вспоминая. – Даже сейчас ее вижу... Глаза закрываю и вижу. Сидит, смотрит на меня своими пятаками зелеными и говорит: «Не жалею ни о чем. Не хочу без любви жить и тебе не дам...» Дэвлалэ!

– Вон куда... – без улыбки удивилась Варька. – Влюбилась, значит, девочка без памяти. Ну а ты-то что? Не мальчишка вроде, чтобы так голову терять. Вот здоровый-то он, наверное, был, хвостатый, рогатый...

– Кто? – испугался Илья.

– Бес.

– А... – криво усмехнулся он, – который мне в ребро, что ли? Наверное, здоровый. Знаешь, может, ты и правду говоришь, что головы у меня нету...

Только, боюсь, я и сейчас ее люблю. Ее, Маргитку.

– Как ты сказал? – изумленно переспросила Варька, опуская трубку и поворачиваясь к нему. Илья не поднимал глаз, чувствуя, что даже спина у него горячая от стыда. Ведь по пальцам можно было перечесть случаи, когда он говорил вслух такие слова. Но сейчас уже нечего было терять, и, в конце концов, не затем он пришел сюда, чтобы врать.

Варька выкатила палкой из углей несколько черных картофелин и придвинула их к Илье.

– Бери.

Он сапогом затолкал картошку в траву.

– Пусть в росе остынет... Варька! Ну, что я делать должен?

– Что делать... Откуда я знаю? – Варька кидала с ладони на ладонь горячий клубень, морщилась, роняла на траву хлопья золы. – Значит, любишь девочку? Так и бери ее, живи с ней. Настька тебя, сам говоришь, отпустила.

– Не могу. Все-таки годы уже не те. У меня семья... Мальчишки еще маленькие, Дашку пристраивать надо. И... как я с Маргиткой жить-то буду? Я через десять лет стариком стану, а она только по-настоящему бабой заделается. И найдет себе мужика помоложе. Куда мне тогда деваться? В монастырь?

– Так чего же ты мне голову морочишь? – рассердилась Варька. – Вставай, морэ, кругом шагом марш – и к жене обратно!

– «Кругом шагом марш...» – проворчал Илья. И умолк, глядя в черное поле, где чуть слышно фыркала чья-то лошадь.

– Ну, не балуй! – сердито прикрикнула Варька на нее. – Илья, нельзя же так. Ведь, если подумать... Эй, кто это там идет? Ефим, ты? Лачо бэльвель!{Добрый вечер!}

Из темноты теперь уже отчетливо послышались приближающиеся шаги, лошадиное всхрапывание. Вскоре в розовый круг света вошел молодой невысокий цыган. В поводу он вел большого гнедого жеребца.

– Здравствуй, биби Варя! Будь здоров, Илья Григорьич!

– Ну – богатый, что ли, чяворо? – улыбаясь, спросила Варька.

– Богаче царя небесного! – Цыган блеснул хитрыми глазами. – Вот, взгляни, Григорьич, какой красавец! До самой Сибири довезет и пить не запросит!

– Сменял? – полюбопытствовал Илья, вставая и рассматривая жеребца. – У тебя же, кажись, мерин вислопузый в оглоблях бегал...

– Вот его и сменял! – расхохотался Ефим так, что жеребец, всхрапнув, шарахнулся в сторону. – Гаджо на Конной дурак дураком попался! Мы с

Колькой его за полчаса уломали да еще магарыч стребовали! И-их, пропал теперь мой вислопузенький... Со дня на день ведь подохнуть собирался, еле на ногах стоял, на ночь жердями подпирали!

– Ладно, чяво, ступай себе, – строго сказала Варька. – Катерина-то твоя сейчас тебе – у-у-у!..

– Что такое? – Ефим разом перестал улыбаться.

– Как что? Ты разве не два дня назад вернуться должен был? Только не ври, что всю неделю коней менял! Да Катьке тут уже такого наговорили! Все рассказали – и где тебя видали, и с кем, и за сколько... Поколотит она тебя, слово даю.

– Да ну... – неуверенно махнул рукой Ефим. – Баба – она баба и есть. Поголосит и уймется. Я ей сережки купил. Спокойной ночи, ромалэ.

Цыган и конь скрылись в темноте. Варька задумчиво посмотрела им вслед.

– Вот Ефим – такой же потаскун, как и ты. Постоянно от своей Катьки гуляет, весь табор об этом только и гудит, в каждом городе по раклюхе{Здесь – любовница нецыганка.}, а потом купит жене серьги или шаленку – и ничего! Дальше живут.

– Ну-у... У людей все по-людски, – с завистью пробурчал Илья. – Кабы вот Настька такая была...

– Прожил бы ты с ней тогда столько, как же. Илья, опустив глаза, занялся остывшей картошкой. Чуть погодя нехотя заговорил:

– Может, и хорошо бы, если б не прожил. Я только сейчас понимать начал... Она ведь не для меня совсем, Настька-то. Ей бы князя, графа... Чтобы на руках ее носил, пылинки сдувал, смотрел на нее, как на икону... А от меня она что видела? Телеги да грязищу на дорогах… Может, и мне надо было за себя какую-нибудь дуру-девку взять. Чтобы не рвалась романсы петь, а, как все, по ярмаркам с картами носилась...

– Угу... То-то ты и сейчас на хоровую девчонку глаз кинул. Или правда поверил, что Маргитка будет для тебя по базарам гадать?

– Да оставь ты Маргитку в покое... – поморщился он. – Посоветуй лучше, что делать. Деваться-то надо куда-то, Настька меня все равно выгнала.

– Господи, а ты неужто ее испугался? – притворно удивилась Варька. – Что-то я раньше за тобой такого не замечала! Не валял бы ты дурака, Илья, вот что я скажу. Настька тебе жена. Семнадцать лет – не три месяца. И ты для нее не голое место. Что прогнала – правильно сделала, давно надо было так-то... Только как прогнала, так и назад примет, если по-умному все сделаешь.

– Это как – по-умному? – растерялся Илья.

– Перво-наперво иди в шатер, – пряча улыбку, распорядилась Варька. – Отоспись, а то вон скулы, как ножи, торчат. И картошку доешь, что ты ее уже час мучишь? А завтра видно будет. За ночь я что-нибудь придумаю.

– Варька, а как же...

– Сгинь с глаз моих, черт! – застучала трубкой по колену Варька. – Всю душу уже вымотал, не брат, а наказание небесное! Иди спать!

Илья обиженно доел картошку, встал и молча ушел в шатер. Варька вытащила из костра уголек, не спеша раздула потухшую трубку, выпустила в темноту клуб дыма, задумалась. Табор спал. Кони всхрапывали, положив головы на спины друг другу, у соседней телеги выла на садящийся месяц собака. Небо на востоке начинало чуть заметно сереть: близился рассвет.

* * *

Илья проснулся от утреннего холода, змейкой заползшего под рубаху и пробравшего до костей. Не открывая глаз, он протянул руку, нащупал рядом старую овчину, натянул ее на себя, но сон уже пропал, да и овчина помогла немногим. В прорехи Варькиного шатра струился бледный свет, под загораживающий вход лоскут подползла розовая полоса зари. Внизу полотнище шатра было мокрым, отяжелевшим от росы. Илья с огорчением вздохнул, приподнял с подушки голову – и остатки сна разом слетели с него. Рядом, спиной к нему, у опущенного полога сидела Дашка.

– Дадо? – не поворачиваясь, спросила она.

– Девочка! – Илья вскочил, зашипел от боли, ударившись головой о жердь, снова сел. – Ты... ты откуда? Ты почему здесь? Ты... как ты, девочка? Зачем встала, зачем пришла?!

– Я не пришла, я приехала, – поправила Дашка. – На извозчике.

– Одна?!

– С Гришкой. Он там, в телеге, спит.

– Господи... – Илья сел рядом с дочерью, провел ладонью по ее лицу, волосам, взял за руку, вгляделся в неподвижные глаза, словно стараясь отыскать след болезни. – Да как же ты, девочка? Мать знает, что ты здесь?

– Нет. Мы раным-рано ушли, еще темно было.

– Ох... – Илья даже закрыл глаза, представив себе, как разволнуется Настя, когда проснется и увидит, что Дашки нет. – А... что случилось?

Дашка расправила на коленях юбку. Стряхнув бегущую по руке божью

коровку, сказала:

– Маргитка уехала.

– Маргитка?.. – глухо переспросил он, почувствовав, как вдруг больно дернулось что-то под сердцем. – Куда?

– Не знаю. Вчера вечером.

– Уехала... – зачем-то повторил Илья.

Медленно, чтобы по звуку Дашка не поняла, что происходит, он лег навзничь, потянул к себе рваную Варькину подушку, сжав в зубах ее угол. Слез не было, но горло перехватило так, что он долго не мог вздохнуть всей грудью. Дашка не шевелилась, по-прежнему сидя лицом к пологу, перебирала в пальцах ткань юбки. Помолчав, произнесла:

– Ты не мучайся. Она сама это решила. Значит, так ей лучше. С ней Яшка, она не пропадет. Все хорошо будет, дадо.

Илья с трудом перевел дыхание. Сел. Зная, что Дашка не видит его лица, все-таки не смог заставить себя посмотреть на дочь. Глядя в землю, спросил:

– Ты зачем приехала? Чтобы это мне сказать?

– Пошли домой.

– Но, девочка...

– Прошу, идем. А то мама проснется, узнает, что я дома не ночевала, ой...

Илья молчал. Холодные, мокрые от росы пальцы Дашки легли на его кулак, и он не решился высвободиться.

Несколько минут спустя Илья вместе с дочерью вышел из шатра. Дашка тут же полезла в телегу, откуда доносился Гришкин храп. Илья потер ладонями лицо, огляделся. Табор уже пробуждался, у шатров слышались сонные голоса женщин, влажные от росы спины лошадей были залиты розовым светом. От края поля, красное и туманное, поднималось солнце, по блеклому небу ползла жемчужная цепочка облаков, высоко-высоко парил крошечный ястреб. Из-за шатра, зевая, вышла Варька с ведром воды в руках. Увидев Илью, она остановилась – и вдруг слабо ахнула, всплеснула руками, уронив ведро. И заплакала.

– Что еще? – хмуро спросил Илья, глядя на то, как к его сапогам бежит по утоптанной траве струйка воды.

– Дэвла... Илья... Ты же... ты ведь седой весь... Вот здесь... и здесь... Вчера-то впотьмах я не заметила...

Он ничего не ответил. Стоял, не двигаясь, смотрел в светлеющее небо. И лишь закрыл глаза, услышав низкий голос Дашки, вполголоса напевающей в телеге их песню:

Вы, ромалэ, вы, добры люди,
Пожалейте вы душу мою...
Все богатство мое заберите —
Возвратите вы годы мои...

Table of Contents

Анастасия Туманова О сколько счастья, сколько муки...
ПРОЛОГ
ГЛАВА 1
ГЛАВА 2
ГЛАВА 3
ГЛАВА 4
ГЛАВА 5
ГЛАВА 6
ГЛАВА 7
ГЛАВА 8
ГЛАВА 9
ГЛАВА 10
ГЛАВА 11
ГЛАВА 12
ГЛАВА 13
ГЛАВА 14
ГЛАВА 15
ГЛАВА 16
ГЛАВА 17
ГЛАВА 18
ГЛАВА 19
ГЛАВА 20